



# Из дому я сбежал...

## Повесть

### 1. На причале

**Я** ходил по пирсу: знал, что отца здесь не встречу. Скоро вечер, но было еще светло. Меня пропустили, потому что знали отца, он у меня начальник отдела кадров. Здесь, в рыбном порту. Я несколько раз ходил с ним сюда. Когда проходишь с отцом, все с ним здороваются, а кажется, что и со мной тоже. Даже капитаны, я их знаю по нашивкам на рукавах.

Отец бы забрал меня с собой, очень даже просто. А потом наверняка бы выпорол, но дело не в этом. Сейчас мне не хотелось думать о доме. Есть я не хотел, к тому же перед уходом сунул в сумку свежую сайку, кусок колбасы и две шоколадины. Бутылку бы лимонада еще, но в холодильнике не было.

На причале было много судов, только всё средние траулеры. Сразу видно, кто с моря, а кто уплывает. Ржавые вон, некрашенные, с выцветшим до бледнотряпичности флагом — значит, вернулись. Несколько даже разгружались, совсем недавно в порту.

Смотреть интересно: кран опускает в трюм целую связку цепей с крючками, а потом тянет сразу несколько бочек, каждая двумя крюками прихвачена за края — у дна и крыши. Как просто, а ведь ни за что не догадался бы, если б не увидел: бочку набок положи и прихватывай крючками. Из некоторых, правда, вода льется бурая, рассол, наверное, в котором селедка продается. Раньше я и вообще думал, что селедка так соленая и плавает в море, честно. Вон по всему причалу целые горы соли насыпаны, только соль крупная, с горох, и желтая.

Я постоял, подождал: упадет хоть одна бочка или нет. Не падали. Пошел дальше, а сзади — такой стук глухой: па-х-х. Эх, прозевал: прямо на причале разбился бочонок. Обруч еще катился от него, а досточки все по одной распались, селедка прямо в грязь вывалилась, горка порядочная. Интересно, сколько там килограммов?

Кто-то с траулера стал орать на кран, громко, а не поймешь, как одно длинное слово выговаривает. Ругается, конечно. Крановщик в будке под небом из окошка высунулся, рукой размахивает и рот раскрывает. Смешно, не понимают они, что ли: все равно с такой высоты не слышно, кругом еще краны работают, стучит что-то, как кувалдой, вон целый поезд пошел через порт.

Все причалы номерами обозначены. На доске — номер. Прямо на бетонке под ногами — этот же номер. Крупно так написано, может, их с самолетов читают? Только зачем самолетам причалы знать? Совсем ни к чему.

Буксир я прошел, дым от него валил с копотью, а ветер гнал к берегу. Вот траулеры так не дымят. Знаю, что у буксира двигатель мощнее, а все же противно, когда так черно дымит, ничего хорошего о механике на таком буксире не подумаешь.

Только я буксир прошел, стоит бортом траулер, СРТ. Как глянул на него, так сразу веселее стало — чистенький, как умытый, и рубка вся белая, а черный борт без потеков прямо с водой сливается. Уже смеркаться стало, как-то сразу, или я долго у той разгрузки проглазел? Вода в канале потемнела, и с бортом они слились, не сразу поймешь, где поднимается борт.

Мне правда веселее стало, и еще так тревожно, как будто на вокзале у поезда стоишь. Обязательно тебе тоже ехать хочется, хоть у тебя билета нет и вовсе никуда не собирался. Здесь на палубе суета, люди друг с другом сталкиваются. Вон девчонка с женщиной стоит, с мамой, наверняка. Они поняли, видно, что мешают, и куда-то зашли. Мне интересно стало, я подумал, что на меня никто сейчас внимания не обратит. И надо только вон по той лестнице проскочить, она короткая, а борт почти вровень с причалом, только покачивается немного. Ну, не совсем лестница, я знаю, как трап выглядит. И никогда

еще на траулере я не был. Короче, пошел я по трапу, как ни в чем не бывало, спрыгнул на палубу и отошел к рубке, чтобы не мешать.

Кто-то недалеко крикнул “Рубка! Свет на палубу!” Пржектор зажегся сразу, будто там кто ждал у выключателя. На палубе две больших ямы открыты, посредине и ближе к носу. Я заглянул — они обе бочками до края забиты, и сразу понятно, что пустыми, это как-то сразу чувствуется, может, потому, что они новенькие, светлые. А перед рубкой еще один люк открыт: тоже весь забит, только сетями. Сети большими клубками связаны, несколько еще у люка лежат. Зачем, интересно, так много, селедка ведь не акула или там меч-рыба, не порвет сеть...

Я пошел к корме, заглянул в иллюминатор. В каждой каюте люди сидят, в которой и вовсе тесно. Теперь я точно понял, что этот траулер должен уплыть, а в каютах, как и та девчонка с матерью, провожающие сидят, хотя, кажется, отец как-то говорил, что это не положено. Нет, провожать все-таки здорово.

Я вошел в коридор, повернул по нему, узкий он, как туннель, и лампы маленькие у потолка еще больше на туннель делают похожим этот коридор...

— Ты чей это? — из открытой двери меня спросил здоровый такой белобрысый парень. Ему даже голову пришлось пригнуть под косяком. Я хотел повернуться и убежать, чтобы не отвечать. Но парень махнул рукой.

— Иди, малец, компот со мной пить. Пока в салоне никого нет, мы с тобой отход отметим.

Я зашел. Салон оказался меньше моей комнаты, да так завален всякими ящиками, коробками, мешками, что вовсе тесным казался. А здесь еще этот моряк огромный, я ему чуть выше пояса был, хоть и не самый маленький в классе. Белобрысый налил мне здоровую алюминиевую кружку. Я чувствовал, что мне с ним не надо оглядываться и бояться, что прогонят. Компот был сладкий, а на моем моряке — кто ж он, если не моряк настоящий, я даже представил его за огромным штурвалом, и паруса за спиной напряглись под ветром — на моряке был толстый свитер, мне даже захотелось его пощупать, а рука, которой он мне дал кружку, была как эти две кружки,

такими руками только и можно повернуть тот штурвал под ветер.

— Хочешь, ягоды выбирай, — сказал он мне. — Не думай, скоро уж новый варить будем. Да беги с отцом попрощайся, а то вот отойдем, гляди.

И здесь я сказал, еще и сам не понимая всей правды:

— Да я уже попрощался.

— А-а... ну — жуй компот, — сказал белобрысый и ушел.

Хороший они народ — моряки. Я это и раньше думал. “Жуй, говорит, компот” и все дела, не то что другие взрослые там, на берегу, вечно они считают, что обязаны каждому шагу учить тебя, как жить, будто мы такие глупые, что не видим, как они и сами-то жить не умеют и ничего не получается у них. Потому что уверены, будто всё больше всех знают...

Я пил компот и слушал, здесь много чего можно было услышать, если захочешь. Потому что, как на вокзале, каждый своим делом и самим собой занят. И мне вдруг почему-то грустно стало за этого большого моряка, не знаю почему, а грустно. Чего бы это он здесь так тихо компот раздавал незнакомым мальчишкам?

Я пил компот и слушал. Кто-то пел басом, как я читаю стихи — без выражения:

**Совсем-не-так-как-поезда-  
Простые-медленные-волны-  
Не-то-что-рельсы-в-два-ряда...**

И вовсе не “простые”, а “морские”.

Рядом за стенкой салона плакала женщина, и ей говорил голос тоже без выражения:

— Ну что ты, будто впервой. Аттестат я тебе оставил нормальный, проживете. Далась бы рыба, а то опять в долги залазить. Письма почаще... сама знаешь, как там... Пианино купи, если привезут. Хватит Светке по соседям бегать...

Дальше всхлипы, шепот. Зачем оставлять аттестат, я не понял. Мне еще почти четыре года. Только не хочется мне учиться, до восьмого бы дотянуть, а там вот хоть на матроса или на моториста пойти учиться. В училище. Мама все говорит, что к аттестату впридачу прибавит “Яву”. Сам бы

купил, нужны мне их истории-литературы... В заграничку бы пошел.

Когда я опять вышел на палубу, несколько человек разговаривали между собой. Меня не видели. И белобрысый в свитере там. И еще несколько в форме, по-моему, и капитан тоже. Рядом со мной чернел люк, тот, с сетями. Я решил заглянуть в него, пока никто не прогнал меня. Вниз шла железная лестница, как на чердак дома. По ней и спустился, конечно, — тоже здесь трапом называется. Совсем неглубоко, хоть и темно. Под ногами мягко пружинили связки сетей.

Вдруг наверху почему-то забегали, я разобрал крики: “Давайте-давайте все на берег!.. Счастливо! Возвращайтесь скорей!.. Вотскорей-то не получится! Пишите!..” Мне надо тоже вылезать и уходить. Еще и по шее дадут со зла, у меня-то никого здесь нет, а путаюсь под ногами.

Но ведь из дому-то уже я сбежал! Даже записку оставил, чтобы меня не искали. Как будто не знаю, что искать еще сильнее примутся. Еще я подумал, что Витька с Борькой лопнут от зависти, когда узнают, что я сбежал в море. С рыбаками. Это тебе не по Черному морю с родителями на теплоходе по путевке плавать.

Я разгреб несколько куканов сетей и залез поглубже. Стало совсем темно, немного жутковато и немного весело. Как если бы я показал кому-нибудь свой “нос” и скрылся за углом, не догнать! Пахло чем-то, почти как смолой и канифолью. Сверху бросили еще несколько связок и закрыли люк.

Так я решил поплыть в море. Что там будет дальше, честно, я пока не думал.

## 2. Сон сильнее страха

Подо мной стучала машина. Она тарахтела часто и громко, как... нет, не трактор, а как двигатель. Фу, черт, забыл, как называется, кажется, для генератора сжатого воздуха — от него работают отбойные молотки. Нам как-то делали ремонт и пробивали дырки между этажами, чтобы заново провести трубы. Вот таким отбойным молотком. А во дворе стучал двигатель — та-та-та... Весело тогда было: слышно,

что говорят у соседей сверху и снизу, что по телевизору смотрят. Мама, правда, злилась и старалась говорить шепотом. Это от нее у меня привычка, она вечно, когда недовольна, повторяет “черт-те что”, а потом укоряет, если услышит моего “черта”. А дыры тогда пробили и исчезли на неделю.

А что мне оставалось делать, если не сбежать из дому? Вечером к нам должна прийти Людмила Титовна, классная.

До нее у меня была другая классная руководительница. Чуть не девять тысяч лет каждый день видеть “М в кубе” — это вы можете себе представить? Она как пришла в третий класс, так до последнего года все и вела литературу. Мы еще тогда и не знали, что такое “куб”, а уже так и называли “М в кубе”, от старшеклассников перешло. Она вся начиналась на “М” — Милица Матвеевна Маркова, и вправду походила на прописную “М”, особенно если небрежно написать. Старая и толстая, она казалась даже старше мамы, хотя они были одноклассницами. А маме уже тридцать пять лет, хоть Милица вечно и ахает: “Ах, Женечка, и как тебе это удастся! Больше двадцати восьми тебе не дашь ни за что!” Терпеть не могу притворства, хотя мама и вправду смотрится что надо. И одевается фирменно, уж если где идешь с мамой, так женщины обязательно косятся, наверняка себе прикидывают — где, мол, достала.

Девять тысяч лет видеть “М в кубе” — это как? Хоть мне-то ее бояться и нечего, она еще и домой к нам часто заглядывала. Всегда “на минутку заглядывала”, честное слово, она так повторяла постоянно, а потом сто часов все оглядывалась и не уходила. У них с мамой свои шмуточные разговоры бесконечные, прямо “Что, где, когда” — и не надоест же! Да Милица почему-то везде “заглядывала на минутку”, даже в школе, мне всегда казалось, что она и дома-то не ночует. Наверное от этого у нее один глаз всегда был прищурен. Как будто я не понимаю, чего она так с мамой сюсюкала, все “незабываемую нашу юность” поминала. Я бы на месте мамы ни за что не вспомнил, какая Милица в юности была. А моя мама Евгения Николаевна — директор универсама. Она все что-то “устраивала” для “М в кубе”, да толку-то — все равно самые современные вещи

смотрелись на той старыми и чужими, а мама их на себя прикидывала, к своей фигуре и длинным ногам. Смех да и только: потом увидеть такое на Милице, после мамы, которая и без лифчика блузон носить может — это мои девчонки восхищались мамой — сам слышал.

Про меня она маме сообщала каждый раз одно: “Ах, он такой у тебя способный, такой впечатлительный, к нему особый подход нужен”. И не надоедало обоим слушать эту чушь, хотя и вправду я, наверное, впечатлительный, потому что когда мне нравится девчонка, так кажется, что умнее ее и на свете нет. Мама, понятно, согласна насчет “особого подхода”, потому что гостям точь-в-точь повторяла.

В шестом классе я, кстати, еще и из-за “М в кубе” остался на второй год. А вовсе не потому, что самый глупый в классе — это, по-моему, маму больше всего задевало. Мне просто не хотелось передавать эту чертову историю да и переходить не хотелось, потому что не нравился этот мой чертов класс — “показательный”, черт бы его побрал. Надо знать нашу школу, она у нас, конечно, тоже “показательная”. Нет, в самом деле — школа у нас с английским уклоном и все такое прочее, в нее за просто так и не поступишь, вот что противно — как будто здесь со всего города одни умники собраны. А Милица с мамой, как о школе говорили, так обязательно — кто чей сын, да откуда чья дочь... послушать, так покажется, что это пацаны в кабинетах сидят, честное слово. Понятно, что в такой школе вообще-то на второй год не оставляют, они здесь очень заботятся о “престижности” и “добром имени”. Лажа все это — тянут за уши. Или уговаривают в другую школу перевести — это если пацан не такой большой начальник. Родители его, конечно, как будто это они здесь по второму разу учатся. Но со мной они, кажется, даже обрадовались. Нет, честное слово, их лажу не всегда сразу поймешь: нельзя же, мол, чтобы “процесс” вовсе гладко протекал. “Воспитание подрастающего поколения — самый сложный процесс, а переходный возраст имеет свои издержки даже у способных детей. И мы должны...” Ну, и все в таком же духе. Так что я, можно сказать, даже подыграл им своим второгодничеством. Теперь-то уж они могли “преодолевать” и “воспитывать”, и еще — вот смех-то! — “отыскивать и

выращивать положительное зерно"! Уши вянут, честное слово! Вот если робота научат разговаривать, он, наверное, так станет говорить. А потом и люди от него назад научатся, вот жуть.

Но я зря надеялся от Милици избавиться — она все маме жаловалась на свою "безотказность", а сама, уж точно, отвечаю, рада была, что классных не находилось или что там. Короче, она, Милиция — ее ведь и так еще называли, даже в глаза, будто оговоришься, бывало: "Милиция, мол, Матвеевна" — она оба класса взяла под руководство. Вот тебе и избавился! Почти весь год она и в моем бывшем, теперь в 7 "В", и в теперешнем 6 "В" оставалась классной руководительницей. Активистка. Зато мне и уроки почти учить ни к чему было, программу-то одну талдычили. Это только в конце года пришла Людмила Титовна...

Пока я думал под тарактенье машины, послышались тяжелые вздохи другой. Сразу почувствовалось, что это главный двигатель заработал. Я так сразу и понял — это мощь, она-то судно и движет. Почему-то сперва были резкие рывки, то взад, то вперед. Я знаю, что "взад" писать неправильно, но все же мне почему-то кажется, что так точнее, чем "назад" — так больше похоже, будто кто-то подталкивал траулер, а он сопротивлялся. Но потом большой двигатель заработал ровно и быстрее, и стенка, о которую я опирался спиной, подложив сеть, теперь подрагивала ровно. Я устроился поудобнее, положив между собой и подрагивающей стенкой несколько сетевых тюков.

Как они теперь станут "преодолевать" мой побег, интересно?

И здесь я испугался по-настоящему. Я понял, что траулер отошел от причала. Что теперь никакая не игра или там воображение, а траулер везет меня в море взаправду. Этот двигатель, который еще прибавил оборотов и теперь ровно и спокойно вращает вал, а на валу за кормой судна вращается винт, он взбивает воду в канале и оставляет за собой пенистую дорожку, унося меня все дальше от берега, от города, от дома. Это у себя в кровати от обиды можно запросто представить, как ты исчез с инопланетянами и тебя ищут всюду, а ты возвращаешься потом, почти не изменившийся, разве что один учебный год пропустил —



это по твоим космическим меркам, а оказывается, прошла чертова уйма времени и даже твои ровесники уже стариками стали... Вот жуть, это представлять интересно, что Борька Шевчук станет толстым и лысым, как его отец, и губа у него будет так же недовольно оттопырена, как будто какой-нибудь там план не выполнили и ему надо звонить по телефону, чтобы все наладить одним своим противным голосом. Он и на меня посмотрит обязательно, как на помеху его начальственному порядку, а я просто подведу его к зеркалу и спрошу: "Что с тобой, Борька, ты чего это так постарел?" Знаю, что обидится он больше всего сперва не на свою старость, а на мою молодость, взрослые всегда так, и еще на то, что какой-то с улицы, пусть и бывший одноклассник, назовет его Борькой. А мне будет смешно, хотя, конечно, и грустно — ведь мама тогда уже по-настоящему постареет и, наверное, уже и ждать не сможет меня...

А что же будет теперь дома, когда узнают, что я уплыл? Сейчас ведь по-другому, вовсе недостаточно открыть глаза и оказаться в своей комнате. Ох, и выдерет меня отец! Потом мне стало смешно — если уж я так далеко, то как же он меня выдерет? — он ни за что не догадается, где я. Никто не догадается, отвечаю. Самое плохое, что мало кто из взрослых, а уж родители тем более никогда не помнят, как они сами убежали из дому. Отец как-то вспоминал, что сам не однажды сбегал, и один раз даже проехал на товарняке чуть не до границы, его в Минске или где-то рядом сняли, а бабушка, его мать, жила в Челябинске. Сняли с поезда, а здесь и война как раз закончилась, так что, кажется, ему тогда ничуть не попало, хотя он чуть не месяц пропадал. Он, конечно, не мне это рассказывал, а гостям, при мне он бы вряд ли признался, как воровал вареную картошку на базаре, как канючил хлеб у солдат, задвигая, что едет к тяжелобольному отцу, хотя мой дед тогда уже давно погиб на фронте... Так это ему восемь или девять лет было, а мне уже четырнадцать. Почему-то никто не помнит себя в детстве, все такие правильные оказываются, скукота, как будто сразу взрослыми так и родились со своей дурацкой озабоченностью и вечными жалобами на жизнь, да еще с поучениями, если с детьми разговаривают. Я однажды подслушал, как в зоопарке пацаненок отца

все выпрашивал, отчего орлы не улетают и другие птицы. Так тот вместо человеческого ответа все пытал своего сынишку: “Учись логически мыслить”. Послушать такого отца, со скуки очумеешь. А парнишка симпатичный такой, еще и в школу, наверное, не пошел, все заглядывает тому логику в глаза, он и с сыном в зоопарк в галстук пришел, как к участковому. Так мне жалко стало мальчишку, лучше бы он моим братом был, уж я бы его мордуленцию заставил улыбаться. А то “логически мыслить”, опупеть можно, для них это значит прописные истины повторять и считать, что на том земля держится. А потом будут на жизнь жаловаться. Так жаль пацана, как тех птиц, про которых он спрашивал: им ведь попросту крылья подрезают, вот они и не улетают, как куры.

Никто не догадается, хоть чем отвечаю, что я здесь спрятался и в море уплыл. Никому в голову не придет, вот если бы у Вовки Быстрова спросили, так он теперь в другой школе. А я буду плыть много дней, пока отсюда все сети не вытащат.

На всякий случай я стал разрывать себе нору поглубже. В темноте оказалось не очень просто, да и места в этом складе среди сеток не так уж много, как на первый взгляд казалось. Сперва куконы ничего вроде не весили, но вот покидал несколько, потаскал с места на место и стало жарко, воздуха захотелось вдохнуть свежего. От сеточного духа у меня голова закружилась, хотя поначалу запах приятным казался, мне нравится, когда паяют и канифолью пахнет или скипидаром, можно сосновый лес представить, я был. Но вот воздуха и так мало... а интересно, здесь откуда-нибудь просачивается снаружи воздух? Я хмыкнул — “логика”, мол — если б герметично было закрыто, я б давно задохнулся и никто хрипа моего не услышал бы!

От такой темноты, жары и мыслей я чего-то растерялся и мне уже не хотелось никуда плыть. Да еще несколько раз стукнулся о потолок или как он здесь называется: сверху было неровно, по всей длине торчали какие-то железные полосы, на ощупь они казались похожими на рельсы, только плотно приваренные к потолку. Я попробовал люк, но он не поддавался даже на миллиметр, как заклеенный. Закрыли, видно, его плотно, прикинь.

Я представил, как пришла к нам Людмила Титовна, а она ни разу еще не была, не то что Милиция в кубе; и мама бросилась меня искать. Сперва она, само собой, решит, что я где-нибудь на улице бегаю. Звать станет или пошлет соседского Илюшку искать, тот вечно у подъезда крутится. Людмила Титовна скажет маме, а та разозлится. И начнет говорить, что неправда и быть не может с ее сыном, что учителям доверяют воспитывать, а учителя не только все хотят свалить на родителей, так еще, не разобравшись, готовы напраслину взвалить на ребенка. Опять, как на родительском собрании, спросит: сколько лет Людмиле Титовне, а потом об опыте “М в кубе”, у которой никогда претензий к мальчику, это ко мне значит, не было, а на второй год он из-за слабого здоровья остался, и прочую муть будет гнать, от которой было бы еще стыдней, будь я там. Вот этого родители никогда не могут понять: что нельзя делать, чтобы их детям стало неудобно или стыдно за них. Потому что потом становится все ни к чему, будь они хоть сто тысяч раз правы. Скучно становится. Мама будет сначала просто говорить, казаться язвительной, а потом — и закричать может, что она загружена ответственной работой и она ее делает честно, никому не жалуется, а дело школы и классного руководителя в частности следить, чтобы ребенок рос, развивался и учился нормально, чтобы не попадал под влияние улицы, да-да, улица только и ждет, когда школа ослабит свое влияние! Короче, обычная мура. Станет рыдать, а Людмила Титовна и не рада будет, что пришла.

А если мама сразу найдет записку? Что я насовсем ушел?

Начнет звонить по больницам, в милицию, директору школы, заставит отца еще черт-те куда звонить, чуть ли не в мэрию или прокурору! Всем будет причитать о моих нервах, дурацкой той впечатлительности. И, конечно, о жестокости молодой учительницы, еще и спросить умудрится: “А диплом у вас есть?” И снова — рыдать, доведет до слез Людмилу Титовну. Дальше я уже и придумать не мог, что там произойдет, когда нигде не найдут меня, даже у цыган, которые, кажется, и до сих пор крадут детей. А то еще о заложниках вспомнится, в этом случае я знаю, что будет говорить мама: “Думают, тысячи здесь... думают, честных людей нет!” О-о!

Мне стало жарко еще и от этих мыслей. Руки устали, а внутри, где-то глубоко в животе, подсасывало от страха. Честно, я очень захотел, чтобы открылся люк и кто-нибудь меня заметил. Мне не за себя было страшно, я только теперь представил, что там станется дома, когда не смогут найти день, другой... сколько рейс длится? на полгода нынче не ходят, разве китобои, отец говорил. Вредно, мол, и семьи разрушаются, потому что импотентами становятся моряки — это я тоже подслушал. А если три-четыре месяца, так, вроде, и ничего?

Сам не знаю почему, но я заревел. Вернее, почувствовал, что текут слезы. И от этого стало легче. Стало жалко себя, я представил, что было бы, если бы меня нашли сразу после записки, отец, если б не сказал, то покривился бы, подумав, что я слабак и позёр, тем злее и выдрал бы, не стану ж я сопротивляться и драться, да и мало у меня сил, хотя и прилично хожу на лыжах и бегаю, тренер приходил уговаривать, когда мне надоело на тренировки ходить. Ничего, пусть назовут упрямством или еще как, но что сделал — сделал. Сам больше всего не люблю притворства и показухи.

Я забрался в устроенную яму, на меня навалилось несколько сеток. Жар уже прошел, я даже клацнул зубами от озноба и еще закопался. Решил пожевать шоколад, и теперь спокойно представил, как завтра в классе поднимется переполох, будут спрашивать, у кого я был да кто меня видел в последний раз. Так уже было в прошлом году, когда Вовка Быстров захотел уехать в тайгу искать алмазы. Он потом говорил, что хотел заработать для отца, у которого какая-то нехватка, что ли, на работе. Это он мне рассказывал, он услышал ночью всхлипывания и понял, что это отец, а такое и вправду страшно услышать. Перед его побегом в нашей школе выступали геологи, они проездом оказались — что делать геологам в нашем приморском городе? Говорили, правда, что в море у нас может найтись нефть, а они организуют экспедицию. Один и рассказывал, как он искал на севере фосфориты — это на удобрения, а еще — золото и алмазную трубку в Сибири. Так и говорил почему-то — “алмазную трубку”. Классно рассказывал, особенно об охоте на медведя. Вовка еще тог-

да спрашивал, сколько алмазы стоят. Вот и дернул он в Сибирь. С ним опять лажа случилась в нашей дурацкой школе “с английским уклоном”, тоже мне, дипломаты сплошные. Понятно, Вовку на каком-то вокзале выловили милиционеры через три дня. А в школе на педсовет выволокли и мурыжили там. Все равно ведь знали, что исключат, вернее, “порекомендуют” найти себе школу по способностям. Вот как, притворство одно.

Под эти мысли я и бояться забыл. А потом незаметно и заснул, под сетками тепло, машина стучала ровно, а судно совсем немного покачивало с боку на бок. Даже и не заметил, о чем думал, когда заснул, кажется, на Вовкиной обиде и задремал. Как провалился куда-то, но почему-то запомнил, что увидел ту девчонку, что была с матерью на палубе, когда я решил забраться на траулер. Симпатичная...

### *3. Смирнов Петр*

Я вздрогнул. Мне послышалось, что меня очень четко окликнули: “Смирнов Петр!” Вот так, как на переключке окликают или в милиции, когда составляют протокол. Не Петя, не Петька, не Петух, как тогда вечером во дворе, когда я струсил противно, до икоты, которую давил в себе и оттого все тело побежало мурашками, которые хочется расчесать. Это когда меня поставили “на счетчик”. Себе-то я могу честно признаться, что струсил мерзко и от этого их дурацкого ножа, он клацнул, отпущенный кнопкой, у меня перед глазами, лезвие чиркнуло мне по зрачку отблеском фонаря за спиной и уперлось острием в шею выше ключицы. Это уже после того, как мне сзади кто-то за волосы запрокинул голову. Неожиданно, потому что меня оставил Сенька Торкин, мы с ним одно время на плаванье ходили в секцию на Центральном стадионе. Но я недолго ходил, не получается у меня этот баттерфляй чертов. А потом вместо Сеньки возникла передо мной прыщавая морда Леньки-Мордвина, это у него нож выскакивающий был, да не самоделка какая, натурально десантный. Я не Леньки испугался, отвечаю, а того, кто мне голову запрокинул, там хватка мертвая ощущалась и без дураков. Ленька в нашей же распрекрасной школе в девятом классе болтался, там он

среди ребят тихий был, мозгляк, зато его отец с каменным лицом ездил на черной “Волге”, как же — хозяин района, и наша школа под ним. Милиция с придыханием его имя произносила: “Илья Григорьевич Мордвинов вчера школу посетил!” Небось, она и Леньку готова была Леонидом Ильичем звать, а отец специально, видно, и окрестил под свое отчество, как его недоносок белый свет осчастливил своим появлением. Все равно он Ленькой-Мордвином останется, хоть сто тысяч “Волг” за его отцом заезжать будет. Мордвин у нас на углу вечно вечерами болтался, приклатенного из себя корчил. Наверняка подкуривал, глазки у него как у бешеного таракана блестели. Ну, если честно, это я все потом обдумал, потом меня аж дергало, когда он подходил — больше всего противны эти его прыщи на морде, взбухшие и красные до лиловости. А когда он с ножом выпендривался, мне не до мыслей было, по спине холод катался. “С тебя, — скрипит, — чирик в день”. А сам, гад, еще кожу мне покалывает своим ножом дерьмовым. Где я им возьму? “Это твои проблемы, просекаешь? Мать у тебя не хилая, ее не так тряхнуть надо. И прикинь, не вздумай там...” По-моему, он и сам дергался перед тем, кто меня держал, так я и не увидел того, а от этого еще страшнее. И выгреб, что у меня в кармане оставалось, всего-то два рубля с мелочью, крохобор прыщавый. Куда мне деваться оставалось? Он меня назавтра и еще через день все встречал: “Три дня за тобой... шесть дней, шестерик накрутило, прикинь...” Я уж у матери как-то в шкафу, где она прожиточные деньги держит, вытащил было, да назад положил. Что потом говорить? Думал на почту устроиться, телеграммы разносить, я так как-то себе на плейер заработал за два месяца, отец куда как довольный был. Но там хоть язык высунь и всю школу пробегай — таких денег разве зарабатываешь?

“Смирнов Петр!” Это мне пригрезилось, что ли, что меня позвали. Какая-то капля на лицо капнула, вот и проснулся. Вначале и не понял, где я, темень беспросветная и гул. Здесь и возникли опять мысли о Мордвинове, опять до дрожи. Ух, чего только я не напридумывал, как от него избавиться. То, якобы, мне сообщали, что он под машину попал. То его с “травкой” заловили и в колонию отправили.

А все равно ведь за его спиной кто-то маячил, вот что жутко. Да и ничего с этим Ленькой не приключилось, раз ему кто-то прилично портрет разделал, так он еще злее зашипел на меня: “Сто шестьдесят колов за тобой, проценты пойдут!” И попытался мне по скуле попасть. Ну, это не в темном углу с ножом, я драться не очень умею, честно, но уж не пропустить удар один на один, блок поставить этому вихляю — меня хватит. А не умею драться потому, что мне бить человека что-то внутри не дает, как болезнь какая, даже по такой прыщавой морде ударить не могу. Я уж даже над фамилией своей задумался. Этих фамилий, посмотреть по справочнику, не меньше Ивановых. Смирные, что ли, очень были, что так назывались? Сейчас вон я посмотрел телевизор, да разговоры послушал взрослых — не слишком ли много вот таких смиренных пред всякой властью было у нас? На Руси, как у меня отец любит говорить. Голову в плечи и — пошел: в магазин. Да, в магазин. Не в мамин, конечно. Я и знал, что попадусь, не здесь, так после. Кому бы я тот костюм, что под плащ надел, продал? Хоть взял для примерки два костюма, чтобы потом один повесить, будто не подошел, а знал наверняка и по мне сразу что-нибудь угадывалось, потому что меня мандраж бил. Стыдно-то как!.. Особенно пока в магазине все возмущались, до милиционера. И потом — когда из школы Людмила Титовна прибежала. Как уж она уговорила их меня отпустить, не знаю. А что я ей мог ответить — для чего, мол. Я и молчал, только глаза и оставалось прятать. “Петр — камень, — сказал Людмила Титовна. — Знаешь? Но не потому, что упрямый и молчит, хоть и сам понимает, что все некрасиво. Камень потому, что тверд в принципах, в вере...” Правильно она, конечно, говорит, но и сама чувствовала, что со мной не все нормально, а вот тоже не могла как-то проще, без “воспитания”. А ведь не сравнить с другими, хорошая она, честно. Но что бы я ей рассказал? О прыщавом Леньке-Мордвине? Так ее, кроме всей прочей бесполезности, из нашей школы мигом бы сдунуло, уж здесь особого ума не требуется, что Ленькин отец не даст сынка в обиду и “напраслины” не потеряет.

Так что нормально, что на траулер попал. Дальше видно будет, а пока затаиться хоть два-три дня, не повернут же

они назад сразу? Вот и часов не взял... сколько же я спал, видно, немного, потому что меня опять начало клонить в сон.

В Людмилу Титовну мы все влюбились, как только завуч привела ее на урок.

В конце четверти у нас недели две литературу разные учителя вели. То ли Милиция наша заболела, то ли сил на несколько классов не хватило, то ли всё вместе и еще что-то случилось, мама ей часто звонила и все вздыхала, слушая, а только оставила нас “М в кубе” в покое. А то мы целый год пристебываями были к ее седьмому “В”: куда они, туда и нас тянет. И где она только такие фильмы выискивала, их в маминой-то юности смотреть, по-моему, скущица была, такие правильные, все знаешь, чем кончится, а чаще она на литературные фильмы водила, это называлось “закрепить учебный процесс”, или еще чище — “разбудить интерес к чтению”. Сколько мы всяких “Обломовых”, “Дам с собачкой” да “Павлов Корчагиных” пересмотрели! Разбудишь, как же. Кто это еще будет и книжку читать, если и так все ясно. Я как-то взял Чехова почитать, так ничего похожего, у него там и смешно по-настоящему, и грустно не по заказу, как в кино — все вместе загрустили, р-раз, все вместе хохочем, два. Она нам всякую лапшу вешала: мол, Душечка — это обличение мещанства и все такое. А я там никакого обличения не увидел, в рассказе, наверняка Чехову такая Душечка нравилась, может быть, он и сам хотел бы, чтобы такая рядом с ним была и ухаживала бы. Я бы, например, в такую ласковую девчонку запросто влюбился. Еще Милиция любила нас по выставкам водить. А что толпой разглядеть можно? “Не отставайте, мальчики, будьте внимательнее. Смотрим “Рождь под ветром”... а этот портрет, видите, как похоже!” Это называлось “развить культурный уровень”! По ней — так за сто тысяч лет ничто изменяться не должно, главное — чтобы “похоже” оказывалось. У меня отец, между прочим, перед мореходкой художественное училище заканчивал, так у него юмора хватило над собой посмеяться: так, говорил, похоже все рисовал, что и самому на всю жизнь опротивело!., ни одной щелки для мысли не оставлял... Я понимал, конечно, что ему тогда не сахарно пришлось, но зато хоть не притво-



рялся. Альбомы начнет листать, так глаза как у сенбернара делаются, вот с отцом хорошо было на такие выставки ходить, он меня раза два брал с собой. Не бегаёт как угорелый от картины к картине, мимо “похожих” проходит, только покосится, а потом возле одной какой остановится — тысячу часов смотреть может. Сперва ничего там не разберешь, намазюкано... я, помню, проговорился рядом — непонятно, что здесь хотел художник. Женщина почему-то с крылышками, а воздух, правда, будто подрагивает, почти малиновый, и с небом таким же сливается. Что-то у меня закопошилось внутри, тоска не тоска, а беспокойство какое-то. Вот и спросил. Так отец мне шепотом здесь и выговорил: “А ты хочешь, чтобы тебе все задарма?.. он здесь мучается, ищет, головой об стенку бьется, потому что сам найти что-то не может... а тебе чтобы все сразу ясно стало. Куда уж ясней: вот горло перерезанное, вот кровь натурально, вот тебе и нож, да еще и вовсе настоящий прищипили — куда понятнее. Самому и думать ни к чему, извилины напрягать. Научили... прокламациями чувствовать, да не стать лягушке волом... Понятность им подавай!” Честно, я тогда даже пожалел отца, как это он в отделе кадров своем усживает? А о ком он говорит, я ту картину “Царевич Дмитрий” в журнале видел, только фамилию забыл, тот художник еще портреты королей да принцесс натуральных рисовал, и Леонида Ильича. Он как-то по телеку выступал, все о себе — какой он спаситель искусства. Мура всё. Здесь я расхохотался, это у меня бывает: как представлю, так хохот жеребьячий раздирает. Представил, как морду Леньки-Мордвина в прыщах нарисовал бы похоже, тоже ведь Леонид Ильич, это сколько ж красной с лиловой краски ушло бы, чтобы те бугры на роже выписать!..

Это я опять увлекся. А что мне еще в такой темени делать, от скуки себя сразу жалко становится, так лучше уж хорошее что вспомнить. Только у меня привычка такая, об одном говоришь, а другое само собой выходит и на память лезет. А Людмила Титовна симпатичная оказалась, наша новая классная. Она институт только в прошлом году закончила и специализацию какую-то, на английском языке. Людмила Титовна у нас кроме литературы еще и англий-

ский вела. И это сразу оказалось интересно. А мы у нее первыми были.

— Это ваш новый классный руководитель, — сказала завуч как обычно, пока мы стояли. — Вы ее должны уважать.

А сама села на заднюю парту, чтобы, значит, убедить-ся, как мы уважать примемся. Я бы на месте новой учительки ни за что не согласился, чтобы кто-то при знакомстве, как милиционер, сидел на задней парте, да еще, небось, меня бы тоже оценивал, будто на ипподроме в задних рядах.

А Людмила — мы ей потом за полгода и в седьмом-то классе прозвища не придумали, так и осталась Людмилой — ничего, не очень от завуча стушевалась, хотя пятна на щеках все же проступили, но теперь даже девчонки так румянами щеки трогают. Сразу нас и перекликивать не стала: “Мы с вами позже познакомимся ближе”.

— Кто не мечтал о машине времени? А у нас она есть. И мы сейчас немного попутешествуем: назад, в тринадцатый век, но одновременно в разные страны. А “машина”? Книга, конечно. Но сначала вспомним:

— To be or not to be — that is the question...

Она читала по-английски, а я сидел от завуча справа на другом ряду и заметил, как та подняла брови. Хорошо Людмила Титовна читала, потом и на русском:

**Быть или не быть — таков вопрос;**

**Что благородней — духом покоряться**

**Иль, ополчась на море смут, сразить их**

**Противоборством? Умереть, уснуть...**

.....

**Кто снес бы плети и глумленье века,**

**Гнет сильного, насмешку гордеца,**

**Боль презренной любви, судей медливость,**

**Заносчивость властей и оскорбленья,**

**Чинимые безропотной заслуге,**

**Когда б он сам мог дать себе расчет**

**Простым кинжалом?**

**Так трусами нас делает раздумье,**

**И так решимости природный цвет**

Хиреет под налетом мысли бедным,  
И начинанья, вознесшиеся мощно,  
Сворачивая в сторону свой ход,  
Теряют имя действия...\*

— Это Шекспир, конечно. Но отблески событий в “Гамлете” дошли до него из XIII века. Вопрос братоубийства и наказания за него волновал еще тогда мысль не только в Дании, где происходит историческое действие... И власти... А теперь мы вспомним созданное почти в это же время на Руси “Слово о полку Игореве”... в Испании слагается “Песнь о Роланде”, а Шота Руставели пишет “Витязя в тигровой шкуре”... Независимо друг от друга и тем не менее — насколько близки мотивы и боль всех авторов — борьба за личную власть, несущая кровь и несправедливость, и — объединение, которое одно только и может создать нацию...

Я, конечно, не читал ничего: оперу “Князь Игорь” мама меня как-то брала с собой смотреть, хотя там надо больше слушать и они очень долго поют, когда все уже понятно. “Гамлета” я тоже по телеку видел. Но здесь и в самом деле интересно стало, такая уйма времени прошла, а люди и сейчас о том же говорят и все силой хотят доказать друг другу, кто лучше, кто умнее. Нет, если прикинуть, вроде люди всегда хотели жить мирно, а сами воевали, чтобы доказать другим, какие они мирные и как хотят всех спасти, а вырезали своих соседей, чтобы побольше на дармовщину захватить. Даже братьев не жалали, как Святополк, который вырезал Бориса и Глеба, да потом и сам Ярославу попался. Или вот отца Гамлета. Я представил себя Гамлетом в замке, он рассуждает о справедливости, а сам убивает Полония вместо Клавдия, как будто это и не человек даже — нет, не по мне это, не стал бы я почему зря хвататься за шпагу, это только начни — и все друг друга вырежут. Шекспир не зря всех в одну кучу свалил, чтобы Фортинбрас этим не занимался. Лаэрт Гамлета, Гамлет Клавдия, который королеву, а Офелия сама... не люблю я историю! Как начнешь думать, так и понимаешь, что лучше бы тебе и не родиться, потому что твоя жизнь ничего не зна-

---

\* Перевод М. Лозинского.

чит. Какой-нибудь прыщавый Ленька пырнет за чирик, вот и вся тебе история. То-то все инопланетян ждут!

Я однажды видел, как убило человека, вот жуть. Он поторопился и перебежал улицу до середины, как раз на двойной линии по центру остановился. А его милицейская машина как резанет, она и по центральной части километров на пятьсот скорость держала. И все. Да еще на той стороне его жена с дочкой остались, видно, не решились за ним. Только он им что-то говорил, может, и шутил или спрашивал, что они ужинать будут — и не встает, никого знать не знает, хоть обзовись на всю улицу. И наш автобус дальше поехал — я у окна сидел, видел все. Еще водитель видел, он даже дверь свою открыл, как выскочить хотел, но там уже милицейский Пассат люди окружили, а мы дальше поехали. В автобусе кто-то о своем хихикал, а тетка с сумками за место ругалась. И вся тебе история! Я тогда еще, помню, пожалел, что это не я под колеса попал, ничего бы тогда и придумывать не нужно и не видел бы тогда растерянные глаза Людмилы Титовны, когда меня от милиции выговаривала и в магазин бегала. И вообще бы ничего больше не случилось. А тогда мне просто девчонку жалко стало, хоть я даже и лица ее не разглядел, маленькая девчушка, это точно, лет пяти, а отца уже убитого видела, как это она дальше жить должна? Лучше и не иметь детей, как представишь, что тебя тормозить вот так девчушка станет, словно подняться помогает...

Но зато Людмила совсем злиться не умела. Симпатичная потому что. Вот красивые умеют злиться, это я заметил, им, наверное, кажется, что они еще красивее, хотя это неправда. Маме моей наверняка так кажется. А Людмила еще и картавила, откуда здесь строгость возьмется. Она и уроки чудно стала вести, с пластинками, с играми, с какими-то листочками-вопросами, так что и у соседа не сдует никто, зато сама разрешала в учебник заглядывать. “Мне важно, что вы сами думаете, а не списываете”. Но зато и после уроков могла оставить — “вместе вспоминать будем!” Меня-то часто оставляла: “Ты ведь это второй год изучаешь, Пётр?” Почему-то всегда Петром называла, а не понимала, что мне нравится оставаться с ней после уроков и слушать, как она картавит, совсем чуть-чуть:

“Давай-ка, Пётр-л, по-др-лужески р-лазговаривать”. Хотя она, конечно, считала меня тупее сибирского валенка, я понимал. Зато мама нагнеталась потихоньку: “Что это ваша кр-расуля тебя задерживает? Вот позвоню...” А уж если мама отвяжется на кого, так не позавидуешь. И мне опять стало зябко, когда я представил, как пришла к нам Людмила Титовна, а я уже сбежал...

#### 4. *Морская болезнь*

И здесь я почувствовал, что со мной что-то происходит. Траулер двигался вроде также, и переборка (ага, вспомнил, как стенка на судне называется!) как прежде чуть заметно подрагивала, но гул двигателя стал намного басовитее и покачивалось теперь судно бортами, а не с носа на корму. Я только сейчас представил себе, что подо мной всего несколько тюков, дальше днище, и только оно отделяет меня от воды. Сколько, интересно, я спал? Ведь теперь-то траулер плывет по морю. А если шторм, а если... и никто даже не узнает, что я здесь спрятался.

Но эти мысли сразу же куда-то ушли, потому что мне к горлу подкатил комок, который я подавил, потом загнал его внутрь. Тогда на меня напала икота. Это противнее всего — когда что-то в тебе от тебя не зависит и ты ничего с этим поделать не можешь. Это даже хуже, чем с обстоятельствами. Кажется, что уж в себе-то ты волен, а не тут-то было, какой-то дурацкий желудок прodelывает с тобой шуточки, когда это никак неуместно. Я мог бы рассказать, как у нас один чудик чуть из школы не вылетел: все тянул руку, а училка все оборвала — сиди, мол, не мешай уроку, пока он, оттолкнув, не выскочил из класса, да еще что-то разбил по пути, кажется. Но мне от этого примера не легче. Мне сейчас и вовсе некуда было деться. Пусть бы скорей утонул этот траулер, и никто так и не узнал бы, куда это я делся. Вообще-то здорово тогда все было бы: меня-то уже нет, а все ищут и ждут и фотографии сто лет перебирают, как будто ты за это время несколько не вырос бы! Получается почти то же, что с инопланетянами, только на самом-то деле меня уже нет, а в памяти я все такой же, хоть все вокруг и старятся. Людмила Титовна вышла бы замуж

за какого-нибудь моряка, у нас все девчонки хотят за моряка замуж — знают, что им привозить всякие тряпки будут и денег кучу зарабатывать. А все равно помнила бы, не может быть, чтобы не помнила Людмила, ведь не каждый день ученики пропадают навсегда, тем более, что я у нее первый такой. Еще и своим детишкам рассказывать будет, ведь должны у нее появиться дети, если замуж выйдет. А этот идиот Ленька наверняка уж помнить будет от разочарования, от того, что с носом остался, думал, вот они уже в руках, чирики, или какую уйму колов он уже насчитал, а я навсегда пропал. Еще ему и не поверит, кто был с ним, будет с него долю требовать, а потом Ленька в больницу попадет, потому что ему печенки отобьют, у них всегда так, обязательно нарвется.

Хуже всего, конечно, маме будет. Я ей как-то сказал, что хотел бы иметь сестренку, так она рассмеялась: “Мне тебя одного много!” Мол, в наше время нельзя иметь детей — это она не мне, а “М в кубе” говорила. По-моему, чего это моим родителям бояться. Как будто я не понимаю, что такое директор универсама. Нет, я ничего не могу сказать, у моих родителей не так много денег, она когда по путевке в круиз ездила, так занимать пришлось. У нас даже на машину никак не наберется, мама вечно на такси на работу ездит, потому что опаздывать не любит. Правда, не совсем мне нравится, что мама непрочь упрекнуть отца своей честностью, мне это напоминает ту глупость, когда восхищаются, что кто-то найденный кошелек вернул, ах, геройство какое!., наверняка зажилить хотел, да видел кто-нибудь. Зато маме всегда звонят из других магазинов: “Я вам рыбки оставила... Нам персики завезли, вам сколько?” “Евгения Николаевна, вы интерферон для сына спрашивали... и градусники появились”, — это из аптеки. Короче, никаких проблем, она и знакомым все устраивала вечно, хоть и кривилась. Борзыми щенками это называется — я у Гоголя вычитал. Здорово! Или у Салтыкова-Щедрина? Смешно мне было на Милицию нашу: сама рассказывает на уроке, а потом к маме бежит. Нет, все же у Гоголя.

Вечно они притворяются, будто про других написано, будто их это не касается, еще и возмущаются, когда о дру-

гих что-то такое узнают. И еще об “уроках жизни”, которые “извлекать” надо из книг!., то-то наизвлекались, старатели!

А сестренку я и правда бы хотел, чтобы была. Они интересные, маленькие. И мне почему-то их всегда жалко, прямо до слез жалко: они смеются, играют, им все улыбаются, и малыши не знают, какая их лажа ждет, когда вырастут. Но я-то знаю, почему мама не хочет еще родить: она боится, что потолстеет и папа ее разлюбит. Честное слово! А ведь отец лет на сто старше ее! Когда мама заканчивала Плехановский институт в Москве, она настояла, чтобы нанять “помощницу”, как она это называла. Чтобы дома нам с отцом кто-нибудь готовил и убирал. Мамы чуть не два месяца не было, когда она диплом защищала. Так она чуть не каждый вечер звонила и все спрашивала меня, как там дела и не забросила ли нас Тома. Это та самая “помощница”, ее сама мама и привела. Как будто я не понимал, для чего мама меня о ней спрашивала! Честно, я надеялся тогда сдуру, что Тома закрутит отцу голову, она симпатичная и тоненькая и глаза у нее... такие были, да еще подведет их. А сама полы моет в черных чулках, умора! Правда-правда, надеялся, что отец в Тому влюбится, я тогда его сильно к маме ревновал. Глупость, конечно, только я почему-то во сне иногда видел себя взрослым и представлял, как женюсь на маме. И все боялся, что она умрет, ужас как боялся! Но Тома, оказывается, не отца, а меня соблазнить хотела, она один раз в ванну затащила, все бормотала: “Ты же вон какой грязный, ты же вон какой...”, я сперва и не понял ничего такого, только стыдно стало, когда она с меня все стаскивать принялась, а в ванне пены полно. Нет, сперва ничего: она хохотала, брызгала на меня, все глаза пеной залепила, хохочет, а сама вдруг говорит: “Вся из-за тебя намокла, надо платье просушить!., правда, маленький?” Я еще и был шплинт, это я после за два года сразу вырос. Тома ржала, как идиотка, отвязалась, словно ее миллион рук сразу щекочет, хотя я и не думал щекотать, даже руки притиснул вдоль тела, их прямо свело от смущения, я и глаза боялся раскрыть, потому что Тома плюхнулась в ванну, заходясь в хохоте и шепча с повизгиванием: “Ну, дурачок ты ма-аленький!.. вся из-за тебя

вымокла-ась!” Я же еще и виноват. Она пыталась вытащить мою руку, а я ткнулся носом в грудь, она у нее большая и пахла духами и потом, я, как придурок, заплакал и стал вырываться, но через минуту она уже стояла перед ванной в мамином халате и дышала мне в лицо: “ну и глупый, глупый... тебе что, воды стало жалко... вытру сейчас”. Дуррачком меня выставила, воды, видишь, пожалел в ванной! Я, конечно, никому не рассказывал об этом купании, но запах этот меня долго во сне преследовал. Я вообще много запахов на память помню, люди все по-разному пахнут, а я могу лицо забыть, а от запаха, вспомнится, вдруг и затошнить может. Вот и сейчас зачем-то припомнилась эта Тома, я ее и не видел больше после возвращения мамы с дипломом, два года прошло, и надо же теперь вспомнить...

Я почувствовал, что больше не могу сдерживаться, голова горела, а желудок весь поднялся к горлу, и я судорожно сунулся в этой темени куда-то в сторону, там меня и выполаскало, только что наизнанку не вывернуло. И здесь вовсе начался бред какой-то, штормовой бред, что ли: я захлебывался и пытался кричать, ударялся башкой о неприступные выступы и снова валился на пружинящие связки сетей, а траулер наклонялся, перекатывая меня с боку на бок. Никто, наверняка, меня не слышал, я и сам почти не слышал хрипа собственного и криков, может быть, крики и вообще только в мозгах звучали, наружу не вырываюсь. Мне казалось, что меня посадили в мешок и завязали, так было тесно и душно, да еще этот железно-камфорный привкус во рту и шершавый язык раздирает небо, помереть легче. Рукой нащупал на стенке какой-то влажный потек и попробовал лизнуть, мне казалось, что капает вода. Но воды не было, именно влажность, горьковатая и с запахом ржавчины, к которому опять примешался этот дурацкий запах пота, а может, это от моих ладоней так пахло, не знаю. Только меня опять полоскало, и голова отдельно плавала в этом мраке, честное слово, мне показалось, что отделилась голова, хотя я ее мог потрогать — как ватой набитая. Я наткнулся на сумку, достал колбасу, отчего-то мне захотелось ее откусить и колбаса оказалась какой хотелось — твердой и солоноватой. Вдруг захотелось



почистить зубы, до зуда в руках и ногах захотелось. Я даже засмеялся от нелепости.

Потом я заснул. Не помню даже как, словно в колодез упал.

### 5. *Когда открылся люк...*

Во сне я летал на качелях. Качели были странные, и, кроме обмораживающего страха, мучило непонимание — где же такие качели и на чем они удерживаются, потому что несли они меня вверх в никуда и в никуда падали со мной. И происходило это не в воздухе, а в какой-то желеобразной массе, розовато-сероватой и почти ощутимо живой, я чувствовал, как поглощается ею мой крик. Голос мой никак не возвращался назад, я не слышал его, хотя понимал, что кричу, даже видел временами, взлетая и словно сам опережая свое комочком сжавшееся тело с судорожно вцепившимися в холодные поручни руками, свой разинутый рот, видел этот крик, но не слышал его.

Неожиданно сквозь эту однородно-рыхлую массу то ли облаков, то ли пара прорвался тонкий луч и ударил по прикрытым векам. Веки мои дернулись, пропуская луч, и вновь плотно закрылись. Я еще не пробудился, но ощутил сладкий запах свежего воздуха, какой-то арбузно-тинный запах, если такой бывает вообще, только не липко-теплый, а холодный, нет, скорее — огуречный. Я несколькими торопливыми глотками проглотил этот воздух, еще ощущая придавленность тела, будто попавшего в самый низ кучи-малы, и боясь, что так и не удастся вырваться из-под нее. Наверное, рот у меня открывался, как у рыбы, вытасченной из воды.

— И здесь никого нет. Я же говорил, что почудилось! — донеслось до моего сознания, и я понял, что темнота сейчас снова навалится на меня.

— Ты лучше смотри. Отсюда крик слышался, честно!

Я завозился, пытаюсь сбросить с себя куконы и чувствуя, как непослушны затекшие руки.

— Не уходите, — крикнул я, но сам чуть услышал свой голос. Не крик, а сипение какое-то...

Кто-то прыгнул на сети рядом с моими ногами, коконы заволновались, налезая на меня и скатываясь по бортам. Я зажмурил глаза и прикрыл их рукой, свет фонаря теперь резал веки, да и страшно стало увидеть чужих взрослых людей. Чего они мне сделают за то, что нашли меня здесь? — но не за борт же...

— Ма-алец, — сырым голосом, вразяжку прошелестело надо мной, видно, говорящий склонился к лицу. А потом — громко и тонко: — Ну дела-а, штурман, здесь пацан укутался!

Когда две руки подхватили меня под мышки, я все еще прижимал ладони к глазам. Руки подняли меня вверх, а другие вцепились в оба плеча моей куртки и рывком дернули. Ноги мои оказались на земле и мягко подогнулись подо мной.

Это была, конечно, не земля. Твердые доски палубы сразу ушли из-под ног, целый муравейник прокатился по правой ноге, подвернувшейся как в йоговском “цветке лотоса”.

— Хо-р-рош! — угрожающе раздалось надо мной. — Показывай лицо, лягушонок!..

Я опустил руки. Кто-то стоял передо мной, мне он показался почти вровень, только широкий какой-то, как шкаф. Получше мне моего доставальщика разглядывать было неловко, да и свет здесь оказался серым, а глаза застило накотившимися слезами. Не от страха, а, видно, с отвычки. Туман. Бояться я уже не боялся, только чувствовал пустоту внутри и неловкость от того, что вот сейчас начнутся расспросы. От этой опустелости в животе и от сырого пухлого воздуха сами собой застучали зубы, и это оказалось очень противным: вот, мол, слабак какой-то...

— Хо-о-рош! — повторил так же сердито голос, наверняка он еще и не знал, что нужно мне теперь сказать, а может — просто выбирал, как мне поточнее отвесить подзатыльника. Сзади вылез тот, с фонарем, и молчал за моей спиной. Я задержал в себе воздух и сжался, чтобы остановить это противное щелканье зубами.

— В рубку его давай, Петрович! — крикнули откуда-то сверху.

Сердитый голос подхватил меня под локоть, ручища у него была прямо деревянная, и я захромал рядом. Еще и икота прорвалась, мало зубной дрожи. Таким идиотом себя ощущаешь.

— Задрай люк, боцман. Да-а... взгляни получше, нет ли там еще лягушат, — он обернулся за мою спину, а потом давнул мне руку, — Ты один там гостил, путешественник?

— Ук-гу, — икнул я. Видел бы меня сейчас Витька, то-то ехидничал бы. Ну, вот я бы на него посмотрел, попади он так...

По узкому трапу мы поднялись наверх, прошли тесную комнатку со столом, на котором кажется приколата была карта, и вошли в рубку. Я сразу понял, что это штурманская рубка: у штурвала стоял матрос. Конечно, матрос, хотя он был в полушубке, и борода у него — как у деда Мазая. Он смотрел на компас и поворачивал штурвал. Вовсе небольшой штурвал, такой и я, наверное, мог бы повернуть. Потом матрос оглянулся на меня, и я понял, что он совсем не старый. И еще, когда матрос оглянулся, страх у меня прошел: глаза у него смеялись, он даже подмигнул мне — не дрейфь, мол. Море можно было увидеть с трех сторон, но сейчас ничего видно не было, туман. И я только сейчас понял, почему мне сосало внутри от какой-то тоски. Капитан потянул за какую-то ручку, и раздался гудок, потом еще. Когда гудок смолк, у нас над головой ударил колокол. Бум-м! Тум-м! Бам-бам! Капитан переждал, все еще не глядя на меня, и снова дернул свою ручку.

-У-уу-у-ууу! — Звук был глухой.

Капитан теперь смотрел на меня, даже брови свел. И мне опять стало неловко. Что он со мной будет делать? Я вдруг почувствовал, что губы мои расползаются в ту самую дурацкую улыбку, которая бесила иногда учителей. И маму выводила из себя. А я ничего с собой в такой момент не мог поделать, меня всегда разбирал смех, когда мне читали нотации. Особенно, если я и в самом деле был виноват. Ну никак не мог я удержать эти чертовы губы, хоть и понимал, что будет еще хуже.

— Весело? — приподнял бровь капитан. — А нам какво в такой туман, подумал?

Честное слово, я чуть не стал оправдываться, что я не виноват, что я вовсе не хотел этого тумана, что я и не знал вовсе о нем, пока сидел там в сетевом трюме...

— Кто у тебя в море ходит? — вдруг спросил капитан.

— Па... Отец. Только сейчас он не в море. Он в порту, начальник... в кадрах...

— Алексей Владимирович? У тебя фамилия Смирнов? Ну, дела. Так прикажешь тебя сейчас на шлюпку высадить? Остров как раз недалеко, — капитан ткнул большим пальцем себе за плечо куда-то вправо. — Борнхольм называется, чтоб знал. Или лучше вот что: посадим пока, пожалуй, в цепной ящик. Раньше пиратов так вот возили. В цепном ящике. Чтобы мне бунт на корабле не поднял! Ну, хоть до выяснения личности я, пожалуй, не откажу себе в таком удовольствии.

Он говорил это, сведя брови и ничуть не улыбаясь. Зато, отвернувшись, смеялся рулевой, я даже по затылку его видел, как ему смешно и весело. Прикусил губу штурман. Развлекаются. Я понял, конечно, что ни за какой борт меня не выбросят, наверное — и в этот самый цепной ящик не посадят, хоть я и не знал, что это такое, но ящик есть ящик и сидеть в нем нормальному человеку, само собой, не очень-то улыбается.

— Маркони! — стукнул еще в одну дверь капитан.

Я сперва и не заметил эту дверь, она за спиной у капитана скрывалась. Оттуда высунулось заспанное лицо в лыжной шапочке с помпоном. Недоволен.

— Свяжись с портом, Юра. Вот нарушителя границы обнаружили. Смирнов... как звать?

— Петя, — сказал я, как проблеял, и сам себе показался каким-то заблудившимся, поэтому и сам сразу поправился. — Петр...

— Смирнов Петр Алексеевич. Смотри-ка, не самозванец ли? Вот и узнай, говорит, что сын Алексея Смирнова, Владимировича, что начкадрами. Обрадуй заодно, наверняка запекались. Скажешь, что высаживаем в шлюпку, солонины на три дня!..

До меня только что дошли слова капитана о “нарушителе границы”. Я даже и не подумал, что уйти тайком в море — это значит и оказаться за границей. Здорово! Вот

бы они еще и зашли в какой-нибудь иностранный порт, и я...

— Как же это пограничники прошляпили? — спросил Юра, про которого я понял, что он радист.

— Так же, как мы. Кто думал, — вот сейчас я услышал в голосе капитана раздражение. — Иди, связывайся. Не назад же нам поворачивать. И так из-за этого тумана время уходит...

Да, раскатал я губу — “иностраный порт”, так бы меня и выпустили, заперли бы где-нибудь, чтобы и в окошко не увидел! И мне сейчас стало неловко: наверняка он злился оттого, что я прибавил ему забот. Был бы я на его месте, не так злился бы...

— Я тоже помогать буду... работать, — пробормотал я.

— Это уж само собой. Здесь никто хлеб даром не ест. Да, кстати, надо парня и накормить, — он подошел к какой-то трубке и дунул в нее, а потом приложил ухо.

— Слушаю, — прошелестело оттуда.

— Поднимись-ка в рубку, Ростислав, — капитан оценивающе окинул меня взглядом, потом перевел глаза на штурмана и непонятно ему ухмыльнулся. — Деда потесним. А ты иди завтракать, я сам здесь достою. Да второго толкни.

Над головой снова раздался удар колокола: “Бум-м!” Я уже и забыл замечать его, только в этот раз откуда-то слева, издалека пробился как бы ответный клекот: “Там-там!” И гудок оттуда же. Я понял, что рядом проходит другой корабль. “Держи курс внимательнее”, — сказал капитан матросу. Они оба теперь не обращали на меня внимания, я торчал и не знал, что же мне теперь делать. Нет более дурацкого положения — ты вроде бы и находишься рядом с людьми, а оказываешься ни при чем. Можно хоть руки в карманы засунуть, хоть шапку снять, переминайся с ноги на ногу, а никому это не интересно. Вон капитан курит, жаль, у меня нет сигареты, да и не люблю я этого вкуса, сколько ни пробовал, а привыкнуть не мог к дыму, который зачем-то глотать приходится, что за форс такой, если во рту противно. Да он наверняка и не обратил бы внимания, верняк, что подумал бы: так уж у них заведено, мол, что с них возьмешь, бездельники и пижоны растут. Слы-

шали мы это сколько раз. Поневоле захрюкаешь — назло. Это как в Алисе: называй младенца поросенком, он обязательно захрюкает. Да. А потом и в свинью вырастет. Так еще и удивляться будут, откуда, мол. Ни сном, мол, ни духом у нас близко подобного не было, вот, мол, я в твои годы... Смех да и только! Как-то я, для юмора, подал отцу дневник. Листает он тот дневник чертов, смотрю, аж краской наливается. Ну, думаю, готов, сейчас воспитывать спохватиться. Я-то знаю, что там его заводит: там трояк по литературе, там пара по геометрии, сейчас еще хлестче будет, вот перелистнул, пожалуйста — “Родителям явиться в школу, иначе встанет вопрос об исключении Вашего сына”. Если подумать, так до лампочки им там этот самый сын, потому что... Он аж швырнул на стол, как обжег его тот дневник. Я уже и пожалел было, что затеял эту муру. А потом решил — пусть, доведу до конца. Все они одинаковы: “читай, учись”, а сами ничего не помнят, небось, “Горе от ума” — как Милиция наша — “обличение крепостнически-помещичьего... где свободно мыслящему человеку...” А сами еще худших Фамусовых со Скалозубами наплодили. Молчалиным себя никто не признает. “Прошлое!” Вот и листай себе это прошлое, папа... А отец швыряет дневник, отвечаю, что в меня хотел швырнуть, да сдержался. За руку схватил, а другой к пряжке тянется, чего бы трудиться, отвесил бы сразу по шее, чтобы злость выплеснуть. Здесь я и не выдерживаю, губы сами расплываются в эту идиотическую улыбку: “Не отвязывайся, чего ты — это же твой дневник, старый!” Надо было мне его найти!.. Он сперва и не понял, стойку на первые мои слова сделал. Да сел. Зря я, конечно. А они там тоже — “родителям явиться”, видишь ли, им до потолка, что родитель тот у отца давно убит на фронте. Я так и не спросил тогда отца, чего он там натворил в школе, как-то он отошел от меня молча, я даже порадовался, что мамы дома не было, не видела его. Мы и не говорили после об этом...

Я так задумался, потому что — о чем же мне говорить, капитан с рулевым своим заняты, а за стеклом туман и этот вой с бим-бомом тоскливый. Хорошо, здесь как раз поднялся в рубку тот, кого вызвал капитан в трубу. Тот самый здоровый парень, который меня компотом поил. Я

обернулся, и он сразу узнал меня, потому что брови у него поднялись.

— Вот, Ростислав, — обернулся капитан и ткнул в меня пальцем, как в экспонат какой. — Посмотри на пирата. И таможно проспал в сетевом трюме. Алексея Смирнова сын, в кадрах который. Он раньше тоже в моря ходил, да спился чего-то...

— А-а, знакомец! — расставил ручищи этот Ростислав, ну и здоров же все-таки, кажется — полрубки сразу занял. — Что, компот не допил?

Мне как-то легче сразу стало, честное слово. Как-то с ним рядом понимаешь, что ничего страшного уже не произойдет, и донимать такой по мелочам не станет. Только я понять не мог, кто он такой. И свитер на нем тот же, исландский. Теплый. Я поежился и глянул на свои московские адидасы. Вот бы мне такие сапоги, как у Ростислава, прямо с ботфортами!

— Ты ж говорил, что с отцом попрощался! — это он мне. Помнит. — Врал?

— А я и попрощался. Он же на берегу оставался. Они...

— Поня-атно! Сбежал, значит. Уважаю. И было от чего?

— Ты вот возьми его к себе, Слава. У тебя хоть диван есть. Не в кубрик же его, наслушается там в носу... Вот еще дурь на мою голову, — капитан поднял на меня бровь, а я увел глаза на свои кроссовки и губы сами поехали к ушам. — Улыбается еще, видишь. Всыпать бы горячих по... Там пересадим как-нибудь в порт, пока возьми его. Да голодный он.

— Будешь жить у деда, — сказал мне капитан и отвернулся.

Здесь уж я голосом рассмеялся.

— Чего звенишь, Синбад ты этакий? Смотри, здесь волна живо в рот проскочит.

Даже матрос улыбался и ждал, видно было, нашего разговора. Скучно, наверное, вот так, вслепую рулем шевелить.

— Дед! Какой же вы дед?

— Пошли, салажонок. Сразу пешехода видно, не знаешь даже, как старшего механика величают! — еще моряка сын...

А-а, вот он кто. Значит, я в машине побывать смогу, увижу тот самый двигатель, что ухал мне в моем убежище.

Я пошел следом за этим белобрысым Дедом. Железные ступеньки под ним, похоже, прогибались. “Глядишь, рассеется”, — это он о тумане пробормотал. А я хотел есть и спать.

## 6. Знакомство

Я проснулся от мелкого дрожания стенки — нет, надо все же привыкать к настоящим названиям, раз уж попал на судно, — проснулся я от мелкого дрожания переборки, когда закинул руку за голову и пальцы мои коснулись переборки над диванной спинкой. Спал я на небольшом диванчике в каюте старшего механика и помню, что перед сном все решал вопрос, называть ли этого большого парня Дедом или Ростиславом... отчества его я ни разу не услышал, все только так его и звали, хотя многих, это я заметил, даже моложе его, окликали по одному отчеству: “слышь, Петрович” или “плесни еще чайку, Димыч”. Уснул, так ничего и не надумав. Пока можно и безлично отвечать: “мол, да, в седьмом классе, да, по телевизору люблю смотреть “Клуб кинопутешественников”, но только он часто скучный, а вот рок-концерты...” Даже без “вы” можно обходиться, безличные предложения мы уже проходили. Да мне много и не пришлось пока говорить. Когда мы пришли в салон поесть, все, кто был — моряки то есть, а кто они в отдельности я не совсем еще и понимал, — и кто потом заходил, уже знали, что я здесь, и обсуждали меня так, будто меня и не было за столом. Поэтому я уткнулся носом в тарелку и молча ел блинчики с повидлом, а от борща отказался — это мне показалось юмором, борщ на завтрак, но другие, ничего, ели, со вчерашнего осталось. “Не выливать же”, — сказал кок.

Да что про еду помнить, хотя это интересно — кто как есть умеет, я еще в школе любил смотреть, каждый по-разному и сразу понимаешь, что это за человек. Но в этот раз-то я никого не мог замечать, наоборот, у самого уши горели, потому что чувствовал чужие взгляды. Да еще и обсуждали: голодный, мол, — а ты вот посидел бы в трю-



ме двое суток! — да какао ему подлей, пусть пацан подпи-  
тается, отошал... А у меня уже и глаза осоловели, так что я  
обрадовался, когда Ростислав тронул плечо: “Потом наго-  
воримся”.

Проснулся и не понял: вечер, ночь ли, под утро ли? Короче, ночер какой-то, как у меня один пацан любил повторять, когда допоздна топтались. Подхватил где-то, не сам же придумал, но все равно здорово — “ночер”! В каюте было темно, почти не качало и только вот почему-то мелко и часто дрожала переборка. Я глянул в иллюмина-  
тор, он как раз напротив, над письменным столом вид-  
нелся. Самую малость отличался от темени вокруг, голубо-  
ватым чем-то светился. Я встал и сделал два шага всего к  
столу, да еще наткнулся на стульчик, который с места не  
двигался — прикручен, что ли? И в иллюминатор далеко  
увидел звезды, а потом различил воду и совсем небольшие  
волны, они-то и отдавали зелено-голубым. И я теперь уви-  
дел и понял, что траулер идет полным ходом. Услышал  
двигатель, который гудел ровно и густо, от его мощи, вид-  
но, и дрожала переборка. Тумана не было, и судно куда-то  
мчалось. Я вспомнил бурчание капитана: “не поворачивать  
же обратно”. И решил, что мы все-таки идем дальше в море  
или куда-то там — на промысел. Мне стало немного обид-  
но, что опять проспал целый день. Как будто я для этого  
сюда и сбегал — отсыпаться!.. Ну, а сейчас что делать? Не  
пойдешь же сам по себе бродить среди вот этого ночера.  
Досплю, а там, если надо, разбудят. А что я, интересно,  
могу здесь делать? — “даром здесь хлеб никто не ест”, ска-  
зал капитан. А как — недаром?.. И никак-огооо-тебе-што-  
о-о-ооо...

Мне успело присниться сразу два сна. В одном зачем-то  
приснился урок труда. Вот еще лажа. Меня опять заставлял  
Семен Павлович делать какую-то дурацкую линейку. Я этих  
линеек уже миллиона три сделал! Это у них называется  
“приучать к труду”. Как будто мне всю жизнь надо будет  
делать эти линейки! Или картошку под дождем убирать,  
как нас заставляли в сентябре. На целую неделю вывезли  
полшколы, урожай, мол, спасти. “Каждый должен жить  
по труду” — вот задвигали нам, а что-то в том совхозе мы

и людей почти на поле не видели, один бригадир к нам придет да тракторист. Если так вот всю жизнь “по труду” жить, так для чего тогда вся эта их учеба нужна? У Ленки-Мордвина вот джинса, что на нем надета, на толкучке пять бумаг потянет — то-то он по великому своему труду занимел, это ведь вспотеть надо: сыном своего папаши родиться. Короче: дурацкий сон. Обидно: даже во сне тебя точно фэйсом об тэйбл, как у нас в школе говорят, норовят растереть. Самое обидное, что тебя за олигофрена держат, будто у нас ни глаз, ни ушей нет. Я это слово, которым дебилов называют, специально для исторички выучил. Когда она взбесилась от моего вопроса: почему, мол, большевики Учредительное собрание разогнали, а в истории нет, как рабочих тогда в январе расстреливали — тех, которые против на демонстрацию вышли. Сам в газете прочитал, больно отец от этого взъерошенный был, вот я и прочитал. “Это где ты такое взял! — историчка на меня отвязалась. — Выборы были неправильными...” Вот я и выучил потом, чтобы сказать ей: “Я не олигофрен, читать научился!” Только не сказал, себе дороже. Как будто не понятно: зачем такие выборы, на которых большевиков меньше других выбрали, а власть у них уже была! Не стал я ей говорить, и про олигофрена не стал, хотя мне слово понравилось. Легче прикинуться идиотиком: а-а, мол, а я не понял. Выгнала бы и пару влепила, она и психовала от того, что не права, а сила-то у нее. Нужна мне ее история...

А вот после мне такой стыдный сон приснился... от покачивания, что ли? Если честно, я потом часто вспоминал то купание в ванной, которое мне Тома устроила. Нет, теперь не она приснилась, но все равно стыдный сон, мне аж горячо стало. Я проснулся и не знал, что теперь делать. Только сейчас я понял, как по-дурацки я сбежал из дому. Даже белья на смену не догадался взять! Такое со мной и дома приключалось, понимаю, что ничего здесь особенного, но все равно неприятно, но дома хоть в ванную шмыгнуть можно... А в каюте уже стало светло. Я лежал, стараясь не шевелиться, и придумывал, как осторожно одеться, когда вошел Ростислав.

Вошел он осторожно, но сразу понял, что я не сплю.

— А-а, выспался, браток? По тебе суточный хронометр можно ставить, — он засмеялся, но необидно. — Давай — раз-два! — включайся, пойдём какао пить да по траулеру прогуляемся. На тебя радиogramма пришла. Не дрейфь!

От него пахло одеколоном. А я не знал, как мне быть. Тоже мне — беглец, думал я про себя, не мог трусы с майкой и носки в сумку сунуть... мама тебя не собрала.

— Что, сейчас бы в ванну нырнуть? — мне отчего-то показалось, что он чувствует мою неловкость. — Давай, одевайся, я выйду. В душе пока горячая вода есть, смоешь сон. Мы котелок завели, успеешь плеснуться, пока механик вахту сдает. Снов-то много просмотрел небось?

Он вышел. Я скомкал с себя трусы, торопливо натянул джинсы и уже спокойно разровнял одеяло. Сон смыть... хитрый Дед! — может, ему еще и про Ирку рассказать, я ведь ее в том сне видел, из соседнего подъезда девчонка, мне ее всегда жалко было с тех пор, как однажды в сильный дождь я увидел Ирку в нашем подъезде. Дождь шел холодный, а она была в коричневом платице, и руки у нее посинели и торчали из рукавов какими-то прутиками, а светлые волосы облепили лицо, и с волос стекала вода. Ирка плакала с каким-то щенячьим поскуливанием, прижимаясь к батарее. Это было ни к чему, ведь батареи еще не топили. “Ты чего это здесь, никого дома нет? Или ключ потеряла?” — спросил я, потому что сам шел из школы и у меня дома тоже никого не было. Она отвернулась и замачала головой из стороны в сторону, чуть не отлетела голова, а по тонкой шее с затылка покатались капли за шиворот. Любой бы пожалел, хоть воротничок, пришитый к стойке платица казался серым и воротил с души. Не люблю я вот такой неслучайной загрязненности, особенно у девчонок, одно дело, когда теранется где-то об стенку или там случайно заляпается грязью в дождь, а другое — вот так, серый воротничок, а то еще лямка от сорочки у тетки вывалится... бр-р! Но уж больно мне Ирку жалко стало, словно мне самому те холодные капли за ворот покатались. Короче, повел я ее к себе домой. “Пойдем, — говорю, — чаем напою, если хочешь”. Она ничего, пошла, только все хлюпала за спиной. А когда вошли, она как-то притихла, смотрю — встала у порога и глаза вроде испуган-

ные, от порога в комнату ближнюю зыркает и с ноги на ногу переступает, вроде еще и меньше стала. “Ты не бойся, — говорю. — Никого дома нет, на работе все. Да хоть бы и были...” Правда, подумал, что мама обязательно бы поморщилась, конечно, чтобы заметно не было, но все же. Хотя и обязательно бы заахала и пожалела, у мамы не всегда и поймешь, что на самом деле думает, а только все равно пожалела бы. Ну, Ирка туфли сняла, колготки все внизу промокли, а тапочки мои надеть не решается. Вовсе мне ее жалко стало. “Дома никого нет?” — снова спросил я. “Есть”, — прошептала. Еле уговорил эти дурацкие тапки надеть и на кухню пройти, вот не думал, что она такая дикая. Но расспрашивать не стал, что там у нее случилось, сама расскажет. Пока я чайник поставил да колбасу с сыром доставал, она так и стояла. “Да садись же. Чай или кофе? Кофе быстрее — растворимый...” “Он пьяный... а кофе, правда, можно?..” — так она сказала, что мне смешно стало. Как будто я незнамо что предлагаю. Это потом я понял, что для нее и сыр-то чудом оказался. Когда она мне про отца с матерью рассказала, что они вместе с отцом могут до рыгальки напиться, и что ее посылают денег у соседей занимать, да еще и дерутся, а могут и вообще без ужина оставить, а комната у них одна... и еще грозятся ее в колонию сдать, если их в школу вызовут еще раз, а ей стыдно в школу ходить, потому что никак не выучить все вовремя и постираться негде — в ванне белье по сто дней замоченное лежит... “Мать оттолкнула, я так стукнулась!..” — опять заревела, тихо так, еще и с испугом на дверь покосилась. Честно, мне ее до жути стало жалко, а потом, когда Ирка в комнаты заглянула, мне даже неловко стало за нашу чертову квартиру и за кофе этот дурацкий с колбасой, которую она ела, будто боялась, что отнимут. И смотрела везде, как будто в музее каком. “Чисто!..” — говорит. Честное слово, мне показалось, что я вроде как и виноват, что у нас чисто, а у мамы на кухне все блестит и стенка эта дурацкая, перед которой Ирка рот открыла. Я здесь и придумал ее в ванную запустить, чтобы согрелась, а то она и после кофе как мерзлая казалась. “А когда твои придут? — спросила, у самой глаза округлились. — И с шампунем можно?” Я от такого дурацкого вопроса чуть не

полфлакона в ванну вылил. И мне уже хотелось, чтобы Ирка побыстрее ушла, уж больно глупо себя чувствуешь перед такой бедностью. Как сирота она. “Я тебе мыла потом с собой дам, ты здесь не стесняйся”, — сказал я ей и ушел в свою комнату. Я и не думал ничего такого, пока она там себе отмокала. Ей же всего тринадцать лет было, посмотрел бы кто на этого воробья замерзшего, тоже небось пожалел бы. “Как у вас кайфово! — Ирка стояла на пороге и оглядывала мою комнату. — Сколько книжек! Ты здесь один живешь? Шиково!” Ох, не люблю я этих словечек дурацких, которые у нас на каждом шагу привыкли вставлять, хоть и сам не удерживаюсь иногда. Все эти “прикинь, в натуре, шиково, балдею”. Мне кажется, что строят из себя черт-те что, когда это через слово лезет: “Иду, прикинь, а они заторчали на углу, прикинь, а я, в натуре, базарю ему, мол, не прикидывайся к малолетке, а то кайф сломаю”... пока дослушаешь, скулы своротит от скуки. Это отец у меня смеялся, у них говорит, на такой случай пословица ходила, когда “без мата слово, что справка без печати”. “Иду, бля-а, смотрю, бля-ха, блеснит, бля-ха! беру, бля-ха! — сопля, бля-ха!” — Бр-р, так он меня и подкузьмил, когда услышал эти “прикинь”, чуть не вытошнило. “Когда из полутора извилин одна прямая, то и в самый раз такой язык годится. И незачем было с дерева спускаться” — это он на обезьянье родство намекал. Но Ирка сказала это “шиково”, и в самом деле понял, что для нее в слово многое вместилось. Потому что сама Ирка теперь по-другому гляделась. Она, видно, до маминой косметики добралась, на полочке под зеркалом лежит большая коробка фирменная, австрийская, кажется, а с собой мама в косметичке другую носит. Ирка глаза подвела, румянец на щеках сделала и губы фиолетовые — как в коктейль-бар нарисовалась. И этот дурацкий несвежий воротничок сняла, шея у нее теперь длинная стала, из коричневой стойки она поднималась прямо, и светлые волосы, еще влажные, легко осыпались по сторонам, а на голове их разделял пробор. Мне это понравилось. Без всяких дурацких челок, как у пуделей. Или на нее так ванна с маминой косметикой подействовала, или кофе с колбасой и сыром, или то, что Ирка еще этот передник дурацкий не надела пока, только теперь у нее

плечи распрямились и в круглых глазах не слезы, а удивленное удовольствие светилось. “Правда, мне идет такая помада? — она встряхнула головой, и я понял, что волосы у нее легкие и пушистые, вот только досохнуть надо. А ноги оставались голенастые и без колготок какие-то щенячье-трогательные, как и руки с обкусанными, по-моему, ногтями. “Там у вас батарея горячая, колготки быстро высохнут, ты не бойся... я уйду сейчас”, — глаза у нее словно блюдца налились, но она сдержалась и тряхнула головой. Видно, вспомнила, что накрашена. Честное слово, ей так здорово было с этими тенями, зеленые у нее глаза, что ли. Только вот губы зря она намазала, рот и так большой. Так я и сказал. И еще посмотрел на время: было только полчетвертого, еще два с лишком часа можно спокойно сидеть. “Правда? — она обрадовалась и несколько раз приложила к губам ладони с тыльной стороны — промакнула вроде. — Так лучше?” Я засмеялся — она на обезьянку смахивала из какого-то мультика, что ли. Но мне понравилось, что сама понимала об уходе, не наглела. Жаль вот, что не мог я ту коробку австрийскую ей отдать, вот бы подружки завидовали, есть же у нее подружки... “Хочешь еще кофе?” — спросил я, не зная, о чем с ней теперь говорить. “А плеер включить можешь?” Тоже мне — “плеер” — это ведь “грюндиг”, а не плеер! Но включил, а сам придумал вдруг: “Ты посиди здесь, я сейчас...” Правда, мне Ирку очень жалко было, и я подумал, что вот она теперь от меня опять на улицу выйдет и замерзнет. Полез в шкаф, вспомнил, что есть у меня свитер, давно я из него вырос, наверняка мама никогда не хватится. Достал. Вполне был свитерок, я его раньше любил, да руки из него теперь чуть не по локоть торчали бы, а так — темно-серый с красными стрелами и под самое горло. Вернулся к Ирке, а она стоит, как стояла, и раскачивается, и глаза закрытые. Уморительно глядеть. “Надень”, — говорю. “Да мне не холодно, — это она сказала, глаз не открывая, потому что я свитером к руке приброесил. Но потом хлопнула все же ресницами. — Классный джемперок...” “Насовсем бери, — говорю, — мне мал”. Честно, это здорово — подарки делать, я в этом момент понял отца: он однажды маме, когда она его за серьги целовала и сразу упрекала, что дорого, сказал: “Я

убежден, что человеку всегда приятнее дарить, чем получать подарки...”, помню, еще закончил со злостью, она у него что-то часто прорываться стала, на него эта политика их дурацкая плохо влияла, мама, я слышал, ему выговаривала — мол, все ты близко принимаешь, ты-то чем, мол, виноватить себя можешь! “Отучили мы людей дарить, от себя, от добра дарить, а не для пользы шкурной”. Чудно, он как будто и вправду себя виноватым числил, когда мама домой все приносила без очереди. А где бы она все взяла, если — по очереди? — это не то, что мне, и козе понятно. А когда Ирка джемпер мой прикинула на себя да к зеркалу сбегала, я понял, как это приятно — подарок сделать. Так она радовалась, аж по ногам мурашки побежали, а пальцами все себя ощипывала, как птица какая по перьям! И про музыку забыла. “Правда, мне? Насовсем можно?” Мне даже надоели эти ее “правда, можно?”, если честно сказать, чего тут такого особенного уж... а потом я подумал, что ей надо будет придумывать дома: “Ты скажи, что в школе, ну, в классе подарили”. “Ага”, — сказала Ирка. Она стояла перед зеркалом. И здесь мне ударило в глаза белорозовым жаром: она повернулась к зеркалу боком и подняла юбочку свою чуть не до пояса: “Синяк будет, видишь...” Во рту у меня высохло и ладони вспотели, сама Ирка с ее глазами, бровями, губами расплылась, но отвести глаз от ее руки, приподнявшей юбку, я не мог. И понял, что Ирка видит все, но так и стоит вполоборота к зеркалу, или это комната в моих глазах качалась. Ирка как-то подплыла ко мне и ткнулась лбом мне в грудь. Ма-аленькая. “Все равно отберет, наверное, — продышала она, от волос ее пахло яблоком, а руки у меня висели как веревочные. — Хочешь потрогать?” Как я хотел, чтобы это была моя сестренка, пусть бы таким котенком вскочила на колени... и я глупо спросил, хотя чувствовал, о чем Ирка спрашивает: “Чего потрогать?” “Где синяк”, — шепнула она.

... — Давай быстрее, — сказал Ростислав. — Пять минут на помывку. Вот полотенце.

Душ был тесный, но я приспособился. Здесь и мыло оказалось, черное — хозяйственное, так что я постирал трусы и платок носовой, так для виду его простирнул, чтобы не одни трусы сушились.

Когда я вышел, мой шеф — а его, наверняка, так теперь и считали — прищурился на мои кроссовки: “Да-а... что-то придумывать тебе придется, парень”. По пути в салон мы заглянули на камбуз. Кок месил тесто и большими кусками плюхал это тесто в черные формы, по ним я понял, что это будет хлеб — точно на буханку рассчитано. Рука у кока по локоть в тесте, а из-под синего берета выбились волосы.

— Сам похозяйствуешь, Дед? Вон на противне булочки, каша в котле, а масло с сахаром в салоне. Поправь мне, будь ласка, пацан, берет... Пойдешь ко мне в помощники? Хлеб научу печь, на берегу пригодится. А что? Хлеб, учти, и мамаша твоя не умеет ставить. Вот удивится.

— Он и картошку в мундире не сварит, — сказал зачем-то Дед. — Мы сейчас к кэпу зайдем...

— Картошку я и поджарить могу, — сказал я и, чтобы не выказать обиду на Ростиславу подначку, подыграл ему. — И яичницу, если яйца будут!

— Да он у тебя умелец, — подхватил кок, а я пытался вспомнить, как его зовут. — А насчет яиц — так мы в крайнем случае — рыбьих нарежем, если своих не вырастили...

Я понял, что здесь мне лучше не лезть с шутками, быстро нарвешься на плюху.

— Ты не очень-то, Паша, — рассмеялся Дед. — Пацан все же.

— Ничего, здесь все мы пацаны, девицам письма писать собрались, чтобы ничего не отвлекало, — ответил кок. — Скажи кэпу, я беру парня в юнги, чего ему без дела околачиваться. Давайте! Вон колбасы еще отхвати ломоть и заправляйся на здоровье.

В салоне за столом сидело человек пять.

— Садись рядом, — он хлопнул ладонью. — Сейчас я тебя знакомить буду. Потихоньку всех и узнаешь. Это Леха — моторист наш, но на механика спокойно тянет, потому и не умывается — чумазый он с ночи, вахта сегодняшняя только началась у него. Петрович — “рыбкин”, рыбмастер то есть, попроси его, он тебе так селедочку замаринует — с рукой проглотить, а если отцу принесешь, да под “пшеничную”! Все, об этом молчу!



Здесь за столом я понял, что мое появление на траулере уже пережили и оно больше никого не волнует. Как будто я всегда здесь был. Как раз зашел и боцман, тот самый, у которого голос мне показался сырым и который нашел меня.

— Привет, находка, — улыбнулся он. И голос у него сейчас был вполне нормальный. Вот руки у него интересные — темные, как копченые, и видно, что в коротких пальцах сила без дураков, вот с такими руками, как я читал, наверное, и гнули подковы.

— Нам парня обмундировать бы, боцман, — сказал ему Ростислав. — А то он как босой здесь, да и из курточки его выдует...

— Придумаем, — успокоил тот и оценивающе оглядел меня. — Тридцать десятый не пойдет? Есть одна пара, не знаю, как попала. Сороковой то бишь!

Я носил тридцать восьмой. Боцман обрадовался.

— Вот видишь, как на заказ! Чулки войлочные сошьем — хоть чечетку пляши.

— Они теперь чечетку не пляшут. У них теперь брэйк. Вроде куклы на веревочке, — тот, кто сказал, сидел сбоку, мне его загораживал Ростислав, но по голосу я понял, что не все так уж счастливы моему появлению. Из-за Дедова локтя я увидел только рыжую бороду и черный блестящий глаз. Не стану же я объяснять, что брэйка не танцую, а вот попробовал бы кто из них — посмотрел бы, надолго хватило бы... Да и давно отошел тот брэйк.

— Ну, пойдем, — потеснил меня Ростислав, вставая. — Вечером киношку налажу, чтобы не скучали. Так сделай там, боцман.

“Московское время десять часов тридцать шесть минут”, — сказали нам вслед по радио. Я посмотрел на Деда, удивляясь, что так поздно, ведь только вроде рассвело. “Привыкай, — пояснил он. — Мы уже часы переставили. На два часа назад. Такая здесь разница: восемь тридцать сейчас”. “Шесть”, — сказал я. Он засмеялся: “Семь уже. И даже тридцать восемь. Пока болтаем, время уходит, так что давай быстрее, мне в машину спуститься надо”. “А мне можно?” “Потом...”

Мы вышли на крыло, и в глаза ударило солнце, но не сверху, с неба, а от воды. Сине-зеленое солнце чуть подня-

лось за кормой над горизонтом, и траулер словно убежал в голубовато-серую дымку впереди. Как все же здорово, что я залез в этот трюм, пусть меня потом хоть совсем выгонят из школы той долбаной. Я глубоко вдохнул в себя воздух, солоноватый даже, совсем не похожий на береговой воздух, и точно решил, что нигде, кроме моря, я никогда работать не буду.

— Нравится? — опять понял Дед и подтолкнул к трапу. — Подожди, вот в шторм посмотрим, как тебе понравится...

— Не везет тебе, — сказал капитан, когда мы поднялись с Ростиславом в рубку. Я, конечно, понял, что это ему не везет, а не мне. — Не везет... ни одного судна в порт. Я сейчас выходил на флагмана. В Норвежском все в пролове, нет рыбы. Побегут к Фарерам, а кто и на Ян-Майнен...

Он взял со столика листок и протянул мне: “От отца привет. Пожалуй, так и сделаем...”

На листке было написано сверху “Радиограмма”. “Порт — СРТ-78 “Быстрый”. Солоникину”. Ага, это у капитана такая фамилия. А траулер, значит, “Быстрый”, такой эсминец, кажется, где-то был, слышал откуда-то, или читал. “Первой возможностью отправить мальчика в порт. Несете личную ответственность. Промысел следовать после исполнения. Брыкин”. Кто такой этот Брыкин, я не знал, но теперь понял, что своим появлением еще и мешаю морякам работать. Что ж, они так и будут где-то ждать встречного судна, чтобы меня отправить, и я не увижу настоящей рыбалки? Дальше шла приписка: “Лично. Капитану Солоникину. Анатолий Яковлевич, поступай собственным обстоятельствам. Последствия возьму на себя. Не высаживай моего недоросля необитаемый остров. Его ждет справедливый суд. Передай, вздернем рее принародно приходе порт. Выдай пока сотню линьков, поставь работу посолонее. Привет. Алексей Смирнов”. Там дальше был еще какой-то постскриптум, но капитан забрал листок. Что-то о забастовке, кажется, но при чем здесь я или мой отец, до меня не дошло.

— Не вовремя ты затеял побег этот, паренек... Петр Алексеевич! У отца и без тебя забот... или тебе до фени? — он отмахнулся от меня и сказал Ростиславу, словно меня здесь не стояло. — Раньше бы его отец волчий билет в зубы получил, вылетел бы из партии за такое воспитание

сына... удобнее не придумаешь. Выдали бы ему самостоятельность порта...

— К Паше его пока определить. Поможет помаленьку. Я в машине, — сказал Ростислав и приобнял меня, притягивая к себе. — Пойдем. На вахту станешь.

— Вот-вот, и насчет линьков подумать надо, — кэп все же улыбнулся и глаза под сведенными бровями не были сердитыми. — Освободишься, зайди ко мне, Слава.

— А кто такой — Брыкин? — все же спросил я. Фамилия заторчала в голове, а я хотел увидеть, как здесь ловят рыбу.

— Это насчет рыбалки? Идет он подальше, твой Брыкин. Там видно будет, — капитан, Анатолий Яковлевич — я теперь запомнил, открыл дверь в рубку, я увидел плечо и отставленную ногу в резиновом сапоге — рулевого матроса. И услышал музыку. Моден Токин, древняя запись, лет сто ей. Через стекло мне увиделся нос траулера с надстройкой и дверью, а перед носом светился зелено-белый бурун и мягкие волны быстро отставали, расходясь по сторонам. Мне показалось, что и палуба под ногами весело подрагивала, радуясь этому движению по солнечной воде. Не верилось, что на улице февраль. Палуба была сухая и светлая, мы вышли из рубки, и я посмотрел на свои кроссовки — вполне! Вода за бортом здесь казалась совсем близкой.

— Мать, наверное, переживает, — сказал Дед. — И в школе переполох устроил. А чего? Ну, пойдем быстрее в машину, там поговорим, да к коку.

Все они переживают, как же... ну, мама, понятно. Вот кто переживает, так это Мордвин — сбежала монета. Им всем здесь хорошо правильные слова говорить, опять воспитывать примутся. Очень мне нужно с ним в его машину спускаться, слушать там. Расхотел я с Дедом идти. “Я сразу в камбуз”, — сказал я, лучше картошку чистить молча или что там еще делают.

— На камбуз, — поправил он.

— На камбуз, — поправился я, пусть их.

Ростислав вдруг рассмеялся, а чего веселиться? “Не дрейфь, все будет лады”, — и ушел. Шуточки какие-то детские, как будто мне семь лет: “линьки”, “цепной ящик”, как у приговишек. Они все думают, что нам жизнь устра-

ивают и своей жизнью ради нас жертвуют: все, мол, для детей. Как будто мы заранее виноваты, что появились. Я как-то слышал, даже Иркина мать кричала: “Все для вас делаешь!..” Вот и сбежал я, оказывается, не вовремя, капитан упрекнул. Еще и выбирать надо было, когда им удобно. Вернусь, так мама свою вину искать станет, или отцову — чего не додали, чего не хватает, а потом за эту вину на меня же и злиться: — у отца и без тебя забот по горло... Заботы их! “Отправить мальчика в порт”, — написал в радиogramме тот Брыкин, наверняка, начальник их какой-нибудь. Мальчики, девочки... как будто мы не понимаем, что им собственное их отражение в нас подавай, да еще такое, чтобы исполнилось то, чего они сами не смогли сделать или что в них не случилось. Конечно же — оттого, что жизнь на нас положили, а мы все такие эгоисты, как самим не надоест этот заигранный пласт. Что дома, что в школе, что по “ящику”, а сами торопятся выговорить все поскорее, да и бежать по своим делишкам. Хоть надорвись потом рядом в крике — они свое отговорили, “отдали долг”, как тот врач, который и не видит тебя, а лекарства наперед знает — “бисептол, сульфадиметоксин, фурацелин и капли в нос” — и не кашляет, здоров. И барахтаются в своих достижениях да тоске серой — “вот ра-аньше”. Сплошное вранье себе придумали и злы друг на друга, потому что знают о вранье и плывут в нем, отталкивая друг друга и нами же оправдываясь: “пусть хоть дети наши будут жить по-человечески”? Как это? В пробирках нас надо было выводить, а то сами всю капусту съели и аистов перебили. Как в том фильме — мы с мамой как-то на просмотр попали, потом режиссер выступал — природу, мол, губят безоглядно, а мы часть природы и надо бороться, ну, и все такое: а кино вправду интересное — там волчонок остается один, голодный и растерянный, а потом и он погибает под выстрелом, честное слово, жалко; девочка вышла, по бумажке хвалить стала и правильно о родной земле говорить, наверняка классная написала, а потом от себя похвалила: “Здорово вы сняли чучело волчонка, которого убивают, прямо настоящий!” — тот режиссер или кто он там еще даже обиделся: “Это не чучело, девочка, мы настоящую натуру взяли”. У них, мол, без обмана! Девочка

сперва не поняла, а потом дошло — так она чуть не померла в рыданиях, так ей жалко настоящего волчонка, убитого этим, который любить природу учит. Да ну их всех.

Я пошел на камбуз к Паше. Кок мне без разговоров — нож в зубы и картошку в руки. Я быстро приноровился, хотя за коком, конечно, не успевал и толсто сперва обрехал, как дома.

## 7. Про Музыканта

Ростиславу я, конечно, все рассказал. Чтобы он не думал, будто я из одной блажи сбежал из дому. Хотя, если честно, он мне потом выговорил за этот страх: мол, лучше бы как раз было, если бы мальчишки не со страху от жизни бегали, а наоборот — приключения искать и новые земли открывать. А то что же, мол, мы за жизнь такую устроили, где человеку уже с детства не об Испании снится, или о джунглях, или там о тайге, а как без приключений вечером по темной улице пройти. Он чудак, Ростислав, но ему хорошо рассуждать, когда он кулаком, наверное, быка убить может, у него и кулак-то вон с бычьей голову! Ну, чуть поменьше, зато я видел, как он бочку с солидолом вертел, ого, я ее и с места сдвинуть не мог. Но я не потому о Леньке-Мордвине рассказал и “счетчике” на меня; чем Дед мог помочь, когда меня в любой день пересадят на берег, а у них три месяца рейс... Вот бы заторчали они в море без оказии, чтобы некуда меня пересадить, или в какой-нибудь порт зашли на неожиданный ремонт, я бы пригодился с английским языком, а что... но это все зряшные мысли, дошколятские какие-то, я ведь понимаю, да и на ремонт — это значит я аварии хочу, что ли... глупости все, конечно.

Рассказал-то я Деду потом, когда он мне сперва о боцмане историю выдал. Это мы уже из Эресунда вышли в другой пролив, в Каттегат. Эресунд — я уже здесь узнал, что так называется, всегда учили по географии Зунд, а оказывается Эресунд вовсе. По-датски или по шведски? Ростислав тоже не знал. Но так красивее. О боцмане, почему-то его “музыкантом” называли иногда, Дед мне рассказал, когда я постригся. Наголо постригся, пусть.

Это мы Хельсингборг проходили. Нет, ближе к Хельсингёру — это на датском берегу, здесь залив сужается настолько, что оба берега видно, а между Данией и Швецией ходит паром, я видел его, только далеко все же — в солнце он казался просто движущимся черным островом, Дед сказал, что в него целый поезд заходит, а когда пристанет к берегу, поезд с пассажирами идет себе дальше. Они, мол, на работу из одной страны в другую себе ездят, или там на уикенд к родственникам. Здорово! “И их так вот просто пускают?” — спросил я. “У них такого вопроса нет — пускать-не-пускать, можно-нельзя, живут так”, — не совсем понятно засмеялся Ростислав, но и задумался. Я знаю наверняка, о чем: почему это взрослый человек, самостоятельный человек должен у кого-то спрашивать, куда ему по земле ехать, если ему так захотелось и деньги есть?

Ладно, что на “детские” вопросы отвечать трудно, я и без них знаю. Уж такая сложная задача, прямо жуть! Это вроде как они все спорят насчет земли: “отдать — не отдать” крестьянину, я по телику смотрел, чуть не до драки, а сами в учебниках пишут, второй, мол, декрет был “О земле”, потому и революцию выиграла. Лозунг ведь был: “Земля крестьянам!” Да так с тех пор и не отдали, теперь опять спорят: зачем, мол, колхознику собственная земля. Хотя козе понятно, раз родился на этой планете, так должен же у человека хоть какой-то участок быть, чтобы прокормиться и детенышей вывести, вон даже у зверей, я читал у Моуэта про волков, и то каждый свою территорию знает. Но тогда что будет делать тот же отец Леньки-Мордвина, почему его черная “Волга” должна возить, если каждый просто свое дело станет делать? Ему же первому удобно, чтобы на всех всего не хватало: он тогда учить будет и сам всем раздавать, чего не сделал. Вот тебе и власть, а то как бы он человеку приказал, что ему на своей земле выращивать. Ответили бы: “Что, мол, сейчас спрашивают, то и посажу, и не лезь ко мне с советами, а лучше привези джинсу или там трактор с письменный стол, — я такой по телику видел, итальянский, что ли, — я тебе редиску в январе дам или пруд вырою и рыбу разведу”, — как у немцев было, вон до сих пор сазанов в затененных прудах ловят. Хитрости-то!..

Это мы тоже с Ростиславом говорили, он еще хохотал: “Устами младенца глаголет истина”. Так уж много ума надо, чтобы понять: до лампочки мне та картошка, если я и без нее проживу, а убирать все равно кого-нибудь привезут, которым тоже эту картошку вроде не есть и задарма не жалко через одну собрать — хоть и гниет пусть. “Не так просто”, — сказал Ростислав. А чего проще — отнять да и сказать, что — мое, если сила есть. Потом кто-то еще сильнее отнимет, и так уж — пока отнимать нечего станет!..

Было часов двенадцать дня, когда этот самый Хельсингёр проходили. Солнце! Прямо весна какая. И настроение у всех наших на траулере было соответствующее. Море — хоть пролив и не совсем море, наверное, — вода была спокойная и какая-то чистая, зеленью своей веселая, а яхт и лодок плавало прямо на удивление, потому что суббота на календаре? И берег виден ясно, прямо по берегу шоссе лежит и по нему машины разные несутся куда-то. “Посмотри”, — дал мне боцман бинокль, но я опять удивился его рукам, только сейчас разглядел их поближе: темные и в белых шрамах, а видно, какие ловкие руки, да я уже и так понял, что наш боцман все умеет. Он мне не только бахилы войлочные сшил, но и уже свитер заканчивал вязать, еще и смеялся моему удивлению: “Да ведь вязание еще с древности мужской работой было, вон шведский король и сейчас должен уметь! А я все же боцман, на второй десяток перевалило, как в море хожу — сети плести та же сноровка нужна. И нервы отдыхают”. Ну, насчет шведского короля это он загнул, конечно, но что сам ловко со спицами управляется — это я увидел, да быстро так и не глядя, кажется! Еще он там со шпилем и брашпилем возился, с лебедками — все, короче, умеет. А в бинокль мне хоть берег поближе посмотреть досталось, боцман-то, верняк, тысячу раз здесь ходил, видел все.

— И люди нормальные! — как-то удивленно сказал я сам себе, я сейчас понял, что это и в самом деле “заграница”, я и машины на дороге видел, как в кино, и все показалось мне почему-то игрушечным, ненастоящим: красные крыши домов, темные деревья и дорога казались мне неслучайно чистенькими, и паруса, белым крашенные лодки с четкими номерами или названиями, и сами люди в них, отчего-

то машущие нам так, что и мне захотелось подпрыгнуть и замахать рукой. Может, они просто хорошему дню радуются, а мне с какого перепугу веселиться. Но ведь я и вправду за границей, может, мне никогда больше и не придется даже вот так — просто увидеть рядом чужой берег, не наш вовсе. Я подпрыгнул и заорал: — Вот! Ур-ра! Люди там!

— А ты что, думал, они здесь с двумя головами должны быть, — боцман засмеялся. — Ничего, парень, всем так в первый раз...

Я оглянулся. Кажется, чуть не все наши собрались на палубе, кто-то на баке, капитан с Дедом на мостике стояли и Ростислав помахал мне, все, мол, в норме.

— Вон туда смотри, — боцман протянул руку с беловатыми червячками шрамов вперед, дальше и левее носа траулера. — Вон туда, дорога вроде как на холм поднимается. Гамлета знаешь? Вот там замок того Гамлета и есть, говорят.

Честное слово, он о принце Датском говорил, как о соседе в подъезде, но еще больше мне понравилось, когда боцман почти под нос себе пробормотал: “Ту би о нот ту би...” Вот здорово! — “Вот в чем вопрос. Достоин ли души терпеть удары и щелчки обидчицы-судьбы иль лучше встретить с оружием море бед... энд бай оппосин энд дэм? Ту дай: ту слип; ноу мор, энд, бай э слип ту сэй уви энд... сердечных мук и тысячи лишений...” — я продолжил и не удержался, чтобы не выпендриться, нас Людмила заставила выучить монолог по-английски и в переводе, вот меня и зудило хоть немного удивить боцмана. Но он ничего, так запросто произнес: “Ишь ты, ловко!” — что я застыдился продолжать. Но замка я не увидел, конечно, так — сгусток зданий, над которыми то ли гора темнела, то ли еще что. Я только понял, что боцман добряк и даже не подумал, будто я хотел его обидеть своим выпендрёжем английским. Короче, если честно, так это я себя фэйсом об тэйбл смазал... Хорошо, что Деда рядом не было.

Вот после этого я вернул боцману бинокль и пошел на бак. Там тоже юмор оказался: один матрос зачем-то стриг другого, как будто они сейчас на берег выходить собираются. Не так уж далеко проплывали яхты с улыбающимися мужчинами и женщинами, правда-правда, там и женщи-



ны были, а в лодках даже и дети — в бинокль заметил; катер прошел, кажется, военный, с него нам тоже помахали. А эти двое занимались прической: один сидел на табуретке (банке!) голый по пояс и с застывшей шеей глядел на проплывающий мимо чужой берег, а другой машинкой подбивал ему затылок и виски. И рассказывал анекдот про лорда и садовника, но сразу оборвал, как я подошел. Так я и не узнал, почему второй лорд сказал, что “кажется, жена мне изменяет с водопроводчиком”. Гаечный ключ, что ли нашел, как первый — розы?..

— Правда, нормально постриг? — отошел в сторону парикмахер и посмотрел на меня. — Нравится, братишка? Погодка на заказ сделана! Хочешь, подкорочу — в момент, фирма веников не вяжет!

Он засмеялся и ткнул “клиента” в бок, — “Свободен”. И здесь мне вдруг до зуда захотелось... честно, я даже не знаю, как это сказать — ну, измениться, что ли, как новую шкуру надеть, вот в этот момент, если бы меня спросили, что со мной, или предложили бы пластическую операцию — я согласился бы... почему-то мне до щекотки и какого-то холодка в груди захотелось в момент измениться, чтобы я стал совсем другой, и никто меня не узнавал бы, когда вернусь в порт и в школу. Ну, в школу-то я не пойду...

— А наголо меня можно? — спросил я. И сел на освободившееся место.

— Ты это всерьез? — матрос отступил и посмотрел на товарища. — Кончай дурить, малый! Чуть укоротить — зарос...

— Ну, пожалуйста, мне... надо! А то иначе в цепной ящик не влезу! — я растянул рот до ушей, чтобы убедить.

— Как знаешь. Смотри! Сам перед Дедом ответишь!

Он зашел спереди и, будто решившись, придержал меня пятерней за затылок, а ото лба застрекотал к макушке машинкой. “Так меня в армии на губе перед самым дембелем обчекрыжили”, — засмеялся он как-то виновато.

— Он сам себе пан, — подвел спокойно тот матрос, что освободил мне место, и подошел к борту. — Ходко бежим, так через сутки в Северном будем. Скорей бы, надоело. Опухнешь от безделья... А ты молодец, парень. Только теперь в порту на каждом отходе кипиш будет с провожающими...

Какие они здесь все-таки спокойные. Я понял, что они всерьез считают, что, мол, это было мое дело — решиться уйти в море, и вовсе не от равнодушия не расспрашивают, а попросту и сами привыкли отвечать за себя и другим не мешать...

— Теперь хорошо Зунд проходить, не пасут больше, — сказал мне парикмахер. — Видишь, все на палубе.

— Как “не пасут”? — я спросил, чтобы не молчать, и не ждал, какой ответ будет.

— Очень просто. Слышь, Рома, я говорю, теперь как на прогулочном катере идем. А раньше — все по кубрикам, боцман на носу дежурил, бригадир или там “рыбкин” — в корме, да вахтенный штурман по крылу бегаёт, чтобы кто не прыгнул за борт.

— А кто-то решался? — здесь вовсе не трудно было себе это представить, вон сколько лодок, катеров.

— Бывало. Может, кому и удавалось. А кто — раков шел кормить, очень просто. Пройдет тралец над тобой, витамини перемелет, и — будь здоров. Такой, брат, приказ был таинственный, о котором, правда, все знали. Иначе кэпу карьера — кранты!..

— Ты кончай пацану ужасы рассказывать, ему-то к чему.

— Пацаны вырастают, дружище Роман, и потом исполняют или нет приказы всякого сумасшедшего начальства, для которого мы — тьфу.

Голове моей стало холодно. “Ну, вот и колобок испекли. Вполне круглая голова! Не грусти, брат, по волосам, грусти по голове”, — моряк обмел меня полотенцем.

— В зеркало потом поглядишься, а сейчас — подметем, иначе боцман закипит. Гуляй. Как тебя звать? Вот, Петро. А меня — Николай, считай, крестный твой. И голову береги, не суй без разбору, куда не след!

Я пошел по правому борту, грустно стало. Снова впереди темным островом плыл поперек нашего хода паром. Мне даже показалось, что слышу с той стороны музыку. На мою макушку легла рука. Дед, конечно: “Сам надумал? Помоешь посуду после обеда, приходи в каюту”.

— У боцмана руки, — вдруг вспомнил я и понял, что они мне почему-то все время не дают покоя, еще с тех

самых пор, как увидел за столом, и потом со спицами, и сегодня. — Шрамы, что ли? Не знаешь?

— Это целая история. Вот заодно и расскажу, как боцман наш музыкантом стал.

Когда я пришел в каюту, Ростислав лежал на койке и держал на груди приемник. Он чуть пошевелил рукой — ложись, мол, тоже.

Но мой плот,  
Сбитый из песен и слов,  
Всем моим бедам назло,  
Вовсе не так уж плох...

— Берега уже опять не видно, — сказал я негромко.

— Грустишь? Это всегда так. Вот вернешься домой, по морю затоскуешь — тогда судьба тебе в моряки, — он выключил приемник и положил его плоско на грудь, придавил обеими лапами. — Для того и существует маяк, — он похлопал ладонью по приемнику. — И этот тоже. Провожает и встречает, и грустит с тобой лучше невесты. Или там жены. У тебя, небось, уже есть девчонка?

— А у тебя, небось, нет, — в тон ему ответил я. Мне нравилось этому большому моряку, хоть он и механик, говорить “ты”, он сам так предложил вчера утром, и это оказалось с ним легко. — Нет... девчонки, а, Дед?

— В настоящий текущий момент ты прав. Но несмотря на это, мне тоже загрустит по земле, только попозже. Ведь сказано:

Нерасторжимо связаны между собой и тень, и свет...

От дел своих ты не уйдешь: они погонятся вослед.

Я знал, откуда Ростислав берет эти стихи, как сказки. Он мне подсовывал эту книжку — “Панчатантра”. Как сказки, только это индийские. Он и подsunул ее со смыслом, как “наставник”, но я все же читал, чтобы не скучно было, когда один. Мне сразу попался рассказ, точь-в-точь как сказка “Лягушка-путешественница”. Только здесь была черепаха и двое ее друзей, гуси. Рассказ вот для чего написан: “Совета преданных друзей не слушая, погибнешь ты. Как черепаха, что гусей предупрежденья не учла!” Прямо наизусть легко учится, а написана сто тысяч лет назад. Иногда так и кажется, что раньше люди

умнее были! — “И вот настала двенадцатилетняя засуха. Тогда оба гуся подумали: “Иссякла вода в этом пруду. Пойдем к другому. Но сначала простимся с нашим дорогим другом”. Пришли к черепахе, а она сказала: — Почему вы прощаетесь со мной?.. Если вы хоть сколько любите меня, то должны вырвать меня из пасти смерти. Тогда они сказали: — Как нам взять тебя, если ты живешь в воде и лишена крыльев? Черепаха ответила: — Принесите палку... Возьмите в клювы концы этой палки, поднимитесь вверх и летите рядом, а я буду держаться зубами. Но они возразили: — Это опасно. Стоит тебе хоть слово вымолвить, как ты упадешь и разобьешься вдребезги. Черепаха сказала: — Я даю обет молчать... И вот, когда они летели над соседним городом, их увидели люди и подняли тревожный крик: — Что это похоже на повозку несут по воздуху две птицы? И, услышав крики, черепаха неосторожно проговорила: — О чем болтают эти люди? И тут, глупая, выпустила изо рта палку и упала на землю. А люди, жаждавшие мяса, тут же разрезали ее на куски острыми ножами”. Когда я сказал, что это похоже на нашу сказку, Ростислав ответил: “Мы же индо-европейцы по языку, а с языком и легенды пришли. А люди не очень-то меняются, верно?” Вот уж точно!

✱ Пока я это все обдумывал, он сел и рассказал мне про боцмана.

— Жаль, ты в этот раз не попадешь на Фареры. Красивые острова, я тебе потом покажу на карте. Бухты там — как в сонном царстве, холмы зеленые чуть не круглый год — Гольфстрим. Там датчане овец разводят, каждая — чуть не с нашего теленка, верно! Но дело не в этом. Мы с Сашей четвертый год на этом тральце, а полтора — постой, скоро два уже года! — у него пальцы тросом на шпиль зажевало. Как уж он умудрился, видно пытался как-то второй рукой освободить вместо того, чтобы орать, а только и вторая ладонь туда же пошла. Чуть самого не задавило: вело с барбаном, да увидел, наконец, бригадир — нажал “стоп”. Я и сейчас как вспомню его лицо, мороз пробирает. Короче, в открытый эфир вышли — хирурга искали, откликнулись из Торсхавна, вот на этих Фарерах. Полным ходом — туда, все снотворные и анальгины, что были, Сашке скормили,

только ему даже спирт не очень помогал. Часов семь лете-ли, я из двигунов все выдавил, что мог. На берег с ним второй штурман сошел, там уже машина ждала, а в боль-нице тоже все готово было. Ну, хирург там датчанин, но они все английский и немецкий знают, а наше невежество дурное и самоуверенное — никто даже из штурманов по английски не шпрехает, бак-компас-ватерпас да “ай лав ю” — вся их школьно-училищная премудрость. Мы же в мире “самые-самые” — вот пусть “они” и учат, ну, это я к слову. Сашка говорит: “Скажи ему, чтобы руки не резал, куда я без них... хоть, мол, по паре пальцев пусть сохра-нит”. Персонал там суетится, готовит боцмана, а второй штурман доктора-то отозвал и на пальцах втолковывает, какой Сашка у нас мастер на все руки, хоть ласкать хоть вышивать. Как уж штурман там объяснял, какие фокусы своими руками и губами там выделывал, а только датча-нин тот проникся, головой качает: “Мьюзик... йес-яволь, экстра-класс, ферштейн” — в общем, в этом роде. Потом-то мы поняли, что он Сашку со штурманской подачи за музыканта, пианиста понял. И расстарался, может быть, сам себя превзошел. Сколько уж он часов там химичил с боцманскими руками, Сашка говорил, что дважды ему еще обезболивали, а он только цоканье над собой слышал того хирурга, да что-то сестры лепетали. Говорил, шельма, и дольше бы согласился, поскольку одна все его по щекам да по лбу оглаживала и потом в палату прибежала — кор-мить. Ну, это к слову. Сложил ему, в общем, доктор кисти по кусочкам-осколкам, законсервировал как надо, месяц почти боцман вылеживался. В отдельной, хвастался, палате и еще с телефоном. На кой ему там телефон, если денег ни кроны, нам ведь вообще не дают, рыбакам захода не поло-жено, а так можно было бы куда хочешь позвонить. Он стес-нялся. Забрали мы его, надо было домой идти. Хирург ему там показывал, как потом кисти разрабатывать, и вообще не хотел отпускать. Ну, это ладно. Вот и не зря говорится: “Нерасторжимо связаны между собою тень и свет” — через год попали мы опять на Фареры, Сашка упросил кэпа, пока пресной водой заправлялись, отпустить его, позво-нить. И что думаешь — примчался тот хирург. Сашкины пальцы смотреть. Ты сам видел, как он ими орудует. Докто-

ру своему такую кольчугу связал — закачаешься, а на севере это умеют ценить, уж у датчан да исландцев свои свитера по миру славны, а боцман себя переплюнул, по-моему, из импортного журнала слизал, кстати. Доктор его к себе свозил на пару часов, выпили они, конечно, а потом Сашкин спаситель своих фру с фрёкен собрал, усадил чинно, а перед боцманом — пианино открыл... Вот. Сашка рассказывал, стыдоба была, в жизни так не хотел никогда сквозь пол провалиться! А объяснять-то надо на пальцах опять же! Но он, видно, с руками, хоть и оперированными, лучше штурмана управлялся, да и свитерок объяснить помог. Хохотали, рассказывал, до потери пульса. Оттуда он и стал “музыкант”, а руки вот остались почему-то темными, может, пигментация так под нервами сработала. Зато пальцы целы, и сухожилия — как уж тот врач умудрился, его секрет. Гипноз “знаменитого музыканта” сработал? Вот и не знаешь: где найдешь, где потеряешь — а если бы штурман язык знал, может, все по-другому повернулось!..

Ростислав замолчал, а потом замурлыкал свое любимое:

**Им не дано понять,  
Что вдруг со мною стало,  
Что в путь меня позвало...**

Здесь я и рассказал о Мордвине, о магазине с неудачной попыткой увести костюм. И еще признался, как струсил паршиво в первый раз, когда Мордвин с компанией пацана истоптали, а я рядом был и не полез. Мерзко было, а отошел, сконил. Так что Ленька верняком ко мне со счетчиком прикинулся. Вот не умею защищаться... а значит ведь — и защищать. Не от страха даже, не боли боюсь, а унижения, и больше того — когда унижаешь другого, не поднимается рука. И всякие эти каратэ для меня бессмысленны, сам понимаю, что — как урод какой... потому и отцу не сказал, он бы вряд ли понял... вот и сбежал.

— Ну, ну, — сказал поначалу Дед. И всего-то, слава богу.

Хотя наверняка подумал, что слабак. Ему хорошо, он просто лапой своей схватит ненароком — и мало не покажется.

— Ну и правильно сделал, что постригся, — сказал он потом зачем-то, но я понял, что он донимать меня успокоениями не станет. — Ладно. Пойдем со мной в машину. А то, глядишь, к морю поближе шторм прихватит. Февраль все же.

## 8. " " А мы и здесь поймаем... "

Когда кончается пролив и начинается Северное море, наверное, только вахтенный штурман может определить. В Скагерраке уже гуляла волна, не очень большая, но шли все же медленнее и траулер переваливался с носа на корму, а палуба была мокрая. "Балла два, — сказал Дед. — Привыкаешь? Вот в сапогах и ходи". Я вечером забрался на верхний мостик, вокруг было серо, а волны катились длинные, тоже серые, и только на гребне закипали белыми бурунами. Я немного покачался с судном, но ветер теперь дул сырой, и мне стало скучно.

После ужина третий механик крутил киношку, аппарат стрекотал рядом и не всегда было слышно, что там говорят. Но особо много и не говорили. Назывался фильм "Перелет воробьев", и мне сразу стало тоскливо и тревожно за героя, хотя он, вроде, и не вызывал симпатии — заросший, в поношенной куртке, явно брел без цели и в поезд сел — так, чтобы не торчать на месте. И когда он достал взъерошенного воробья, стало понятно, что ему и вправду некуда ехать. Куда-то на стройку, что ли, он собрался, куда-то в Россию, хотя он грузин. И фильм грузинский. Потом этот заросший мужик со своим воробьем бродит по вагону и усаживается в отсеке напротив артиста. И здесь еще грустнее, хотя артист и одет прилично, и смотрится что надо — высокий, красивый, а чувствуется в нем что-то... несчастное что ли, не знаю уж, как это определить, а только понимаешь, что ничего хорошего от их сидения друг против друга не будет, обязательно что-то произойдет. Артист рассказывает о своих гастролях и успехе по всему миру, показывает почтительным пассажирам, набитым в купе со своими сумками и баулами, фотографии и вырезки из газет, даже пробует спеть, ведь он знаменитый оперный певец. И все косится на воробья, которого ему показывает тот мут-

ный мужик. Чего тот задирает артиста, я понять не мог. Да так и не понял, честно, до конца. Пусть он и не артист оказался, пусть придумал себе сказку про себя для людей и своего удовольствия; а сам — почти такой же одинокий бродяга, чем он мешал тому, с воробьем?., вышли они вместе и стали драться. Жутко и молча, страшно дрались, так и казалось, что они не могут на одной планете быть рядом. И земля казалась чужой, пустырь какой-то, ни одного строения, одни столбы под проводами. И этот воробей, никуда не улетающий, смотрит коричневым глазом на бойню. Уже почти ползают эти враги, но все навстречу друг другу. И вот здесь раскрывается кейс того артиста. Летят фотографии, картинки из журналов что ли, и еще там чистая рубашка и мастерок с малярной кистью. Вот и вся мировая слава. Потом они оба тушат землей или навозом случайно остановившуюся машину, у которой загорелся мотор, сами грязные, окровавленные, и, кажется, понимают, как все это бессмысленно. И едут, уже вместе, на попутном грузовике. Куда попутном? “Все мы как бездомные, — сказал я тихонько. — Почему так, Дед?” “Потом поговорим”, — он кивнул головой.

Здесь кто-то крикнул, что мы уже в Северном море, но на него зашикали.

Если честно, я уже устал и мне хотелось, чтобы быстрее попало какое-нибудь судно в порт. Нет, не от работы на камбузе устал, да и Паша не очень меня загружал, даже посуду всегда вместе мыли. Как-то тоскливо в груди было. А может это наоборот — от постоянного ожидания, что вот в любой момент тебе крикнут: мол, собирай вещички. И собирать нечего, зубную щетку с пастой и то штурман дал, у него в “лавочке” были. Понятно же, что я для них здесь — как собачка приبلудная, так от той больше удовольствия, чем от недоросля, как меня отец в радиограмме назвал. И правильно. Собачку хоть за ухом почесать можно.

Мне казалось, что прошла целая вечность, а не какая-то неделя. И все, что было на берегу, вспоминалось в какой-то зыби, как не со мной. Да и видел я в зеркале совсем другого парнишку, остриженного и с оттопыренными, розовыми на просвет ушами, правда, может, и глаза осмысленнее стали, наверное тоска добавляет человеку чего-



то... ну, не сказать — ума, а понимания, что ты совсем крошечная букашка в этом мире, даже будь хоть такой машиной, как Ростислав. Мы как-то с ним о часах говорили, он мне все разницу поясню втолковывал. А потом вдруг: “Поменялся бы с тобой возрастом, — говорит. — Ты вот представь только: придет очередной новый год, а это — третье тысячелетие, двадцать первый век!” “Как будто ты его не встретишь, Дед? А что тогда изменится?” Ты, мол, будешь совсем молодым, еще только армию отслужишь или там институт. Он не поймет, наверное, что нужен мне их институт с армией, хоть служить-то все равно придется. И ничем то тысячелетие отличаться не будет — как воевали друг с другом, так и будут воевать, обязательно найдется один сосед, который другому позавидует, особенно у нас. Вот почему в море совсем другие люди подбираются?

Еще я подумал, что книжка, которую всё Ростислав читает, “Панчатантра” до нашей эры появилась, а вот почему-то из всех животных получается самым злым и неблагодарным — человек: “Мне обезьяна, тигр и змей совет давали — я не внял! Я заподозрил зло... Но злей перехитрил меня злодей”.

Я понимаю, что надо измениться самому и тогда изменится весь мир — это я, наверняка, где-то вычитал или услышал. Но в том-то и дело, что человеку почти невозможно измениться, хоть десятью десять раз он постригись! И этот Мордвин со своей лисьей прыщавой мордой тоже войдет в “третье тысячелетие”, это как? А вот мама состарится, а отец может и не дожить — он опять какую-то “правду” принялся искать. Но я понимаю и то, что без этого его мама и не любила бы, и он живет свою жизнь, у нас с ним и бега-то разные: он на фронт бежал, я же — от страха, чего уж там, если честно в зеркало смотреть... А вот интересно, жил я прежде когда-нибудь? Если правда, что несколько рождений переживаешь? Но сколько я ни старался вспомнить себя другим, не получалось...

Когда я думал об этом на верхнем мостике, а вокруг одна серая вода и вода, и небо такое же до самого горизонта, то мне стало так ясно, какой человек маленькая букашка. Вот поднимаются волны побольше... А как было бы просто: нет и все.

Здесь вышел на крыло штурман и позвал меня.

Капитан говорил, когда я вошел, и я уловил конец разговора:

— В пролове флот... Весь дует на север. А нам еще три дня здесь ждать — оказия, наконец, идет. Попробуем тут и выметать сети. Хоть для тренировки, что ли... И эхолот ничего не пишет!

Мне было плохо, худо, если честно, и скучно. Хоть Дед и успокаивал, что, мол, тоска моя от замкнутого пространства, что и взрослые не все к однообразию морскому сразу привыкают, но я-то знаю, что у меня не от этого. И качку я спокойно перенесу, это я уже чувствовал. А вот постоянно быть лишним да виноватым себя ощущать... Я понял, что это обо мне говорил сейчас кэп. Дня через три, значит...

— А мы и здесь поймаем, — сказал я, набычившись. Правда, зло брало, хотя они в море пошли и в самом деле — не меня катать.

Но кэп совсем неожиданно засмеялся, а за ним и штурман. И рулевой обернулся: тот же, что в самом начале на руле стоял, как дед Мазай. Теперь-то я знал, что зовут его тоже Александр, Саша, как боцмана, и к нему часто на вахте приставал кто-нибудь из штурманов: “Ты бы хоть постриг швабру свою, а то чайки шарахаются!” На что матрос обязательно отвечал подробно, как впервые: “Обет дал — как первая большая рыба, так вовсе сбрываю. Нельзя водяного обижать!” Откуда здесь водяной — в море? Вот рулевой тоже засмеялся, но он смешливый, от пальца, кажется, расхохотаться сможет.

— А ты в лотерею выигрывал? — спросил капитан зачем-то.

— Не-ет...

— Ну, тогда — готовь, Александр, свою бороду. Петр Алексеич Второй нам рыбу дарит, — он подошел к эхолоту, потарабанил по нему. — На уху дарит! И то дело...

Что же мне на него обижаться. Все ведь в этом самом “замкнутом пространстве” одной работы и ждут, отоспались на весь рейс вперед, вот механикам полегче — на вахте хотя бы работа есть.

— Для того и позвал тебя, — сказал еще капитан, хоть я уже понял. — Если все нормально с погодой, дня через

три в порт пойдешь. А кок тобой доволен, это хорошо — я отцу скажу, да он остыл уже наверняка. С пирогами встретят... Ну, свободен, отдыхай.

С пирогами... вот у Паши запарка: он тесто сдобное ставит. Здесь весть сразу разносится: только кэп подумал о выметке, а я до камбуза дошел, кок уже дрожжи с сахаром теплой водой заливает, чтобы быстрее тесто подошло. Зачем?

— Знаю, что на пустырь вымечем, — ответил мне Паша. — А всё традицию не нарушим — с первой сеткой пирог Хозяину пошлем, Нептуну, значит. Глядишь, нам на уху, или на жуки хоть, пошлет селедочки, тьфу-тьфу!..

Я услышал, как прозвенел телеграф, обороты в машине прибавились, и траулер задрожал, как будто напрягся всем корпусом.

— Вперед побежали, — определил кок. — В поиск.

Сети выметали почти ночью. Я не ложился спать. Вместе с Ростиславом. Да и все ходили как-то по-новому, бодрее, что ли, такое веселое ожидание, хоть и говорили друг другу, что ждать нечего, что пустырь утром хлебать придется.

Зато я посмотрел, как это сети ставят.

На небе светили звезды, но луны не было. И траулер еще нёсся куда-то вперед, хотя на палубе стояли все по своим местам, а боцман на баке перекладывал кольца “вожака” — толстенный канат, чистенький, новый. К нему крепятся сети, а еще вяжутся поводцы с буюми, которые здесь же надувают компрессором. Меня с коком пропустили к боцману: “Пусть парнишка привяжет пирог, — разрешил кэп. — Только сразу — на левый борт и в рубку. Чтоб, не приведи бог, не попал в поводец!”

Ждешь, ждешь, а вдруг — внезапно: “Стоп машина!” И тишина, плеск волн слышно и дыхание кока Павла: “Привязывай!” Пирог румяный, как дракон с глазами, большой — двумя руками держишь.

— На носу! Слушай!.. Сети — за борт! — а траулер все плывет по инерции в тишине. Чуть подработает двигатель и опять “стоп”, чтобы сети в корме на винт не намотались.

Мы с коком бегом забрались на крыло, здесь уже облокотился на леера Ростислав. Проектор освещал палубу,

другой бил лучом по воде, и темная бездна тоже светилась в ответ какими-то бело-фиолетовыми искорками, часто разлитыми по воде от борта до темной стены беспросветной ночи. Капитан прямо даже свесился с крыла и смотрел вперед, где нос траулера описывал большую плавную дугу. Вот кэп прозвонил, двигатель хлопнул несколько раз, подтолкнув траулер. И снова тишина, слышно, как шипит воздух и буи шлепаются за борт.

— Все! — сказал Ростислав. — Пошли спать. Тьфу, чтобы не сглазить: кэпу эхолот что-то там нарисовал. Если у него в глазах уже не рябило...

— А волна здесь другая, — и точно, траулер медленно поднимал нас, потом палуба плавно попыталась уйти из-под ног. — Правда, другая?

— Заметил? Сегодня будешь спать, как в люльке, — засмеялся Паша. — Сейчас вся рыба на север идет. Разве что последки какие попадутся. Ну, завтра уши наварим...

Я попытался взглянуть в воду, но там было темно, живая какая-то темень, мне даже жутко стало. А вдруг и вправду есть “другой свет?..” Если бы кто знал, как мне захотелось домой, совсем так, как маленькому, трехлетнему, мне нужно было только добежать и уткнуться в ее, мамины, мягкие колени, зарыться лицом и сознавать, что теперь ты защищен от всех напастей.

— Первый час уже, — грузно повернулся Дед.

Ночью я просыпался несколько раз, даже сны забывал. Как первоклашка, который сдуру боится проспять, думает — праздник...

Ну конечно же я проспал? Проспал? И Деда уже нет, и Паша-кок не мог толкнуть, ведь я всегда помогал ему с завтраком. Я глянул на часы: было полвосьмого, семь тридцать пять, но я чувствовал, что на судне что-то изменилось и нет уже той утренней медлительности, к которой я привык за всю мою неделю плавания. И проснулся-то я от резкого, какого-то самодовольного крика бакланов. В иллюминатор я увидел целую стаю этих птиц в грязно-сером оперении, которые отличались от чаек не только неопрятностью цвета и какой-то... общаковой, что ли, наглостью, но еще и своей особенной суетливостью — грузной и про-

нырливой одновременно. Их, бакланов, и в самом деле собралось что-то слишком много. Еще вчера у траулера вертелось всего несколько штук, ну, десятков от силы. А теперь они густой орудней стайей поднимались на долгой медленной волне выше борта и моего иллюминатора, потом так же неторопливо, как при замедленной съемке в кино, опускались на волне куда-то вниз. Прилетали новые, плюхаясь на сине-серую воду, а оттуда взлетали пловцы, напрягая сами себя горловым криком, взлетали, даже не подбирая под себя лап. Вот что-то шлепнулось, чуть ли не у самого иллюминатора: какой гвалт и куча-мала вмиг начались! Рыбешка дохлая, всего-то. И здесь же вся свара поднялась в воздух и исчезла. Явно — на правый борт.

Я понял, что проспал первую рыбу. Нужна мне их заботливость, вечно все за меня знают, как мне лучше!.. И Ростислав, и кок, они же знали, верняк, что я один на всем траулере продрых. Как укачало, не зря Паша вчера говорил о люльке. Вот сам бы и качался себе, если так нравится! Я торопливо натянул джинсы, свитер, подаренный боцманом — откуда только он такие нити толстые нашел! — сунул ноги в бахилы и сапоги. Вот бы еще зюйдвестку. У Деда на койке лежала, почти новая, но я уже эту шляпу примерял — две мои головы, наверное надо на ту зюйдвестку. А чего он-то не надел? Может, в машину сам пошел? Нет, я — сразу на палубу... Луч солнца остановился прямо на тахометре — он здесь в каюте, чтобы старший механик в любое время видел, сколько оборотов делает главный двигатель, хотя Ростислав и так не ошибается, на слух. Стрелка стояла на нуле. Но здесь подо мной ухнул двигатель, стрелка дернулась, поползла вправо, но через минуту снова упала. Я выскочил из каюты.

По привычке я заглянул на камбуз, хотел шефа своего хоть как-нибудь “укусить”. Но на камбузе было чисто и пусто, только горелка в печи гудела малым огнем, да пар вырывался из-под крышки самой большой кастрюли. Вот ведь, сам на палубе! Рядом с камбузной дверь в машинное отделение была открыта и железный трап серебряно-блескивал своими конопушками, снизу, как из бомбоубежища, слышалось ровное татаканье сотки — я уже знал, что она работает на генератор и палубные механизмы, а в

обычное время хватает и двухтактного “самовара” — маленькой трещетки в двадцать сил. Теплый воздух оттуда только слегка пах нагретым машинным маслом и соляркой. В машине у них всегда чистота — каждую вахту всё протирают.

С коком я встретился на трапе наверх, он как раз спускался и не дал мне рта раскрыть.

— Чаю сперва попей, я тебе полбанки сгущенки оставил, — голос у Павла Тихоныча — вот специально только так и буду его звать, пусть знает, — был подозрительно бархатным. Видно, у меня на физиономии обиду сразу видно. Нужна мне его сгущенка! — Хватит там и на тебя рыбы... Молодец!

Я-то чем “молодец”? Еще и подлизывается. “Вы бы лучше сразу разбудили, я, кажется, не отказывался работать, — пробурчал я, но ничего язвительного что-то не приходило в голову. — Как с маленьким, помешал вам здорово!..”

— Да говорил я Деду, сам спроси, а он сказал, что толкал уже и не добудился. Не переживай, успеешь еще на свою рыбу полюбоваться. Выборку-то в шесть начали. Да и об улове разве что тайком думали...

Что верно, то верно, добудиться меня утром трудно, я и так здесь на себя удивлялся, когда сам утром вставал. Что значит — не в школу! А ведь опять придется, теперь-то я уже кожей чуял, как скоро мне собираться отсюда. Вот рыба еще, что там Паша говорит?..

— За завтраком сказал... да, капитан же! — говорил кок и все удерживал меня за рукав. — Мол, его — твоя, значит, — рыба далась. Сказал, что проведет тебя юнгой в нарядах с первого дня. А кто ж спорить будет. Заработал честно...

— Я сейчас, — все же освободился я и пошел вверх.

— Давай, потом жуков надо поставить. Всем в охотку...

В рубке я удивился: на руле стоял штурман. В рубке было свежо, наверное потому, что дверь справа на крыло открыта, и там видна была спина капитана. Он перевесился через леер на мостике и что-то говорил вниз.

— Привет, Петро, — сказал штурман и перевел телеграф на “малый”. Внизу ухнула машина. — Проспал? Видал-миндал — косяк зацепили, сейчас килограмм под двести пошло. К кэпу не ходи пока, он горячий сейчас...

Ничего я не понял, что он мне наговорил, честно. Кроме того, что попалась селедка, но это я уже и сам в окно видел: на палубе досок не видно, а сплошной массой колыхается серебряный слой. Вот так много бывает рыбы сразу? — как будто разбил миллионы градусников и катается взад-вперед ртуть! Прямо в центре, между грузовыми трюмами работает сететряска, но селедка и до неё выворачивается из сетей, которые расправляют матросы. Я вгляделся, но узнал только боцмана — это он о чем-то махал руками капитану, показывая на борт, через который переваливала сеть, и видно было, как сеть шевелится, будто живая. Впереди далеко, чуть не за километр, уходили в море буй, они мягко поднимались волной, словно подмигивали. Вслед за сеткой на борт вскарабкался очередной буй, и я рассмеялся — на нем была нарисована рожа с прищуренным глазом и зубастым ртом от уха до уха. Матрос подхватил эту образину, что-то крикнул и зашвырнул буй в клеть прямо под окном рубки. Как в баскетболе! Вообще мне отсюда почему-то показалось, что там на палубе похоже на игру: все были как двойняшки в своих зеленоватых робах и будто нарочно расставлены по своим местам, на носу один матрос кругами укладывает канат-вожак, кто-то под рубкой стучит молотком, по правому борту видны желтоватые бока бочек, а над водой, где выходит очередная сеть, стоит сплошной гвалт бакланов. Несколько белых чаек носилось среди них, бакланы скопом жадно бросались к ныряющей за рыбешкой чайке, но те всегда оказывались ловчее. Чайка с добычей вздымала к небу, и тогда базар над водой затевался вовсе нешуточный.

— Стоп. Стоп машина! — заорал капитан, заглядывая к нам. Просто от возбуждения орал, вовсе и ни к чему, потому что штурман и так уже дернул рычаг телеграфа и прозвонил механикам.

Все находились при деле, один я оказывался как турист, хотя кэп, увидя меня, даже потряс пятерней над головой: “Молодца, Петр Алексеич!” И вернулся на свой мостик.

Траулер плавно поднимала волна, у борта дрались бакланы, а сететряска остановилась, и кто-то спустился в открытый трюм. Оттуда стали доставать пустые бочки. А я ре-

шил пока спуститься в салон и хоть чаю попить. Мне захотелось тоже быть на палубе, но что я там могу делать, глядеть, как все работают?

В салоне сидели Дед с Пашей и радист-маркони. “Не дуйся, — Ростислав налил в кружку чай и подвинул мне стгущенку. — Дуй чай!”

### 9. *Без салюта...*

— Вот, — Дед кивнул на маркони. — Юра связался с берегом, передал ребятам в порту. А сегодня твоя шхуна подойдет...

Конечно, теперь я здесь и вовсе не нужен. Мне захотелось зареветь от обиды и этой своей неопределенности. Правда, как экскурсант какой! “Шхуна”... видал я эти шуточки. Может, и на самом деле — эта рыба, которой они так радуются, из-за меня только и попалась, а что? Есть ведь люди, которые притягивают удачу, которым просто везет и все. Ага, что-то ты от большого везения здесь оказался, мелькнуло у меня и, как наяву, возникло в памяти тусклое пятно света от фонаря и противный холодок внутри, и потом все эти ужимки Мордвина. Ничего с ним не случится, дождется моего возвращения. А они здесь будут радоваться своей рыбе и посылать свои чертовы радиogramмы...

— Ты жуков едал? — спросил меня Паша. — Сейчас мы с тобой...

— Пусть их французы едят, ваших жуков.

— Чудак, — засмеялся Юра. — Он думает...

Ничего я не думал. С палубы доносился стук молотка, слышался ор птиц, а под ногами колотил двигатель. И все это, казалось, было не здесь, а будто в стороне, за какой-то невидимой стеной, даже лица сидящих рядом за столом Деда, кока и маркони расплывались передо мной, как в другом измерении, как будто они сидят в трамвае, который уходит в сумерках, а я стою на остановке под моросящим дождиком и эта мелкая водяная пыль размывает и очертания трамвая, и блеклый свет в его замутненных окнах, и расплывчатые лица... Мне захотелось сделать что-нибудь сумасшедшее, разбить что ли что-нибудь, чтобы



они не сидели такие довольные и снисходительные, чтобы им тоже стало неуютно и тревожно, как при вое сирены скорой помощи. Но я ничего не мог придумать. Вот выскочу сейчас и прыгну в воду, за борт, пусть знают!..

— Ты чего нахохлился? Ну, подумаешь, проспал и проспал, я вот однажды задремал, так вместо хлеба одни черные уголья вытащил... только что мне их за шиворот никто не засунул! — Паша положил мне свою руку на плечо. — Пойдем свежей селедочки наберем, на воздухе грусть выдует. Слышь, юнга.

— Мы с ним ходим, — поднялся Ростислав. — Пойдем-ка, Алексеич, пока снова выборку не начали.

— Вы там в корзину наберите покрупнее, — сказал кок.

Мне и самому не улыбалось сидеть здесь, так что я молча пошел за Дедом, невольно широко расставляя ноги, чтобы удержать равновесие на уходящей из-под ног палубе. Казалось, море дышало глубокими вздохами: вдо-ох — и траулер неторопливо поднимается на растущем водяном холме, вы-ыдох — и необъятная грудь опадает, палуба паряще уходит вниз, и внутри тебя что-то обрывается, заставляя самого глотнуть воздуха, влажного и солоноватого. И голова становится пустой, легкой, как воздушный шарик, так и хочется пошевелить шеей, чтобы убедиться, что голова не улетела туда, к низким серо-розовым облакам, сквозь которые чуть пробивается солнечный отсвет и к которым летят крики неумных в обжорстве бакланов.

Но выборка уже началась, хотя над раскрытым трюмом еще висела забитая бочка с торчащим из-под обруча языком полиэтиленового мешка. Последняя, потому что здесь же застрекотала сететряска. “Ничего, мы быстро наберем, — сказал Дед, поднимая плетеную корзину. Ноги в огромных сапожищах он приволакивал, чтобы не давить рыбу. — Нам пожирней, Семен Димыч. Жуков поставим!”

— Ты мальцу покажи, как сеть идет, — подмигнул мне рыбмастер. — Ничего рыбка, с икрой она нынче. Во-он как дельфины резвятся! На добрый косяк наскочили!..

Дельфинов-то я хотел посмотреть. Мы с Дедом протиснулись между лебедкой и стенкой рубки на правый борт, чуть отошли к корме. Из воды медленно поднималась сеть с рыбой, а недалеко, ну, совсем рядом, и вправду носился

дельфин. Вовсе не такой, как я видел по телеку или в кино, а темный и небольшой, может, метра полтора. “Вон еще, штук шесть их, — показал рукой Дед еще подальше. — Они со вчерашнего дня к нам пристали. Глядишь, на весь рейс рядом будут, это хорошо!” Чем это хорошо, я не знал, наверное, примета у них такая, у них здесь на каждом шагу приметы: то нельзя, за борт не плюй, деньги в карманах не держи, когда сети бросаешь — выбрось и деньги, в пятницу в море не выходи... еще что-то, как будто в игрушки играют, я уже не первый раз замечаю, а-а, да — на борту не ругайся даже с заклятым врагом, все счета на берегу своди...

— Эй, смотри как носится, как бы сети не порвал, — крикнул боцман у сети, переваливающейся через борт.

— Да он давно уже здесь кружит, как больной. Я его вон где заметил, — матрос на вожаке еще что-то крикнул, но я не понял, да и не до того было: дельфин вдруг выскочил на воздух такой свечкой — метра на два, запросто мог бы и через борт прыгнуть. До дельфина было метров двадцать, и не боится ведь!

— Дурной какой-то! — удивился Ростислав, хотя ему тоже явно понравился прыжок. Еще бы — как в цирке!

После прыжка он ушел под воду почти вертикально и без брызг, а передо мной еще стояла его курносая морда, честное слово, я даже глаза разглядел круглые и, показалось, розоватые, а плавник на черной спине мощный, полумесяцем. Под водой дельфин пробыл долго, я подумал, что вынырнет он далеко, наверняка там, где кружили остальные. Но он вынырнул здесь же и опять заходил кругами чуть не у самого борта. А сеть уже полностью поднялась на судно, двое направляли ее на штанги сететряски, а боцман с матросом разворачивали, рас-тягивали только что поднятую часть. К ним бросился бригадир — как раз тот, с ровно подстриженной рыжей бородой и злым глазом, который тогда попрекал меня брэйком.

— Разворачивай, боцман! — крикнул он. В руке у него темно отсвечивал широкий короткий нож, шкерочный — им бриться можно, Дед обещал, что мне наточит такой и подарит. — Смотри, чтобы не ушел! Да дельфиненок же запутался!

Боцман внимательно и осторожно развернул сетку, там среди рыбы желто белело пузо небольшого дельфина, и темные руки осторожно перевернули мокрого детеныша, хвост его еще окутывала сеть.

— Вот коку лафа привалила — попробуем мяса дельфийского, — бригадир так и говорил “дельфи некого” вместо “дельфиньего”, он не улыбался своей шутке, а наклонился над уловом.

Кажется, и все поняли шутку. Стала теперь понятна и “пляска” сумасбродного дельфина за бортом. “Вот повезло, — крикнул с крыла штурман, а кэпа там уже не было. — Мог бы и задохнуться! Живой?” Сететряска осталась.

— Ты осторожней дель обрежь, я потом залатаю, — сказал боцман бригадире, который свободной от ножа рукой оттянул дельфиненка за плавник, почти поднимая его над палубой. — Не порань мальчика-то...

— Как это — “не порань”, что мне, впервой, — поднял глаза бригадир. — В момент секир-башка сделаем, не свистнет!

Мне показалось, что это не похоже на шутку. И Ростислав развернулся в ту сторону всем своим большим туловищем, даже рот у него зачем-то приоткрылся — от удивления, что ли. “А я не знал, что дельфинов едят”, — сказал я. “Кой черт!..” — Ростислав.

Боцман как-то неловко шагнул вперед и перехватил руку с ножом: “Брось дурить!” Но тот, кажется, уперся и совсем не думал оставлять дельфиненка: “Оставь руку, ты-ы! Уж в этом мне не указ, как-нибудь без твоих слюней проживу”. Он отпустил добычу на палубу и придавил тяжелым сапожищем.

Мне показалось, что он с боцманом не в первый раз столкнулся и что на палубе это все знают. Штурман подошел к самому краю на мостике, я видел его нахмуренную бровь, но он почему-то молчал. Я знал, что и бригадир, и боцман жили в кубриках на баке, но я туда почти не ходил, в нос траулера, только когда Саша звал на примерку. Чаще он приходил сам к Ростиславу в каюту. Но что-то между ним и бригадиром было, чем угодно отвечаю. Дед отодвинул меня и успел вовремя: обе ручищи легли на

плечи бригадира и развернули его спиной к боцману. “Ну, кончай, — сказал Ростислав. — Дыши спокойнее. Рейс еще длинный”. Спокойно так сказал.

И все. Боцман взял дельфиненка на руки, подошел к борту и низко перевесился к воде, дожидаясь, пока волна пойдет от траулера. Вот уже детеныша понесло в сторону, а рядом с ним оказался тот дельфин. И видно было, как остальные тоже заторопились к нам поближе. Вот она — конечно же, это мать, чего бы она так беспокоилась! — ткнула детеныша несколько раз курносым носом, легонько ткнула, я прямо видел, что она старалась сделать это осторожно, и он повернулся с боку на брюшко, чуть шевельнув хвостом. Потом мать прикрыла его от моего взгляда собой и так оставалась неподвижной, только волна то поднимала, то опускала их. Я не видел, может быть, она дельфиненка успокаивала, очень просто! На борт поползла новая сеть, и судно чуть развернуло. А Ростислав подтолкнул меня: “Пойдем!” Возле рыбмастера уже стояла полная корзина с селедкой, я никогда не видел таких толстых спин, а здесь — прямо одна к одной. В репродукторе у крыла зашелестело, раздалось привычное “пи-пи-пи-пий”: “В Москве четырнадцать часов”. Потом раздался щелчок, радисту почему-то не захотелось слушать дальше “маяк” и он включил кассету: “Мои мысли, мои скакуны... вас прищипоривать нету нужды...” Молоток, которым бондарь заколачивал полную бочку, застучал быстрее, будто стараясь попасть в такт: “Та-та-тах-та...”

Мы сидели с Ростиславом и пробовали первых “жуков” — кок вынул из духовки противень с уложенной плотно и посыпанной крупной солью селедкой, она покрылась хрусткой корочкой, а Паша расковырял одну и дал мне печень. Никогда не ел ничего вкуснее!

— Кэпу я уже отнес. Сейчас на палубу стащу, а ты сиди, ешь. Он сказал, что “Мезень” на подходе. Это который в порт идет. Домой. Я с тобой письмишко передам, все быстрее дойдет, а? Они здесь тоже метанут разок, а завтра — отвалят — прогноз плохой, шторм тянет, слышишь? — мой шеф кивнул на иллюминатор. — Чуешь?

Ничего я не слышал. И не “чуял”. И Паша, по-моему, ничего не слышал особенного, так сказал. Он вышел, а мы

с Дедом ели паровую рыбу и будто ждали, кто же первый что скажет. Я все собирался спросить о дельфиненке. Вернее, о боцмане с бригадиром, конечно.

— Ладно, — заговорил все же дед. — Я уже говорил, что страх — плохой советчик. Постой, постой. Не о тебе пока. Уж больно в нас всех вживили этот страх. А за себя и не сумеем постоять, если на другого, рядом с тобой, нет сил, вот так. Ты спокойно иди домой, все будет в норме. Я говорил, что с ребятами связался... они там присмотрят, поговорят, как надо... И с Мордвиновым тем, да нет — со старшим. И зря ты к отцу не пошел, он бы и сам поставил все на место. Да все понятно. Зато ребята теперь сходят. И по улицам, и в мэрию, хватит уж нас за быдло держать.

— Так он же начальник...

— А я — старший механик, — засмеялся Ростислав. — И что?

Он еще говорил, но я уже думал о другом. Мне было понятно, что и здесь они все разные, но все же ходить в море — это тебе не шурум-бурум какой... и маме придется примириться, а английский их мне и здесь пригодится. Еще я подумал, что должен же Ростислав понравиться Людмиле Титовне, и вот уж как здорово было бы, если бы я их познакомил, когда дед вернется из рейса. А что особенного? Как-то получается, что хорошим людям труднее встретиться, чем плохим, хотя должно быть наоборот... Но, если честно, мне уже опять не хотелось переходить на какое-то другое судно, а потом плыть сто лет. И ждать, пока вырастешь, как любит говорить мама, а “уж потом решать свои проблемы”... как будто у них другие “проблемы”!

Выборку, конечно, закончили, потом траулер наш еще побегал в этом же районе. А к вечеру рядом было видно уже несколько судов. “Вот и датчане сюда подтянулись, — сказал мне Дед. — Кэп о рыбе в эфир сказал. А во-он твой, на нем пойдешь”.

“Мой” шел к нам на сближение. И к нам в каюту заглянул капитан.

— Ну, Петр Алексеич, — сказал. — Собирайся. “Межень” подойдет, пересадим тебя, хоть и жалко — удачли-

вый ты. Они рядом порядок поставят, может, груз доберут. А ночевать уже там будешь: шторм идет, потом сложнее может быть. Отцу там поклон. И почту нашу возьмешь, юнга. Так?!

Теперь время остановилось, это всегда так, когда ждешь и у тебя “чемоданное” настроение. И говорить, вроде, нечего, вот потом все слова припомнятся, которые промолчал. Ростислав, правда, мне краба со стенки снял: “Мне друг с Кубы привез, на память возьмешь...” И здесь мне вдруг захотелось тоже написать письмо, вот умора — когда уже уходить надо, зачесалось у меня. Ладно, я этого краба Ирке подарю, а то кому бы я то письмо написал?..

Потом я стоял на палубе и ждал, когда сблизятся оба траулера. Боцман бросал конец, подтягивали трос, вернее — “подбирали”. “Оставь себе сапоги, еще пригодятся”, — сказал мне боцман перед этим. В них-то я и заявлюсь домой, а еще лучше в школу... На этом траулере были чужие лица, и мне больше всего хотелось просто заснуть там, а проснуться в порту, хотя я знал, что так не бывает.

— Пушки нет, пират, — крикнул кэп, по своей привычке перевешиваясь через леер на крыле. — Ты уж не обижайся на нас. А то дали бы прощальный выстрел...

“На радостях”, — подумал еще я, но говорить не стал.



## Вожаки

### *Тяньшаньская поэма*

*Мне ни прощанья, ни прощенья...*

#### I

Волки пировали всю ночь.

Они до сих пор не могли поверить в свою удачу: торопливо, с трудом и хрипом проглатывали они еще горячие куски. Нет-нет да и отрывались от темной туши, настороженная ярость вздыбивала и без того напряженную шерсть на горбатых загривках: то один, то другой волчара, отскочив от поверженного марала, осторожно обегал кругом стаю, взбирался на огромную каменную плиту, нависшую над темными верхушками елей, что спускались по щели к полузамерзшему ручью.

Каждый из них, ночных леших — серых, поджарых, большеголовых, остервенелых и ослепленных многодневной голодовкой и все же неусыпно осторожных — вскакивал, пружиня лапы и напрягая уши, на ту истоптанную плиту, с которой их могучая жертва пыталась совершить последний прыжок.

Рвали, отскакивали, хватали обрызганный кровью снег, пугались, косясь на ворон, которые терпеливо ждали своей доли, молча возвращались, не огрызаясь друг на друга, беззвучно перебирали лапами на одном месте, нетерпеливо и опасливо продолжая прерванное пиршество свое.

Вот кто-то из семи волков, ослепленный мигом страсти насыщения, с таким остервенением рвет свой кус, что отлетает назад, — и шевелятся рога, еще час назад способ-

ные поднять на воздух или расплющить у земли любого из стаи.

Даже самого крупного из них — вот этого, что единственный из семи еще не проглотил ни единого куска. Ни единого куска так пьяно пахнувшего на морозе мяса не проглотил. Не вцепился в это тело, так неожиданно и спасительно ставшее добычей стаи.

Хотя он имеет больше других прав... Право Первого.

И он один сидит неподвижно у самых рогов, которые кажутся порослями каменного кустарника: любому волку впопугу спрятаться под этими рогами.

Он — Вожак стаи — рискнул, вопреки здравому смыслу рискнул бросить стаю на этого гордеца, которого он, волк, знал почти с рождения... и справиться с которым могло помочь лишь чудо.

Вожак, словно желая вновь опознать знакомца, сделал несколько медленных шагов округ головы рогача. Становится видна хромота волка, еле заметная, она придает лишь некоторую валкость его походке и скрадывается широкой светловатой грудью, лобастой властностью головы.

Вожак подходит к вытянутой, по-прежнему напряженной шее марала, косится на рога, лапой чуть трогает покрытую инеем гриву, воротником сбитую на оленьей шее. Ощувив зуд, зализывает сукровичный развал на бедре, что успел-таки в последние секунды оставить ему на память марал.

Да, только чудо могло помочь истощенной зимою стае взять этого рычащего оленя. Здесь взять, на его родном утесе...

И Первый волк валкой походкой, словно матрос, снова обходит голову рогача с прикушенным в смертной улыбке языком, останавливается у вытянутых передних ног, сухих и таких мощных даже сейчас, когда острые копыта Благородного оленя неподвижны.

Он сразу понял тогда, что это чудо должно произойти, что-то в поведении великана этих гор насторожило и нашептало об успехе...

Волк обнюхивает острое копыто, оглядывает своих, рвущих мясо в голодном и недоверчивом исступлении, выдыхает теплый пар. Без рыка, молча шевелит тяжелой голо-



вой на рослого волчонка, подобравшегося к шее их жертвы, — так шевелит, что переярок ту же задвигает хвост к поджарому животу и прячется за остальных. А виноватого взвизга его Вожак уже и не слышит.

Это всегда его, Первого волка, привилегия, а он не торопится начать свой пир. Его все еще тревожит неразгаданность случившегося, ибо непонятное всегда несет в себе угрозу, хотя Вожак и знает сейчас — опасности вблизи нет.

... В рассеянности он вновь нюхает остро-напряженное копыто поверженного оленя. И взгляд останавливает странная опухоль на колене марала — единственная помеха на вытянутых сухих ногах, на опухоли спотыкается глаз, этот комок на колене прерывает стремительную линию ноги рогача... так дело в ней? И тот, последний, напряженный прыжок — подрезала эта опухоль? Она — такая чужая, такая ненужная здесь, на этом совершенном инструменте, который помогал Благородному оставлять под копытами любые утесы и любых преследователей... такая же чужая, как и жжение у него, волка, теперь на бедре?..

Вожак лизнул свою рану. Затем, будто желая выправить тот единственный порок на колене жертвы, принимается разгрызать опухоль на ноге Благородного. Его, Серого Вожака, соперника в этих горах, неподвижного сейчас соперника, которого стая обратила нынче в пищу.

Чуда не было.

Было то, что каталось у него самого под шкурой вот уже третью зиму, хотя и не тревожило пока. Шальная пуля, даже не раздробившая кость, пущенная издалека, наобум, мешала она выжить Благородному. Это она свинцовой опухолью связывала его прыжок надежнее пут.

Чуда не было. Был общий враг, все тот же. Он где-то издалека выпускал гром и этот горячий комочек свинца. А не достав Благородного, ушел. Ушел, забыл, приговорил. Приговорил, ушел... нет, не забыл, придет, как приходит каждую весну. Как всегда приходил.

Волк отошел чуть в сторону от пирующей стаи. Там насыщалась и его волчица, ей необходима была эта жертва Благородного, ибо она несла уже в себе новую жизнь. Его, Вожака, жизни — Продолжение...

И снова, уже безо всякой обиды на противника, принимаетсялизывать рану. Ему не в чем упрекнуть себя, это честный, хотя и предрешенный поединок. Так устроен их жизнь, они следуют ее законам: нынче желудок многих успокоится — вон как терпеливо ждут своего вороны, вон и горностаи посверкивает глазками из-за камня, и тоненькое тьякканье лисицы послышалось...

Хромой волк и этот олень были ровесниками, они родились в одно время и недалеко друг от друга. Они не раз встречались на горных тропах и не всегда ему, Первому теперь здесь волку, уступалась дорога, это так. Они были ровесники, и ему, его стае надо жить здесь дальше.

Благородный был обречен уйти раньше, стая лишь завершила этот уход. Осенью волки не пытались, да и не могли помешать этому маралу продлить свой род, Благородный был яростен в своей любви. И не одна маралуха приходила на его зов и по следу к Утесу над верхушками елей, волк знал это. Нынче завершился честный поединок, свинец тот мог полететь и в него...

Вожак поднял морду и — завыл.

Густой, тоскливо-напевный, в точно определенных тактах переплетенный низким хрипом и клокотанием горла темно-зеленый вой поплыл над такими же темно-зелеными волнами старых елей, над медленно осыпающимися красными стенами щелей, над плавающими в серебряном утреннем тумане бесконечными грядами горных голов, скругленных самим Временем, поплыл над склонами и срезами малых вершин, подобных тому Маральему утесу, на котором сидит сейчас Серый Вожак.

Далеко-далеко у подножий каменно-лесных волн эти хрипловатые аккорды высекли визг у собак. Прикрикнул на дворняжек человек, вышедший по нужде, но те уже забились под крыльцо и там тихонько поскуливали. Рядом с человеком темно застыла остроухая лайка, горло ее напряглось, завибрировало, когда новая волна волчьей волшбы скатилась к ним. “Воет... с-стерва”, — пробормотал человек, заходя в дом, потом высунул в незакрытую дверь ружье и разрядил оба ствола в морозный воздух.

До Вожака не дошли ни визг, ни выстрелы.

Он выл, не обращая внимания на удивление стаи, пел, не ощущая ни голода, ни любви. Волк обнажал тяжелые клокочущие тоны, словно поминая погибшего, на кончине которого оказался случайно. Он чаровал себя самого, вслушиваясь в уплывающие звуки, и словно удивлялся собственному существованию.

Но великан-марал не слышит его. В стылом бархате глаз Благородного оленя нет ни проклятья, ни прощения. В глазах отражаются чуть розовеющие темно-графичные контуры его гор в занимающемся новом утре.

## II

... Старой маралухе снова повезло. Совсем неслышно, невесомо и осторожно проскользнула она мимо отары в привычную, круто опускающуюся к реке щель. Река бурлила уже недалеко, изредка на перепадах глухо хлопали камни.

Проскользнула маралуха с наветренной стороны, в ноздри били запахи кизячного дыма, влажной собачьей шерсти и конского пота, смешанного с острым человеческим духом. Осторожно пробралась через буреломы, стараясь не задеть сохлых стволов елей, стеснивших ущелье, обходя или переступая обомшелые валуны, нервно дергая шкурой, когда касалась случайной ветки на пути.

Здесь в девятый раз ждала она появления сына — до этой весны у нее рождались дочери. Красивые и здоровые, уже многие из них и сами стали матерями.

Но теперь маралуха носила сына.

Ей хотелось дожидаться его ветвеобразной короны-рогов, хотелось однажды золотым осенним утром увидеть своего сына стоящим вон на том, выплеснутом волнами гор, утесе, хотелось услышать его трубный, повелительный и зовущий сентябрьский рев...

Она чувствовала, что наконец-то носит сына: он тяжелее давил ее, чаще прежних весен оленухе приходилось отдыхать при осторожном подъеме, труднее перебираться через валежины. А может — просто сказывался собственный возраст и опыт предшествующего вынашивания детенышей оберегал ее на остановках...

Маралуха не опасалась, что ее потревожат здесь: верховая тропа проходила в стороне, а чабанские собаки дрожа-

ли и поскуливали от одного запаха, шальным ветром донесенного к ним из соседней щели. Она тоже знала, что там, в щели за откосом перевала, под змеями корней павшей ели уже несколько лет выводит своих детей волчья семья. Соседи не покушались на ее покой, у них свои заботы. Да и она пока вполне здорова и сильна.

Конечно, было бы спокойней, когда бы рядом дышал ее повелитель, ее бык, ее муж, но олень-самец — величественный, недоступный, оберегающий свою нежную молодую корону от кровососов, — поднялся сейчас к тем высоким пикам, что снежными боками сверкают на солнце все лето.

Каждому свой удел — это она понимала: он, ее повелитель, был Продолжателем жизни, духом и силой; она — Носительница, молоко и кровь новой жизни, уже вовсе ощутимо пульсирующей у оленухи в животе.

У серых соседей, у волков, оба родителя поднимают маленьких, но это их дело, им данные законы.

Быть может, отчасти еще и поэтому, от одиночества своего материнства, ждала старая маралуха сына... Чтобы его глазами увидеть тот путь к заснеженным вершинам, которого ей не дано пройти.

Теленок появился, когда луна уже угасала над ущельем, угасала и блекла под первыми, еще далекими и призрачными бликами утра. И все же лунный свет успел облить серебром мокрую дрожащую спинку новорожденного, чуть сверкнули голубизной, задрожали растерянные глаза, малахитово заволновались младенческие пятна на хрупком тельце, которое вылизывала счастливо облегченная маралуха.

Но вот и первый солнечный луч сквозь мохнатые лапы елей ворвался в ущелье, путаясь в ветках рябины и стрелах таволожки. Этот лучик сразу вызолотил новоявленного оленьего принца, заиграл рыжиной боков, заставил пуститься пятнышки на спине восторженным хороводом. В бликах солнечных зайчиков матово лиловели влажные глаза оленихи, она заново переживала полузабытую сладость опустошения вымени, в которое неровно толкались губы сына, захлебывающиеся собственной торопливостью. Сына...

Здесь она чувствует другие — уверенные и сильные — губы. Лишь сейчас вспоминает маралуха о своей прошло-

годней дочери, все еще росшей при ней, спустившейся следом и в эту ночь. Мать осторожно лягает лакомку, укоризненно мыкает на глупое младенчество телки, пробудившееся так не ко времени. Сестренка явленного только что малыша неохотно отходит в кустарник, под которым рассеянно находит губами траву, медленно жует, не отрывая вопросительного взгляда от сосунка на подрагивающих игрушечных ногах.

Спустя несколько дней они втроем выходят из ущелья в ближний лог, по которому перешептывается трава, стрекочут сверчки и гудят припозднившиеся шмели.

### III

... Той же лунной ночью в соседнем отщелке на свет божий явилось сразу пять новых жизней.

Пять щенков слепо шевелились под брюхом волчицы. Усталая, похудевшая так, что ребра, казалось, грозили прорвать шкуру, волчица-мать вылизывала каждый круглый, мокро-серый попискивающий комочек. Свет луны, холодно пламенеющий у входа, в логово не добирался, но взволнованному отцу — матерому волку с сединами на скулах угрюмой головы, плотно утвержденной на короткой бычьей шее, — вовсе и не нужен был свет ему, опытному мужу, чтобы разглядеть свое невзрачное, слепое, воспитательно беспомощное потомство.

Восторг заставил забыть привычную сдержанность и толкнул было отца к новоявленным чадам в надежде, что и ему позволят прикоснуться... однако чуть уловимое рокотанье остановило его на пороге и пристыдило. Не время...

Еще несколько минут посидев у свисающих над входом корней, смущенно улыбаясь и наклоняя тяжелую голову из стороны в сторону, чтобы распознать новые голоса в логове, отец-матерый беззвучной рысью заторопился вниз, к реке. Пробежав потом еще километра четыре по течению реки, матерый по знакомой трещине в почти отвесной стене над водопадом поднялся наверх.

Дальше открывалось горное плато, мягкими складками холмов плывущее к новой гряде гор.

— И тут, в безопасном далеке от затаенного логова дает отец-матерый выход своему восторгу Продождателя: песня

давно клокотала в его горле, и теперь вот — навстречу нарождающейся заре — освобождает он звуки, стесненные в груди. Навстречу новому дню посылает он чистые и нежные рулады, неожиданные для лешачьего грубого хмурого обличья. Кажется, даже и водопад подстраивается своим рокотом под эти освобожденные горлом звуки. И воздух, розовея, плывет в такт все выше поднимающейся ноте...

Где-то в отдалении раздались голоса похожие, и в лесную песню вплелась новая волна, не повторяющая, но ширящая мелодию, словно альты подхватили теноровую партию и понесли ее еще выше, выше...

Восторг и жуть охватили плато.

Вот матерый прервал соло, звук сгустился, опадая к земле. Волк прислушался, а по горлу еще катился комок, так и не ставший новой руладой. Альты раздались поближе, тоже примолкли, словно еще готовые продолжить, словно ожидая следующего сигнала. Где-то очень далеко тьякала собака.

Появились два молодых волчонка, уже достаточно взрослых, но не заматеревших. Приблизились, припали к земле передними лапами подле сидящего отца. Словно поздравляя, потерлись лобастыми головами о его бок. Подошел и третий, постарше. Матерый проворчал, будто отдал распоряжение, и вот уже все порысили в разные стороны. Теперь каждый из них должен охотиться за двоих, если хочет остаться в угодьях логова.

И каждый должен охотиться подальше, чтобы — не дай Бог! — не навести за собой преследователей.

... У себя в логове волчица, конечно, не слышала супружеской песни. Она знала осторожность главы семьи, это не первые их совместные дети. Знала об осторожности, потому и не беспокоилась. И все же, когда у входа появилась ее взрослая дочь, не нашедшая себе пары нынешним январем, мать-волчица не отослала ту на охоту.

Пусть будет рядом, так спокойнее.

Слепые комочки копошились у брюха: вот один, второй... вот уж и четверо приспособились, только последний болтался пищащей головой, тычась в бока и зады других волчат. Мать носом тычет, подталкивает его к свободному

соску. Захлебываясь молоком и воздухом, чихая и поскуливая, пятый щенок принялся догонять остальных...

У волчицы бурчало в желудке, ей хотелось пить и бок занемел, но она терпела и старалась не менять положения своего измученного тела: первые струи самые животворные для новорожденных, только молоко по-настоящему согреет их. Лишь дождавшись, пока отвалится последний малыш с раздувшимся полным пузиком, мать позвала старшую дочь. Та, будто занималась этим всю жизнь, легла на место волчицы, угревая сонный клубок щенков, лишь заворочавшихся при такой замене.

А мать-волчица ушла к ручью.

Солнце уже высоко поднялось в голубом далеком небе, когда неслышно возник у логова старший волчонок позпрошлогоднего помета. Темный ремень горбатился по его спине, а морда волчонка излучала горделивость собственным успехом. И любопытство. В стороне от входа он наскоро отрыгнул несколько кусков мяса и заглянул в пещеру. Заходить внутрь ему было нельзя — он знал это, зато на пороге можно насладиться знакомым теплом родной колыбели. Молодой волк не ревновал к матери эти чуть заметные в сумерке логова бугорки, даже, пожалуй, был благодарен им за возможность снова очутиться у собственного щенячьего места, припомнить и свою такую же толкотню у материнских сосцов. Он лег, положил голову на лапы, словно прикасаясь носом к незримой стене, отделяющей вход. Теплые сладкие запахи трепетали в ноздрях, и в этом коротком удовольствии прибылой зажмурил глаза, наслаждаясь покоем. Он будет кормить их, он станет охранять их, а потом играть с ними и обучать...

Молоденькая волчица деликатно отводит глаза, когда мать торопливо глотает свежие куски.

Здесь подоспел и глава семейства, выложил свое угощение, тихонько буркнул старшему сыну, тут же и отдвинувшемуся от входа, и присел с ним рядом. На лобастой морде расплылось умиление, матерый ловил каждый шорох сумрачного гнезда своих чад, и ничего больше ему не было нужно... Молодая волчица осторожно исчезла.

Так продолжается три недели.

В соседней щели олененок давно надежно держится на ногах, уже весело носится со старшей сестренкой по лугу, уже пробует пощипывать нежную траву и достаточно далеко может бежать, не отставая от матери-маралухи.

Больше всего ему нравится бегать кругами, догоняя ребячливую сестру, скакать по мокрой от росы траве, доходящей ему почти до плеч. А потом, притомившись, ткнуться в теплое, надежное, сытое брюхо оленихи, припасть к благодатному вымени.

Да, а здесь три недели прошло, прежде чем волчата решились робко переступить порог пещеры.

Там, снаружи, их ждет отец, губы его растянуты в нежной улыбке, а передние лапы, утратив присущую хозяину важность, суетливо переступают на широких подушечках, сведенных теперь судорогой нетерпения.

Чтобы поощрить детей на первый подвиг, отец-матерый выложил перед ними равные, словно отвешенные на весах кусочки мяса — ровно пять, каждому по доле. Рядом с супругом поощрительно повизгивает волчица.

Неуверенно, бочком-бочком, цепляясь лапой за лапу, удерживая тяжелую голову слишком еще тонкой шеей и всей нескладностью своего тельца будто мешая самому себе — самый храбрый щен все же пробирается к лакомому кусочку, хватает, урчит и захлебывается... Тут уж и остальные, подстегнутые плотоядным урчанием, не выдерживают: косясь друг на друга, ослепляясь непривычным светом, расхватывают свои куски, топырчатся шерстью на загривках, торопятся, давятся, глотают.

А здесь ведь — смотри-ка! — веселее, греет солнышко, да и места побольше!

Только что еще опасливые и неуверенные, настороженные на любую былинку, вот уже все пятеро сосунков остервенело набрасываются... на умиротворенно прилегшего папашу. Иголочки их молочных зубок малы, но пронзительно остры, а волчата самозабвенно вонзают их в отцовские губы, вцепляются в хвост, норовят добраться до ушей — будто знают, где уколы ощутимей.



А лобастый папаша лишь сжимается, осторожно крутит башкой, поджимает пальцы и растерянно, а все же довольно ухмыляется, терпя свои сладостные муки.

Когда же волчатам надоедает это живое и послушное поле сражения, они переключаются на мать, нещадно барахтаются, елозя по ее боку, догоняя друг друга, сосунки царапаются, кусаются, пускают по ветерку бурые клочки шерсти. И все это, как положено — молча.

Отец-матерый стоит еще немного над всей этой кутерьмой, вполне удовлетворенный чадами, затем тихо скрывается — пора добывать ужин, теперь он должен быть более плотным.

#### IV

... — Ну, вот и добро: плотный завтрак сейчас впрок пойдет. Весь день, небось, задницей хлюпать придется, — худой высокий человек, одетый в зеленое, подошел к неказистой лошади. Достал из кармана притороченного к седлу вещмешка фляжку.

— Хлебнешь, братишка?

— Немного.

Второй погрузнее, хоть и моложе брата, но уже набирает ненужный жир. Одет так же, как старший, только все — более поношенное, бывалое: штормовка на толстом свитере, зеленые джинсы из палаточного брезента, кирзовые сапоги, солдатская шляпа-панамы. У обоих позади седел на лошадях приторочены полушубки, через седла вместо одеяла или попоны для мягкости переброшены спальники. В общем, экипировка для гор и удобная, и надежная. Продуманная.

На братьев, если не знать и не очень приглядываться, выискивая фамильные черты, они мало походят даже лицами.

Старший, с костистой, вытянутой физиономией, которую большой нос “картошкой” делал бы простоватой, свойской, если бы не тонкие губы и небольшие, прячущиеся в прищуре бойкие глаза, в их взгляде можно уловить немалый житейский опыт и жесткость.

У младшего, под стать телу, лицо мясистое, оплывающее, фамильный картофельный нос здесь как нельзя кстати подходит толстым губам, заплывающим глазам, взгляд

которых, однако, цепок и нагловат в своей прямолинейности.

— Ты учти, что у меня четыре дня осталось. Отпуска-то. За свой счет, да и те еле выколотил... “по семейным причинам”. А ты говоришь, мол, еще и летом вырваться, — сказал старший, — на работе — объект разведывать. Еще и командировочные, — он хохотнул на слове “объект” и повел рукою вокруг себя подчеркнуто-театральным жестом. — Приро-ода!

Младший хмурился каким-то собственным мыслям и молчал.

За плечами у каждого простенькие двустволки шестнадцатого калибра, такие и терять не жалко. У того, что моложе, — здесь ни стесняться, ни опасаться уже некого — из-за голенища торчит “вкладыш”\*.

— Мне тоже — не очень-то удержишься, каждая скотина завистливая норовит ножку подставить. А намекнешь, что в долю возьму, мол, чем деньги в землю зарывать. И хочется и колется, бляха. Чистенькими хочется остаться... Обидно: за экспедицию четыреста шкур спустили гнить, а начальникек трухнул сбить их... делов-то, тьфу! — он сплюнул смачно и зло.

— Не вышло со шкурами?

— Вышло, да мало. Словам красивым все научились... “пли-рода-а”! И егерь что-то косится, — бормоча, он снял ружье, переломил его на луке седла, достал и вставил в правый ствол “вкладыш”.

Пегая собака, всем, кроме масти, похожая на овчарку, только посуше и полегче на ходу, при этом жесте хозяина и клацаньи закрывающихся стволов оживилась, мотнула хвостом и скрылась в перелеске.

— Ты ж с ним в друзьях, говоришь, был, с егерем?

Младший промолчал, доставая сигарету. Сидел на лошади он тяжело, двигался порой так, что мерин под ним покачивался и сбивал ногу. Тогда седок хватался за луку и злобно дергал повод, отчего лошадь еще больше сбивалась на шаг, седок в седле мотался тряпичной куклой и ругался.

---

\* «Вкладыш» — вставной нарезной, от винтовки или саморасточенный стул, употребляемый браконьерами.

— Сколько лет на своей станции, а к лошадям так и не привык? Вроде, каждое лето в экспедиции... не пешком же ты своих чумных сурков отлавливаешь?

— Не привык никак. Тяжеловат слишком... да и боюсь их, признаюсь, лошадей этих. Не люблю. И каждое лето вот так маешься, с мозолями на заднице домой...

— Валентина-то терпит? — хмыкнул старший.

— Куда денется, лето без мужика. Наскучается пооди! Зато и худею за сезон. И в карман потом не стыдно залезть.

— Да-а, жирку бы посбавить не мешало, зимняя водка не в прок тебе.

— А без нее — что зимой в конторе нашей... чумные противочумники. И егерь еще не пьет, зануда. Ха!., зайцев, говорит, не стреляй.

— Ты его о маралах не спрашивал?

— Наводить, что ли? И так, говорю, косится, обирючел здесь, ничего ему не надо... Да я и без него по прошлому сезону тропы знаю. Отары еще не пришли сюда, пантач не должен высоко подняться.

— Одного-то не больно жирно на двоих...

— Найдем и двух. Должны быть. Пальма, она найде-от! Мне Гарик нахваливал ее. Лишь бы навела... я сейчас и за двести метров возьму.

— Да-а, вкладыш ты добыл знатный. Давай-ка... здесь ножками пройдем, оно надежней будет...

Тропа круто ныряла вниз и вилась по буроватому склону, истоптанному скотом еще допрежде. Оба охотника спешили, осторожно начали спускаться, ведя лошадей в поводу. Лошади были привычные к таким дорогам и к таким ездокам, этих коняг не однажды отдавали хозяева напрокат за чай или еще какую надобность наезжим промысловикам или рабочим экспедиций. Привычные и равнодушные ко всему, кроме травы и зерна.

На противоположном склоне этого межгорья виднелось и продолжение тропы. Так же отвесно, как спускалась вниз, тропа там поднималась и терялась за хребтом в елях. Собака, темпераментный выродок лайки, очень довольная волей, сновала от лошадей в лес, пропадала, снова молча появлялась — чтобы только убедиться, в каком направлении едут всадники, и вновь исчезала в подлеске и елках.

— Встретиться здесь никто не может? — старший все время оглядывался по сторонам, он и вообще был подвижней мешковатого брата своего.

А тот шел угрюмо, сбывчившись, не глядя по сторонам, однако, кажется, примечая все, и шел — неожиданно по своей комплекции легко. Братья оба были неплохими ходоками, им пешком явно было привычнее и надежнее, нежели верхами.

— Никого не должно в это время. Разве что такие же... “изыскатели”, вроде нас, ха, — хмыкнул, довольный собой. — А на таких у меня чистые акты всегда при себе!

— А егерь?

— Не собирался. Да и что у него — вертолетами их, слава аллаху, не снабжают, такая ж лошадь... А гор у одного под дозором — эвон сколько... их здесь и пятеро затеряются, в год не сыщешь.

Между тем пошли более короткие, более крутые щели, тропа вовсе сузилась, и промышленники теперь ехали друг за дружкой. А собака все большие окружья обегала, все ширила круги, в центре которых оставались седоки. “Ищи, Пальма, ищи, взять его...” — поощрял грузный всадник собаку, когда она приближалась. Впрочем, было видно, что подогреть ее и ни к чему: сама возбуждена запахами.

— Мне все кажется, — пробормотал старший, привставая на стременах и озираясь, — кажется все, что следит кто-то... вот не вижу, не слышу, а чувство какое-то дурацкое есть. Вдруг волк подстерегает?..

— Кого там подстерегает. А хорошо сделал бы, если б шел по следу. Глядишь, поживится. Ты не бери в голову — мы здесь самые страшные звери! Нет дураков на нас нападать. Волки да могильники нам друзья сейчас: в ночь и следа нашего не оставят, если повезет, конечно... тьфу-тьфу — не к тому будь сказано, — младший улыбается своим мыслям и стегает зачем-то лошадь.

— На волка многое свалить можно, братишка, — чуть погода добавляет он. — Вот, коли время останется, мы еще одно местечко проверим: может, логово то и жилым окажется. Стоп!.. — он натянул поводья и поднял руку. — Сейчас тихо! Ти..

Снизу донесся приглушенный лай. Сперва отдельный, словно бы и неуверенный. Затем — все подробнее, вот уже почти с переходом на визг.

“Быстрее”, — сразу перешел на шепот младший, мешковато спешиваясь. И на земле становится подвижнее спутника.

Наскоро и точно вяжет поводья обеих лошадей. Вставляет патроны и щелкает замками курков. “Картечью заряди” — “Да знаю!” — “К тому разрезу беги, никуда больше не пойдет.” — “Откуда зна...” — “Ш-ш! Я вниз. Жди, пока не позову, да не мажь, если...”

Грузный охотник бежит по отщелку. Шипичка и трава цепляют за ноги. Ноги подвертываются на кочкарнике. Метров сто пятьдесят торопливо, наклоняясь и цепляясь одной рукой за траву, карабкается на взгорок. Так, неслышным зверем на трех опорах споро поднимается он. Ружье сжато в цевье левой рукой. Падая, он держит ружье на весу и вновь, цепляясь и стелясь, поднимается выше. Добирается, наконец, наверх, на взлобок холма — прислушивается, притушая зубами дыхание. Дышится трудно. По лицу и спине льется пот, ему хочется громко и свободно схаркнуть горячий клубок в легких, но промышленник лишь судорожно сглатывает и глубже вдыхает воздух. Даже ладонь с ружьем взмокла, приходится перебросить ружье в другую руку, наскоро потерять о штанину скользкую ладонь.

Лай — теперь уже вовсе откровенный и призывно-заливистый — подпрыгивает снизу, подстегивает, зовет.

Охотник почти перескакивает еще один взгорок. Почти на задую юзит вниз по траве. К редким кустам. Во-от!..

Крупный олень с малоразвитыми еще весенними — в бархате! — рогами стоит над небольшим ручейком.

Молодые рога оленя кажутся хрупкими и невесомыми — так массивна голова его, высока шея с темной гривой, широк круп и мощно тело на высоких ногах. Молодые рога его ржавеют в приглушенном вечернем свете, держит он рога свои бережно, высоко и недосягаемо для собаки, на которую олень презрительно косит глазом.

Пальма остервенело мечется вокруг, сторожа уход марала, но и оберегаясь, однако, подсакивать близко.

Неподвижность марала полна силы и очень динамична, кажется — он лишь задержался посмотреть и сейчас уйдет прочь, вместе с ручьем уйдет, вместе с облаком над ним. Собака уже надоела ему. И он делает спокойный широкий шаг...

“Стой, не уйдешь”, — шепуршит мысль в голове за кустом, не может услышать эту шероховатую мысль пантач.

И громом гремит выстрел. Грохот его кажется еще страшнее и жестче от неуместности здесь — среди тишины и благолепия, не очень-то и нарушенных лаем.

Грохот выстрела ревет по хребту и бурым скалам старых обвалов, прыгает по валунам убегающей речушки, поднимает в воздух синичку-трясогузку, катится — остывая — от щели к щели, от елки к елке.

Тихий треск кустов под упавшим на широком спокойном шагу оленем слышит только собака.

Человек подкатывается к маралу, которого еще бьют судороги, но глаза которого уже подернулись пеплом.

Человек ткнул животное сапогом, деловито вытащил нож, отворил выгнутое горло оленя. И бросается рядом на землю, косясь на толчки крови, увлажняющей траву.

Пальма слизывает струйку крови, вытекшей из-под закушенного языка пантача...

Старший брат вскоре подходит на зов.

— Топорик, конечно, забыл прихватить? Ладно, вырублю ножом, покури пока, — младший глубоко и с наслаждением затягивается дымом.

Начинает смеркаться, тени под деревьями темнеют, становятся лиловыми. На лице у стрелка расплывается ленивое спокойствие, щеки маслянисто круглятся и наплывают на подбородок, глаза прячутся в расслабленных веках. И собака с ним рядом отбрасывается сыто на бок, прикрывает глаза. На рыжеватом круглом брюхе оленя лежит ружье.

Лишь вновь подошедший топчется, явно ощущая себя чужим здесь, тревожно озирается, поднимает лицо к небу.

Там, в небе высоко парит птица.

— Гриф, — поднимает голову и сидящий. — Да не менжуйся ты — никого не будет. Сейчас сам вырублю, с пантами осторожно надо — лекарство ведь...

— Так все просто: один патрон и ... центнера четыре лежат падлом. А жило же, любило!

— И тыщи полторы лежит — не мясо, а вот эти рожки, — усмехается стрелок. — Искать да лазать за ним трудно, а шлепнуть — чего проще. На то нам, человекам, и умишко послан. А ты говоришь — волк! Да-а... что ж — егерь, он здесь один... а нарываться на него не резон. Из принципа, гад, прижмет, и прав будет. Один он здесь, понимаешь, Генка... штрафом ведь за рогача не отделаешься...

— Ты многому по лесам-горам научился, братишка, но именами-то не больно разбрасывайся, — старший вновь озирается в темнеющий на глазах лес. — Не в такси на концерт едем, мне репутация дороже твоих рожек досталась... Иванов да Сидоров — все званья наши...

— А-а... репутация, были б тугрики. Не менжуйся! Все на этом свете у человекав покупается. Да и потом, думаю, тоже! Да-а, один он здесь... не попадаться бы ему, — охотник резко встал, достал нож. Подобрал у ручья круглый голыш. И, опустившись на оба колена, пристроился вырубать бархатистые, в молодой замше, рога. — Ты пока вот окорока отрежь. Пальме на дорогу, да нам подкрепиться. Печень бы неплохо достать, да возиться не хочется, устал. А тебе не в привычку... — он говорит и споро делает дело свое: череп оленя уже обезображен чернеющей мокрой дырой.

— Не стрелять же нам в него, — бормотнул худой, передергивая плечами при взгляде на вымазанные руки брата.

— Кто знает... кто узнает... один он здесь. Горы здесь.

— Здесь... здесь тебе видней, ты проводник. Только и риск зряшный ни к чему — у меня дети, не забывай.

— Ладно, для детей и стараемся, — бурчит грузный младший брат, наклоняется к ручью, чтобы обмыть руки. — Здесь уж иди, куда веду. Коль попал. И давай сворачиваться, еще лошади не ушли бы.

Он выпрямляется, потягивается, обтирает мокрые руки о штаны.

— Эвон волкам стерва сколько, — махнул рукой на тушу. — Порезвятся ночью...

Волк-отец и в самом деле шел за ними.

Сейчас ему была нужна любая добыча, и матерый часами кружил лесом, косогорами, пересекал щели, лежал у сурчиных нор. И ничего не попадалось, бывает и так.

На одном из кругов своего поиска волк учуял чужой запах, а позже разглядел с холма и охотников. Находился он с подветренной стороны и достаточно далеко, собака его не чуяла. Ничто ему не угрожало, это зверь знал. Еще в прошлом году, вот так же услышал невдалеке выстрел, но пропустил спешащего человека, а потом осторожно зашел ему в след и набрел на теплого еще оленя. Матерый воспользовался им тогда, взрослого оленя они и стаей-то берут при большой удаче...

На этот раз грифы кружили над тем недалгим местом, откуда до волка донесся выстрел. И он заторопился, потому что грифы, которые служили ему компасом, ждать не станут. После них и клочка шкуры не останется.

Матерый пробежал в ту сторону, покружил немного и взобрался на возвышение, ловя носом запахи, которые приносило слабое вечернее дуновение.

Пахло травами, на которые уже пала роса. Пахло перемешанными ароматами влажной зелени хвои с нагретой за день хвоей сухой, осыпавшейся. Сухой жар остывающих камней и острота лежалого птичьего помета. Вот терпко и пряно пахнул арчевник. Сладковатый першащий запах крови и пороха.

Но матерый ждал другого запаха. Он тенью перебежал на новый пригорок. Вот: режущий горло запах дыма смешался с вонью горелого мяса и человеческих испарений. Оттуда же шел дух высыхающей влажной собачьей шерсти, конского пота. Далеко от того места, где на верхушках елей раздраженно каркали вороны, волк заметил блики — там был очаг людей.

Теперь он уже спокойно и ровно понесся к месту, где надеялся найти ужин волчатам и их матери, ожидающим его в логове. Было бы неплохо наесться всей семье...

Несколько черных птиц с тяжелыми крыльями, волочащимися по земле, светлели головами возле туши марала.



Они поочередно наклонялись, рвали мясо клювами будто клещами. Здесь же скромно тянулась мордой лисица с разномастными клочковатыми впалыми боками, у нее почти касались земли сосцы. Наверху, ожидая очереди, волновались вороны, нервно потрескивали сороки. Это хорошо: при опасности сороки поднимут такой треск, что мудрено попасться врасплох. При подходе матерого лиса шмыгнула в кусты, но чувствовалось, что она недалеко и надеется еще урвать свой кусок. Пусть надеется. У нее сейчас тоже дети.

Грифы грузно отскочили на несколько шагов. Волк принялся за уже раскрытый грифами желудок. Два могильника подобрались к морде оленя, не обратив внимания на угрожающее бурчание матерого. Они признавали его права, но не забывали своих. Связываться с птицами волк не стал.

Матерый выдрал печень, утащил ее метров за двадцать под елку, закопал в мягкой прошлогодней хвое, для верности задними лапами набросал сверху моха и шишек. Пометил место струей и вернулся, чтобы насытиться самому.

Наглотавшись еще не остывших кусков мяса, отец-матерый медленно побежал домой...

Когда он с тремя сыновьями и дочерью вернулся под утро к туше, здесь пировали вороны, другая лисица и два малютки-горностаи, которые так дружно-яростно скалились на лисицу, что она отбежала на другой конец маральных остатков. Довольные волки почти ничего не оставили после себя, лишь вороны да сороки могли чем-нибудь поживиться. Матерого даже не очень огорчила пропажа зарытой печени, которую по всем признакам растащили все те же горностаи. Впрочем, какая-то лисица здесь тоже топталась, но в ней больше страха, чем в мелких юрких зубастиках с черно-белыми хвостами.

К логову они подошли, когда солнце уже стояло высоко. Поэтому пришлось несколько раз обежать вокруг, прежде чем нырнуть в родной отщелок. Зато какими радостными щипками головастых детишек вознагражден был лобастый волк за ночные свои старания!..

Счастье просто улыбалось семье отца-матерого.

... А В СОСЕДНЕЙ щели счастье было под угрозой.

Ранним-ранним утром, когда дрожащий воздух покалывал дымкой поднимающегося тумана, в котором танцевали зайчики далеких солнечных лучей, мать-олениха наслаждалась беззаботными прыжками своего юнца и медленно пережевывала влажные от росы стебельки кипрея...

Тоненькие ножки олененка уже уверенно пружинили в почти невесомых прикосновениях к земле. Казалось, он — легкий, стремительный, соразмерный — летит над орошенными предутренней дымкой цветами. Все доставляло ему безоглядную радость: лиловый цветок, белая капустаница, низко пролетающий пестро-серый дрозд, шаловливые тычки сестренки. В его глазах, таких бархатистых и наивных, попеременно отражались все краски этого хрустального утра. Голубые, алые, лиловые, золотые, изумрудные. Отражались, блестели, переливались оттенками... и — тонули в глубине черно-фиолетовых глаз, еще не познавших ни испуга, ни грусти.

Солнце поднимается все выше, растапливая утреннее марево. И маралуха уводит детей в свое дневное затишье.

... Большая, лохматая, со свалывшейся буро-черной шерстью собака набрела на укрытие маралухи. Собака была бродячая и голодная. Такие изгои очень цепко держатся за жизнь. Опасаясь всего и ничего не боясь, они подстерегут отбившуюся к вечеру овцу, прирежут ее, а через час будут вертеться у юрты в ожидании отбросов. Этой собаке не везло несколько дней, а охранять ей было нечего и ждать куска не от кого: ее выбросили еще щенком, но она выжила. Она была голодна, а голод ослепляет и делает бродягу опасным. Голодный волк не решился бы напасть на маралуху с детенышем, но у пса не было сомнений и опыта поколений волков, песьи предки выжили рядом с людьми. Перед голодным псом открывалась живая еда, которую нужно было лишь отбить, так принято в своре.

Мать вжала детей в низкие пружинящие лапы ели, отбивая терпеливые атаки пса. Собака была увертлива, а маралухе в щели негде было развернуться и страх не давал ей отойти от оленят.

И неизвестно, чем бы кончились все более остервенелые наскоки, если бы не... испуг сестры, да еще, наверное, и — судьба, оберегающая будущего Благородного к его последней встрече с Серым Вожаком. Та самая судьба-предназначение, что позже не раз охраняла и Серого Вожака от многих опасностей для последней встречи с тем Проводником, который еще не однажды пройдет по этим горам в охоте за молодыми рогами-пантами и станет виновником первой встречи олененка и волчонка еще в младенчестве, и другой встречи... Но это все — позже, хотя младенчество лесных детей уходит быстро.

А пока, что бы там не было — судьба или случай, но рядом с дрожащим материнской тревогой и ничего не понимающим олененком его сестренка от ужаса теряет над собой власть. И вырывается из-под оберегающего материнского бока. И несется вверх, напролом через кусты.

И собака понеслась следом, довольно повизгивая. За ней, молоденькой самочкой, обреченной на самостоятельное спасение и самостоятельную отныне жизнь. Закланной, потому что маралуха предпочла маленького. Чем закончилась эта погоня — кто знает, но олененок больше никогда не встретился с этой сестренкой.

А мать-маралуха уводит сына в противоположную сторону, без тропы и без сознания, одним грохочущим инстинктом — скрыть, уберечь малыша, своего первого сына.

## VI

НЕСМОТРЯ на усталость после ночных побегов, отец-волк терпеливо и благодушно сносил озорство своих насытившихся чад.

А они — всем гуртом — напали на беззащитного в своей любви папашу. Эти головастики хватили лобастого волчину за нос и за губы, норовили прокусить подушки лап, которыми прикрывал морду, рвали жесткую шерсть старательно и всерьез. Ничто, казалось, не могло замутить главе семейства радости общения, счастье, казалось, прочно улыбалось его выводку.

Однако отец-матерый обманулся в своем счастье.

В этом году ему не пришлось провести волчат по охотничьей тропе. Не пришлось дожидаться новых детей: через

полгода, ранней зимой, он упал над только что пойманным зайцем, под близкой вспышкой огня. Лишь одному щенку повезло быть всегда сытым, все свое короткое детство — может быть, именно ему перешла часть отцовской угрюмости, за которой скрывалась заботливая любовь...

Матерый рано порадовался счастью. Но никому не дано знать тропы, по которой идет он к судьбе. Быть может, матерый чувствовал это и потому отдавался минутам игры с детьми, отдавая им себя на растерзание.

На следующий день, когда никого взрослых, кроме волчицы не было, в отщелок спустились люди, ведя под уздцы упирающихся лошадей. Мать услышала не их: напряженно, с подвываниями, лаяла собака, лай срывался на скулеж, и она жалась к ногам людей.

Волчица успела выхватить из кучи ничего не подозревавших кутят одного. Самого медлительного. Самого слабого и потому чаще других требующего ее внимания и помощи у сосцов. Как ни странно, он оказался — на беду ее — и самым тяжелым, может быть, — она успела бы унести и еще одного... Но щенку тому предстояло еще долго жить.

— ... Где-то здесь. Ищи, Пальма, взять... ф-фас их!

Тот, что повыше, держал наперевес ружье, шелкнули взведенные курки. Младший брат обернулся к нему.

— Зря беспокоишься, не будет волк их защищать. И волчица — не будет. Идти за тобой будут, надеяться будут, что выронишь или оставишь... а защищать — не-ет! Волки: у них и законы волчи...

Она, действительно, не бросилась к своим горячим выкорышам на помощь, хотя вернулась и видела логово сверху. Она видела, как вытаскивали по одному ее детей, как — несмышлениши ведь еще — царапали они, кусали чужие лапы, как беспомощно и молча барахтались в этих лапах. Слышала раздраженные голоса, повторяющие одинаковые трескучие звуки, когда кутята — ее дети! — впились иголками зубов. Видела, как ударяли их крупными головами об один и тот же валун, что издавна порос мхом рядом с корневищем логова.

Она видела и ничем не могла помочь им: инстинкт, новый могучий инстинкт, привитый теми же людьми, повелевал ей сохранить себя во имя более верного, более

надежного сохранения и продолжения их гордого, сильного рода... Она знала, что тот же инстинкт-табу на человека отбросил бы от логова и ее друга, их отца, будь он здесь. Жить. Жить во имя того малыша, которого она успела отнести недалеко и которого надо успеть упрятать в новом надежном месте... Жить во имя тех волчат, которых родит она на следующий год.

Но и уйти волчица не могла, ждала чуда. Жить и ждать. Нет, ждать и — жить!..

— ...Со вторым пантачом не повезло, хоть здесь доброе дело сделать, м-мать твою, — говорил худой, ударяя за-хлебывающегося волчонка о камень.

— Слушай, старшой... а-а гаденыш, еще кусается!.. — слушай, я возьму, пожалуй, одного живьем.

— Зачем он тебе — все равно, говорят, не приручишь. Да и овсянку он жрать не будет, ему — кха-ак, вот так-то! — ему мясо подавай. Не зря ж за них премии дают.

— Пусть вырастет, с Пальмой погуляет. Никакой зверь тогда не скроется — ты вперед смотри, то охота будет!

— Как хочешь, а только зря полсотнями разбрасываешься.

— Тридцать за щенка... Небось на сурке наверстаю, и еще пантач не уйдет.

— Не шелуши языком зряшно, — Старший оглянулся, сплюнул, складывая в промокающий на глазах мешок мертвых волчат. — Своего бы егеря сюда... Места здесь богатые. И кабан есть?

— Навалом. А мы за лето что-нибудь придумаем, пока здесь с экспедицией. Письмишко там... народ организуем, да шкуру-другую найдем. Придумаем... Одному бы можно лапы переломать да оставить, мамочку с папочкой их дожидаться... Да место бойкое, с нашим грузом палить не резон.

— И времени нет здесь валандаться. Бросай звереныша в мешок, ничего ему не сделается, злее будет!

— А сюда они больше не придут...

Волчица слышит жалобы живого волчонка в мешке за плечами грузного охотника и идет за ними. Идет у них над головами, почти след в след, не думая, что может быть увидана. Впрочем, внутренняя осторожность срабатывала

сама: волчица скользит неслышным дневным призраком, сливаясь с кустами, камнем, травой, с собственной тенью. Сосцы ее набухают, саднят на такой жаре невысосанными, сердце колотится и щемит. Мать-волчица долго еще смотрит в ту сторону, куда увезли ее детей люди, неловко вскарабкавшиеся на лошадей. Она не забыла про своего оставленного в углублении под кустом любимца, но он сейчас в безопасности. А тех других — остальных, всех! — уносит навсегда человек. Она стоит, худая и понурая, набухшие сосцы висят почти до земли и качаются от неровного дыхания. Потом она поворачивает назад.

Так и остается волчонок у матери один.

## VII

... ДА, ЖИЗНЬ бывает жестока: природа частенько проверяет детей своих на прочность и на красоту. Она словно специально подстерегает твои слабости и ставит ловушки, чтобы убедиться в твоём праве на нее и развить желание, и силу — жить дальше... Волчонку, похожему на отца своей лобастостью, еще предстояло испытание: застарелый капкан у сурчиной норы сомкнет свои челюсти на передней лапе подростка-переварка, и ему придется лишиться двух пальцев. Мать поможет ему зализать рану; а этот небольшой порок — словно предупреждение об опасности, еще неспособное ослабить — сделает походку волка валкой и разовьет мышцы, привьет гордое умение не отставать от соплеменников и осторожность, даст чутье опасности и чужих запахов. Много уроков примет из беды сильный зверь — если он силен...

А жизнь полна привратностей, совпадений, кажущихся случайностью, но и утрата несет в себе доброту — если открыться ее состраданию... Но жизнь и шаловлива, жизнь иронична. И жизнь прекрасна: прежде всего тем, что она — самотечна. Плохое сменяется хорошим, время стирает время, жизнь движется и движет, и приносит то, что она должна принести. Именно тебе. Именно — твое.

А пока мать-волчица подняла единственного теперь детеныша по той знакомой ей трещине в почти отвесной стене над водопадом бурлящей горной речки, к которой припадали оба отщелка и над которой так недавно давал

отец-матерый выход своему торжеству, законному своему праву Продолжателя.

И другая мать привела олененка по той же, знакомой и ей осыпающейся розово-каменной трещине.

Водопад гудел своими заботами; река хлопала перекачиваемыми валунами; всплескивали в реке рыба-форель и рыба-осман, пытаясь взлететь по водопадной струе: солнце светило всем, никого не выделяя и никого не судя...

Они встретились — волчонок и олененок.

Однажды, когда волчица ушла с матерым на охоту, лобастый круглый щенок — которому теперь с избытком хватало молока и мяса и который все еще поскуливал, вспоминая недавнюю толчею возле материнских сосцов, — этот нескладеньш-щенок вылез из-под-камня-из-темноты-мрака, скуки-одиочества. Он обманул не очень настойчивую бдительность молоденькой тетки, или кем там она волчонку приходится. Обманул и очень осторожно, очень беззаботно пустился за черно-рыжей бабочкой, вначале напугавшей его своим полетом.

... Олененок исчез из-под бдительного ока маменьки, не видящей никакой опасности на плавном волнистом плоскогорье с высокой, ветром колеблемой травой. Олененок тоже заметил большую черно-рыжую бабочку, которой как раз и не хватало, чтобы придать смысл прыжкам.

Бабочка была райской. День был райский. Настроение было райское. И хотя оба детеныша уже в полной мере познали испуг, хотя страх тек в их крови из артерий их многочисленных предков как способ уберечься и сохраниться, — колеблющемуся розовому чуду было дано свершиться. Райская черно-рыжая бабочка пролетела между волчонком и олененком.

На полном скачке затормозил олененок всеми четырьмя копытцами да так и остался стоять, выставив вперед прямые тонкие, стройные ножки, расставив их и склонив вопросительно мордочку с замшевыми настороженными ушами.

На полном бегу прилег, вжался в землю волчонок, прижимая треугольники ушей к лобастой, все тело перевешивающей голове, и прикрыл вздернутые раскосые глаза.

Они осматривали друг друга: матово-фиолетовые глубокие очи с уже просыпающейся тысячелетней грустной мудростью покоя и коричневые с круглым черным зрачком острые глаза, вобравшие в себя весь ужас и всю гордость силы тех же тысячелетий.

Они обнюхивали друг друга: от обоих еще пахло материнским молоком.

Стоял июнь — кто, скажите мне, враждует, кто угрожает и кто пугается в июне, в жаркий багряный трепещущий полдень?..

Осмыслив всю невинность встречи, помчался по кругу олененок, приглашая нового приятеля порезвиться.

Принимая всю безопасность и веселье встречи, помчался за олененком волчонок.

Они менялись местами, увертывались от шутливых наскоков, гонялись все за той же или за другой бабочкой, смеялись солнечным искрам, которые прыгали в глаза и своим пестрым танцем гасили злобу: детеныши были довольны собой и друг другом, разноцветьем приминаемых трав, учащенностью возбужденно-беззаботного дыхания и веселому потоку крови в горячих телах...

Волчонок еще почти ничем не напоминал будущего Серого Вожака: лапы были толсты и расхлябаны и, пока подводили хозяина, цеплялись друг за друга и заставляли кувыркаться, а лобастая голова все время перетягивала и мешала — шейка для нее была слишком слаба, а силенки в озорном возбуждении убывали слишком быстро. Олененок же и тогда был уже законченным, стройно-стремительным, только младенческие пятна на мягкой шкурке, подростковая хрупкость да отсутствие рогов-короны ждало завершения всего, чем можно было позже восхищаться во взрослом марале, в Благородном.

Они встретились. Они были дети. И — играли. Это было неестественно, однако они еще этого не знали: им было весело, радостно, дружно и счастливо. Так есть сегодня... Так было... еще сегодня. Что ж, завтра... оно придет — это завтра. И все же сегодня этого танца и веселья, и безмятежности никто не перечеркнет. Конечно, оно придет со своими заботами — завтра. Но ведь “завтра” — это другое, и мы — уже совсем-вовсе в нем — другие...



И блажен ты, если память о сегодня — “вчера” хоть немного задерживается, да и как памяти не задержаться! Они встретились. Рай, существующий до появления Адама, рай — им разрушенный и нарушаемый — казалось, готов обрести прежние силуэты в детской игре. Обрести в дрожащем розово-голубом мареве июньского горного полдня.

Как совместить: счастье и недоверие, счастье и страх, счастье и угрозу? Какой опыт, какой опыт опытов и обновленных ошибок самоутверждения помогут избыть недоверие, страх и угрозу?.. Не жизни и смерти, нет: они гармоничны и естественны, как увядание и усталость. А только — счастья, где тот опыт, когда утрачен? Память, память, ее хранят даже камни и травы — память, так нужная человеку, чтобы не стать их врагом — вот этих резвящихся детенышей, того грохочущего водопада, тех медленных облаков, часть которых — он сам...

Несутся безоглядно олененок с волчонком за бабочкой, а вот и маралуха учуяла, узнала, увидела их, играющих. Ее опыт, опыт матери и опыт матерей-матерей не допускал подобной игры, не оставлял ничего, кроме страха и ярости за этот страх.

Мато-олениха затоптала бы малыша-волчонка, если бы не появилась встревоженная волчица. Кто знает, быть может, она затоптала бы и волчицу, если бы ее сын, ее надежда и ее страх, не ткнулся в ее набухшее вымя.

И кто знает, может быть, мать-волчица, увернувшись, подрезала бы сухожилие оленухе, а потом зарезала бы олененка, если бы ее сын - ее гордость и ее боль — не ткнулся бы беззаботно в ее сосцы...

Стоял июнь — кто, скажите мне, — враждует, кто угрожает, кто пугается в июне, в жаркий, багряный трепещущий полдень, когда истомой течет белое живое молоко и когда дети приникают к сосцам?!

... Они разошлись — волчонок и олененок, никогда больше не повторившие своей игры. Много еще иных встреч, опасных и радостных, придется им пережить врозь, прежде чем состоится их последняя, так печально непохожая на первую, встреча, на которой заматеревший Серый Вожак

поет свой темно-зеленый вой у неподвижной короны Благородного.

\*\*\*

ПРИШЛА первая их осень: с туманами и серыми дождями, с пожухлой травой и струящимися сыростью скалами, с градом и неожиданным громом, рычащим в трещинах гор, которые в ответ глухо вздыхают бурными осыпями.

Пришла осень: с тревожащими непонятно-сокровенные, сладкие чувства вздохами и хрипами, с угрожающим, гулким, зовущим криком страстных разъяренных Повелителей, к которым уходила мать-маралуха. Осень: с одиночеством, с грустью и удивлением перед такой полнотой и непознанностью, и таким разнообразием жизни. И перед таким ярким ее усыпанием. Медленно опадали последние листья на плечи юному маралу, и только ели все так же чернеют влажной хвоей...

За осень — мягкая, пушистая зима, вкрадчивая и опасная своими ловушками, внезапными снегопадами и голодом. Но как раз зимой узнал волчонок силу своих челюстей, и пришлось напрягать волю, чтобы побороть хромоту и не отстать от матери-волчицы, старших братьев, с которыми пришел волчонок в зимнюю стаю. А олененку потребовалась вся быстрота его ног, вся унаследованная ловкость и чувство тропы, чтобы избежать тех волчьих челюстей. Но они росли. И каждое преследование делало их сильнее, каждая удача — красивее, каждая обида — горделивее, каждое внимание — осторожнее; а кровь в жилах — несла свою мудрость, и племя диктовало каждому свои законы.

... Бежит, спешит, стремится куда-то одновременно-многоцветная вода в бурливой горной речке, возле которой родились и выросли волчонок и олененок. Возле которой превращались они в волка и марала.

Гудит и ревет Черная речка, унося весною валуны и упавшие стволы. Волнуется и урчит Красная речка летом, смытая принимаемыми в себя ручьями глину с отгорков; мельчая порой, шепчет невнятным призрачным языком в жаркие дни. Прыгает и захлебывается Буро-серая речка, испятнанная желто-красными листьями, фиолетовыми ягодами,

простроченная рыже-зелеными иглами — осенью. Журчит и булькает, и чревоугодит под бело-зелено-оражево-голубым панцирем льда перекатная Ледяная речка — зимой.

И всегда — всегда-навсегда — поит она всех, наклоняющихся к ней. И всегда — изменялась сама — показывает она, как идет время: вот наклонился ты утолить жажду и видишь не того головастого разлапистого смеющегося щенка, а широкогрудого, с седоватым воротником, пружинисто-валкого в походке и сурового Первого волка, Серого Вожака; и не того рыже-пятнистого, гололобого, удивленно-восторженного сосунка, но — стоит на стремительных сухо-мускулистых ногах серебристо-бурый, с тяжелой короной и темной гривой, спокойно-одинокий марал, Благородный олень.

Бежит, торопится куда-то всех принимающая, всех утешающая, всех примиряющая бурная горячая речка.

Туда: в верховья ее, в трепетный разряженный воздух, в голые нежные, хрупкие просторы льдистых арчевников и серебряных эддельвейсов, среди которых нарождалась их речка, — туда стал уходить с третьего своего лета Благородный, как только появились у него рога. Там сберегал он молодые кроветворные свои панты от насекомых и других охотников за ними, и спускался вниз лишь к осени, когда нежные побеги на лбу окаменеют и станут короной, и оружием. Туда изредка добирался и Серый Вожак в надежде утолить голод, и ловил иногда рассеянного улара или случайного молоденького тека.

Там — в высоком студеном воздухе — была речка совсем такая, какими они были внизу, в детстве: речка-волчонок, речка-оленок.

## VIII

... ОНИ встретились и в тот раз, когда возмужавший волчонок был еще просто Лобаном и впервые попытался найти себе подругу. Это случилось на третью зиму. Он, будущий Серый Вожак, немного позже признанный грозой и мудростью окрестных гор, проиграл первый бой за любовь.

Да, им обоим предстояло еще пройти и через это: любовь завоевывается трудной и дорогой ценой. Ибо любовь — это

Продолжение... И каждому надо подняться до любви, чтобы никогда не рухнул род его и не закаменел в ненависти.

Это было на третью зиму, наверное, в этом же году, хотя у него и появилась уже корона, подобная неприятность случилась и с Благородным. Во всяком случае, именно той осенью он стал жить на своем утесе, когда остальные его сородичи ревели, дрались и гонялись друг за другом ниже, сбивая свои брачные гаремы.

Зато молодой марал не потерял свою растущую силу, да еще накопил ярости настолько, чтобы пойти на бывшего вожака волчьей стаи, окружившей Благородного. Волк помнит, как, в самый миг прыжка матерого убийцы, поднялся олень на дыбы, раздраженно закусив язык и упрямо наклонив могучую голову, с хрипом опустил оба передних копыта на сразу треснувший череп старого вожака, опоздавшего в прыжке.

Лобан запомнил тогда растерянность стаи, запомнил совсем невинного, случайно попавшего на пути Благородного, волчонка с разодранной грудью, отброшенного рогом. Запомнил, поднял и принял науку. Серый Вожак был, пожалуй, благодарен оленю за урок, да погибший старый волчара прежний вожак - не был достаточно умен, а глупость и власть делали его тираном стаи; а порой грозили и самому существованию — слишком часто старик решался нарушить табу на близлежащие отары...

Следующей зимой Лобан завоевал право на любовь.

И занял место Первого волка стаи — собрав ошибки собственные и погибшего старика в опыт, стал Вожаком. Его предшественник был силен и несколько лет вел стаю жестокой дорогой: сытость давалась порой легко, но стая редела от преследования. Старик мало беспокоился, что роду надо жить и завтра... Серый Вожак осторожностью и примером, силой и сбереженными жизнями своих сородичей научил волков Заботливой Свободе стаи. Успешному для них закону.

Каждый волк — от переярка до матерого — должен осознать и принять: любое его действие, где бы он ни был и в любое время года, что-то несет и остальным, что-то — утверждающее существование рода или перечеркивающее его.

Ты можешь, разумеется, отбить и зарезать овцу, можешь даже забраться в курятник или овчарню, перерезать

всех и нажраться... Но на всю жизнь не нажрешься, у желудка память короткая, и завтра он потребует снова. У тебя пока есть силы, чтобы скрыться от преследования, есть убежище, где спрятаться. Только надолго ли?.. Ненависть порождает ненависть, зло питает зло, цепляются друг за друга и ширят вокруг себя круги вражды, что рано или поздно захлестывают — их породившего. Да, ты сегодня избежал преследования, но вместо тебя под пулю или копыта попал другой: стая стала слабее, ей — и тебе, слышишь! — зимой не удастся взять достаточно добычи, кто-то еще неминуемо погибнет. А летом меньше родится детенышей в наших логовах, и они вырастут слабее, и страх будет преследовать их с рождения. Ослабнет и исчезнет род твой или выродится в шакалов... Тогда погибнешь и ты.

У тебя нет в природе врагов, есть — противники, соперники, на место которых ты должен уметь себя поставить: уважай их, ведь от их жизни зависит и твоя, и не считай их глупее себя. Ненависть худой помощник (она отрицает иные законы, кроме собственного), — нет ничего противнее природе, противоестественнее. Есть — необходимость, поэтому будь мудр и добр, даже убивая. Живи законом уважения к правам твоих противников на Продолжение и сохранение — и стая будет сильна, и ты — ты! — будешь силен и сыт вместе с ней...

Серый Вожак умел любить.

Он — волк — был однолюб. И та, которую он любил, любовь которой отвоевал он в непростой борьбе, укрепила его любовь к стае, потому что стая продолжала и поддерживала род.

... МОЛОДЕНЬКАЯ чепрачная волчица с немного тонковатой, как у лисы, мордашкой сидела у куста барбариса возле пробившейся из-под льда речки. Вздернутые уголки глаз и нервные ноздри придавали ей ласковое и хитрое выражение одновременно.

Рядом были трое волков, которых здесь Лобан прежде не видел. Двое из них — матери — лежали близко к волчице и пыжили шеи, третий вьюном вертелся меж всеми, не решаясь, впрочем, приблизиться к юной самочке.

Лобан подошел валкой походкой, упругий и приветливый, стараясь не обращать внимания на привздернутые в глухом бормотании губы матерых. Ему достаточно оказалось встретиться взглядом с юной волчицей, чтобы понять — вот оно, предназначение и обреченность! — чтобы вздрогнуть от единственности одного для другого.

Что бы там ни говорили, любовь — это молния, ударившая в дерево, а разве дерево выбирает молнию? Это обреченность и предрешенность. Она может состояться, а может, и нет, и тогда, хоть годами убеждай себя в необходимости, в удобстве, в терпении и привычке, любви не будет. Все остальное потом — уважение, долг, дружба: все меркнет в памяти, не освещенной молнией любви, так устроена природа — это ее путь к гармонии, ибо любовь — великое Продолжение...

А Серый Вожак встретился взглядом.

И дальше неважны уже были и ревнивое бормотание, и оскаленные белые клыки под вздернутыми в ненависти губами — соперники сразу ощутили их затрепетавшую близость. Для него важен стал этот куст барабариса с черно-лиловыми ягодами, под которыми улыбалась ему нежно-чепрачная волчица; важна была речка у нее за спиной, что бурлила и радовалась свободе, да и солнце, под которым они вырастят волчат.

Если... если он выигрывает этот бой с чужаками. Для них он вовсе не был первым волком, но соперником, и бой предстоял нелегкий... Он сохранял приветливость и не выказал напряженности, но был готов ко всему.

Здесь юная волчица, будто предвосхищая поражение его, вскочила и побежала над речкой. Остальным оставалось только следовать за ней. Они побежали: два чужака-матерых грузно и угрюмо рысили по бокам властительницы — насколько позволяла тропа и, пропустив волчицу на голову вперед, чуть сзади, след-в-след, валко плыл Серый Вожак, а уже за ним юлил переярок. И было непонятно, зачем он-то здесь, скорее всего, юнец был братом самочки. Лобан был благодарен ей за отсрочку: в беге можно было приглядеться к соперникам. Всей группой, соединенной лишь ревностью и ожиданием, они вынырнули на плато.

Мягкими полуволнами, вспененными терпким зеленым арчевником, плато стелилось меж двумя большими ущельями, которые впадали в его речку своими нервными ручьями. На этом плато жило много зайцев, они жили своей жизнью. Но волки смотрели только на подругу-властительницу, не обращая внимания на прыскающих в стороне косых, белые хвосты которых уже мелькали по стенам гребня над плато.

Солнце садилось. И длинные тени бегущих волков, мелькающих зайцев и чуть колеблющего арчевника завораживали еще одного, неподвижного и собранного в пружину, жителя этих мест.

Громадная рысь, с бело-серебристым телом, по которому чуть заметно проступали темные пятна, длиннее туловом, пожалуй, любого из матерых. Зверь напрягся, готовясь к прыжку в ближний куст арчи. Рыси бы пропустить не заметивших ее волков, и тогда наслаждаться охотой. Но самоуверенная и нетерпеливая кошка боялась упустить добычу: не выдержала и накрыла зайца, заверещавшего на все плато. Визг был хоть и не долгий, но разорвал морозный воздух острым трепетом последнего отчаяния.

Волчица повернула голову.

Нимало не сомневаясь, один из охранителей волчицы помчался к рыси.

Рысь присела: деревья рядом не было, а свежая добыча давала и подстегивала право на сопротивление.

Остальные волки стояли и смотрели. Они были сыты, или им было не до еды. И это была не стая — случайная группа, каждый в которой шел к одной цели разными путями. Тот чужой волк пошел противозаконным, путем ненависти, — за рысью оставалось право первого и голодного. И эта слепая ненависть, или острое желание выделиться среди претендентов, подвели чужака.

Самец-рысь подпрыгнул свечкой, пропуская несущегося врага, и выдрал по пути у него с лопатки лоскут шкуры. Когда ослепленный неудачей и яростью первой боли матерый развернулся, рысь опрокинулась на спину и приняла волка на все четыре когтистые лапы, каждая из которых почти вдвое была толще волчьих. Волк успел полоснуть ее,

и бакенбард рыси сразу залился кровью, а вместо глаза осталась до лба развалившаяся борозда. Жуткий вопль кошки раздался над сцепленными борцами, такой вопль-визг, что плавно кружившая ворона в панике взмыла и захлопала беспорядочно крыльями, уносясь прочь. А чужак-матерый отвалился и стал отползать от куцей свирепой кошки, на быстро пятнеющем снегу тянулись его внутренности.

Рысь перевернулась на лапы и, все так же вопя, помещалась неровными прыжками к небольшому камню-утесу, возвышавшемуся на плато. Ее никто не преследовал...

Но здесь, то ли возбужденный виденной схваткой и пряными сладковатыми запахами ярости, то ли просто — решив заодно покончить со вторым Соперником, другой чужак бросился на Серого Вожака. И сбил его, не ожидавшего нападения, с ног.

Молоденький волчонок, заскулив, растерянно жался в сторону волчицы.

Волчица не удивилась. И не воспротивилась — здесь ее власть кончалась. Она не могла выбирать, не могла вмешиваться: отцом ее детей должен стать сильнейший. Она могла лишь про себя желать победы одному из них.

И Серый Вожак всем существом почувствовал — кому, он ощутил эту поддержку. Но сил его соперника это не убавило, и он снова яростно и расчетливо набросился на Лобана, едва чепрачная самочка уселась поодаль. На этот раз Вожак встретил удар клыки-в-клыки, так что пошел скрежет...

Шерсть летит клочьями, все истоптано на пяточке их поединка. Хрипение учащает дыхание, а у Волка уже располосована лопатка. Они снова и снова сшибаются клыками, и чужак успеваает прихватить, прокусив, его верхнюю губу. Это невыносимо больно, гораздо большее кровотокащей лопатки, а чужак, не разжимая зубов, водит его по кругу, приближаясь к волчице. У Лобана в глазах навертываются слезы, он кружит и кружит, приволакивая лапы, но подчиняясь чужой воле. Он слабеет, ему кажется, что вернулась хромота от капкана, которую он давно преодолел.

Он замечает вдруг в глазах соперника победные искорки, они ехидны — чужак не торопится к новому маневру,



он наслаждается этим унижительным вождением противника по кругу боли. И это унижение острее самой боли...

Серый Вожак напрягается и изо всей силы дергает головой, губа его рвется, а враг, не ждавший такого поворота, отлетает в сторону. Не давая тому опомниться, бросается Вожак с силой, которой у него не было до битвы. Он почти подбрасывает противника, снова ловит за лапу, всем телом проворачивает так, что ощущает хруст. Он швыряет и катает чужака, не давая опомниться, но и не торопя развязку.

Вот чужак сумел еще раз подняться, шатаясь, но вместо того, чтобы броситься вновь, выгибает шею и подставляет яремную жилу.

Переярок снова заскулил. Блеснули глаза волчицы.

Да, он мог бы кончить одним махом клыка. Но ему не нужно было унижение соперника, ни сама жизнь его.

Вожаку нужна была подруга и сознание, что ей нужен — только он. Лобан любил свою чепрачную юную волчицу с почти лисьей мордашкой и нежными глазами. Первый волк привел ее в стаю.

Тех двух, чужих, он тоже привел с собой.

\*\*\*

...А У БЛАГОРОДНОГО не было стаи.

У марала были свои законы. И главный — одиночество. Даже тогда, когда стоял он на вершине своего Утеса и рядом с ним красовались три молодухи-оленухи, изящные, как молоденькие елочки, и ждали его внимания и оплодотворения, — даже тогда он оставался один. Осколок луны плыл между рогами, звезды чуть поблескивали на темно-голубом небе и в задумчивых фиолетовых глазах оленя.

Он носил тогда свинец в ноге? Скорее всего, нет, иначе рядом с ним не было бы в тот год маралух. Ведь и ему, как счастливому Серому Вожаку, проходящему под Утесом марала, пришлось выдержать свой бой за Любовь и Продолжение, здесь у природы один закон для всех.

Конечно, Благородному нет нужды учиться добру и справедливости, конечно, он сам — будто их воплощение, но его любовь — холодновата... Он не знает своих

детей. Да, у каждого свои законы, лишь бы они сообразовывались с общими и несли потомству путь к гармонии уже в семени своем. А в этом его, Благородного, не упрекнешь. Даже то, что рядом с ним три оленихи — необходимость, ведь у них больше врагов, и детям их нужна сила и совершенство Благородного, потому что их роду тоже нужно жить дальше...

Так мог бы думать счастливый Первый волк здешних урочищ, ведя в стаю юную чепрачную волчицу и двух бывших соперников, — так мог бы чувствовать пробужденной памятью своей удачливый Серый Вожак, проходя после битвы своей под Маральим Утесом в их предпоследнюю встречу с Благородным. Потому что память — тоже путь к гармонии, и потому что память эту Лобан передаст теперь своим волчатам.

Что ж, они оба честно и мужественно отстаивали свое право Продолжателей.

## XI

ПРОШЛО полгода, как Благородный совершил свой последний, неудачный прыжок, и накормил собою стаю, а Серый Вожак Лобан, не сумев сдержать своей грустной памяти, спел прощальную песню над соперником-соседом...

Или над собой, над проклятьем преследования племени своего? Казалось бы нет: сейчас, через полгода, в логове его копошатся семь толстых, головастых, несурзных и милых щенков, у некоторых уже заметен чепрак по спине или тяжелый отцовский лоб над озорными глазками. Что ж, они оба стали Продолжателями и умудренными Вожаками своих родов. Они — и Благородный и Первый волк — следовали своим законам и своему пути в природе. Их дети ходят сейчас по их речке, которая все так же убегает от ледников, вырастая детьми своими — ручьями.

Да, волк видел двух красавцев-олений, точную копию того, которого уже нет. Наверняка, в этих ущельях ходят и другие дети марала. И у волка снова здесь, на Маральем Утесе, что оставил Серый Вожак за собой, появились дети от чепрачной волчицы, уже начинающей сесть, но сохраняющей все ту же лукавую нежность в косоразрезанных глазах тонкой, почти лисьей, мордашки...

Весна проходит, прошла почти. Их речка отшумела и бежит теперь монотонно и ровно. И сыновья Благородного, наверняка, ушли выше в горы сберегать молодую поросль рогов.

Наверняка, потому что именно туда по верхней тропе проехал на лошади грузный зеленый человек с ружьем, которого Серый Вожак уже видел здесь в прошлом году, а запах которого словно тревожно-знаком Лобану еще с детства. С тем человеком была странная собака. Волк принял бы ее за одного из своей семьи, если бы не постоянно машущий хвост, завернутый неуверенным кольцом.

Но Вожаку особо некогда было раздумывать. Ему надо было кормить детей и подругу. Весной на пути этого человека с ружьем можно найти достаточно свежего мяса, и оно не пахнет опасностью. Это мясо не нужно было человеку, даже сам волк ему сейчас не очень был нужен.

Охотнику в это время нужны сыновья Благородного, даже не сами олени — их молодые, хрупкие, дорогие рога — панты. Память о них и жажда получить была способна повести человека на любое безумие.

Волк осторожно порысил в том направлении. И не сразу заметил еще одного всадника, направляющегося в ту же сторону по следам, которые этот человек высматривал и узнавал. Заметив его, Лобан стал лишь осторожнее. Хотя второму всаднику — его-то запах волк встречал здесь всюду, это был егерь — казалось, тоже сейчас было явно не до Серого: егерь торопился вослед браконьеру. “Волк дорогу перебежал — к удаче...” — усмехнулся про себя человек и продолжил путь.

Поздневесенние погоды в горах обманчивы. Вот только что еще светило солнце, было жарко и сухо, потом клубами стал наползать туман. Эти молочные клубы, сперва будто неуверенно, какими-то рывками просачивались через хребет, оседали в щелях и расщелинах, обволакивали серой сыростью сразу побуревшие ели.

Волк остановился, нюхая потяжелевший воздух; потом пошел, заструился сам своей валкой походкой, подобный туману, в обход предполагаемого им первого всадника. Его мех набухал. Где-то в отдалении слышалось глухое, словно набухшее уханье странного пса.

... И волк вздрогнул — бухает выстрел.

Внизу, в тумане, что-то копошится, слышится поскуливание, довольное и льстивое... И второй раз вздрагивает невольно Серый Вожак — к этому нельзя привыкнуть: на противоположной от него стороне, выше выстрела и поскуливания, раздается человеческий голос. Здесь был бы слышен даже шепот: щель резонирует любой шорох в сочащемся сыростью воздухе.

— Че-ерканин! Это я — егерь. Узнаешь? Шел следом, да не успел! Оставайся возле марала — теперь уж не уйдешь... найду и докажу!..

И третий вздрагивает волк — снизу на голос огрызнулся выстрел.

— И-их-хрр... ч-черт... Ничего не поделать — не отступит ведь, — бормочется на противолежащем Лобану склоне.

А Первый волк застывает, вмерзает в туман.

И оттуда, со склона, несутся вниз два выстрела — один за другим.

И становится тихим-тихо, слышится, как путается в еловых лапах туман, как на одной ноте визжит собака, да где-то лошадь равнодушно пережевывает удила.

Он не знает, что им движет, но он решил — Лобан, Серый Вожак. Давя в себе дрожь, вздыбив гривастый воротник, набычившись и почти не ступая на подушечки лап, невесомо-серый и туманный спустился он вниз.

Первой заметил он темную собаку, прилегшую на бок, заискивающе и угрожающе ощерившуюся. Потом — глыбу лежащего марала, череп которого расколот, зияет грязная кровотокающая дыра и один мохнатый влажный рог валяется рядом в траве. Это было так неестественно, что Вожак чуть повернул назад. Растекался кислый запах свертывающей крови, пороха и мокрой шерсти.

И навзничь, раскинув руки и отбросив страшное ружье, лежал толстый человек, с толстым лицом, с толстыми закушенными губами...

Волк вздрагивает теперь машинально, кожей, не пуская в душу страх: теперь прямо над ним опять раздается голос. Вздрагивает волк, но все еще не уходит, будто при мороженный туманом.

— ...Где ты, Черканин? Выйди, только брось ружье. Не стрельну, хоть ранен... Это уже не баловство! Брось, говорят, и выходи на голос: я у твоей лошади... — Егерь звал напрасно.

Серый Вожак, как замороженный смотрит на врага своего, на убийцу Благородного. Он и сейчас не решается приблизиться к человеку, и запах двуногого, даже сейчас холодит кровь. Они одни. И человек неподвижен. И вдруг — откуда она взялась?! — на лицо человеку садится чернорыжая усталая бабочка и медленно-медленно сводит и распахивает набухшие крылья. Как память...

А туман густеет и засасывает. И пора, надо уходить. Они — Благородный и Серый Вожак — совершили свое Предназначение, их дети ходят по речке. А — дети их детей?... Вожак так повернулся к собаке-волку, этому человеческому ублюдку, что тот понял. Первый волк этих гор не знал, что это был его племянник, но предательство — есть предательство, даже в волчьем обличье, их семя легло на чужую почву...

Потом Серый Вожак подошел к человеку совсем близко. Обнюхал его, раздраженно чихнул. И, задрав лапу, поставил свою метку. Этот Адам сам изгонял себя из созданного только себе рая. Вожак знал и другого, их топоры рубят так легко под собой сучья... есть другие. На всех он не мог направить свою метящую струю, волк не был богом. Лобан, как и Благородный, был лишь одним из...

— Черканин... Черканин! А, черт бы тебя... где ты? Выходи...

Серый Вожак, мягко и валко ступая по низкому глухому туману, уходил домой.



## ПУСТЫНЯ

### *Повествование в рассказах*

*Да, скифы мы...*

А. Блок

...Ветер дует порывами, несет над землей острую снежную крупу пополам с пылью и песком. Солнце поднимается нехотя, как бы плавая в полупрозрачной дымке, и медленно разливает свой свет на безрадостную, безликую равнину.

Глинистая земля, лишь кое-где прикрытая пролысынами хрупкого снега, кажется, не может родить никакой жизни: редкие кусты жесткого биюргуна и дрожащие побеги полыни смотрятся сиротливыми и случайными.

Никакой дороги или тропы не оставляла на себе промерзшая почва, а случайный след почти сразу стирался ветром. Беда путникам, затерявшимся здесь, в стороне от дорог и ориентиров. Кажется, и время здесь движется по-своему, отмечая лишь вековые да тысячелетние мгновения. Ровная земная гладь теряется, тонет где-то в зыбком горизонте, а он колеблется и мерцает — то ли небо впереди, то ли море...

Неопытному человеку даже солнце в такой зимний день не послужило бы путеводом: на небе, кроме истинного, столь же ясно видны несколько ложных солнц, обведенных кругами. И это не странность, не мираж даже, а лишь холодное свойство сильного преломления лучей, вовсе не редкое в этих пустынных местах.

Несколько солнц да медленно парящий орел, выискивающий редкую жертву... и тишина, не нарушаемая даже орлиным клетотом.

Но мало кто решится быть зимой на Устюрте, вне людей, вне дорог и близкого пристанища.

Чуть переместится солнце, впереди может открыться темная гряда. Такая же, что возникла сейчас чуть в стороне и сзади. Кажется, совсем рядом поднимаются горные кряжи — это видны истонченные водой, солнцем и ветром, излизанные бывшим здесь тысячи тысяч лет назад морем отвесные стены впадины: она была когда-то дном того моря, и стены те подобны чинку, что окружил всю пустыню крепостной стеной. И хотя до стен этих, быть может, не один десяток километров, кажутся они близкими, совсем рядом — все то же обманчивое преломление лучей, подстраивающее сказочно-обманные миражи на пустынном месте...

Мглистые солнца освещают многоцветные обрывы, которые будто созданы для иллюстрации геологического атласа своими многослойными разрезами, тысячелетними напластованиями и образованиями, вскрытыми ветрами и весенними спадами редких вод. Грибовидные останцы, гигантские шары спрессованных временем песчаников; причудливые громады на тонких основаниях выдуваются по частицам и по своему времени рушатся под собственной тяжестью.

Все напоминает фантастический лунный пейзаж, который не воссоздашь простым желанием и короткой мыслью, а здесь скульптор один — постоянный, вечный, бесстрастный — Природа. И времени у нее много.

Склоны чинков порой напоминают неприступные стены древних замков, хмурых и молчаливых, и — напряженных. Одно время способно взять эти бастионы... лишь ему они подвластны.

Ничто не нарушает здесь безмолвия, холодного и равнодушного. Лишь ветер, усиливаясь по времени, гудит а неровных изрезках скал, точит новые каменные изваяния...

Местами стены выветрены и поднимаются ступенчатыми широкими платформами-террасами. Кое-где видны никем не копаные пещеры и углубления. Иногда склоны осторожно и мягко, будто опасаясь нарушить покой, сползают вниз длинным — в несколько километ-

ров! — языком гигантского оврага с рельефными оголенными стенами.

По дну такого ущелья, защищенного от ветра и резкого солнца, скатывается весной и застаивается редкая снеговая и дождевая вода, она вбирает в себя соли и тончайшую пыль, нанесенную в щели, затаины, трещины камней. Благодаря воде здесь всегда зеленеет кустарник, даже зимой тускло шуршит жухлый тростник. И в пустыне есть жизнь. Всякая. Разная...

### *Глухое ущелье*

... Вот сюда-то вниз и спускался старый тяжелорогий муфлон. Баран шел к слабому, чуть сочащемуся родничку на самом дне ущелья, возле которого заманчиво желтел тростник. Он спускался от террасы к террасе одному ему ведомой тропой, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, готовый в любую минуту вновь взбежать по еле ощутимым трещинам и чуть заметным выступам к своему недоступному отстойнику.

Седина густо подбила его большой меховой подвес на груди, загнутые рога были выщерблены в прежних поединках, в которых ему приходилось отстаивать право продолжателя рода. Широкая спина, прежде рыжеватая, побурела от возраста: напряженные ребра проступили под шкурой, а колени уже начали отекать, хотя ноги еще не потеряли своей упругости и силы.

Он был один — почему он один? Ведь теперь не время быть одному? Кто знает это...

Еще недавно, и двух месяцев не прошло, вел баран свою последнюю и единственную подругу к постоянному водопою у останца по ту сторону этого чинка, над впадиной. Грохот раздался вдруг, хотя ничто не предвещало угрозы. Муфлон испугался запаха свежей крови, что вытекала из его баранухи, и долго-долго бежал от террасы к террасе, пересекая лишь ему известные разрезы. Все собратья его ушли в другие места, но он был слишком стар уже, чтобы покидать привычное. Здесь знаком каждый выступ, каждый спасительный поворот набитой над пропастью тропы... Теперь он был один в Карагие.



Много раз старый муфлон по весне спускался в это глухое ущелье. Здесь, у самых обрывов, зеленела желанная трава. Здесь всегда ему было спокойно — достаточно нескольких минут, чтобы в случае опасности вскочить на спасительную стену.

Но на этот раз его давно ждали и высматривали внизу затаившиеся острые глаза... пара... две... три... Упрямо ждали, глухо и молча, у них хватит терпения надолго, на часы, ибо секунда нетерпения — это голод, это еще один упущенный шанс выжить.

Баран спустился на самое дно приниженного чинка, постоял неподвижно: лишь чуткие ноздри подрагивали, лоя воздух, да в напряжении подергивалось ухо. Ничего не почуяв и не услышав, он начал обрывать сухие, жесткие стреловидные побеги.

Трое волков, напряженно вливая тела в каменистую землю, тоже подрагивают ноздрями от раздражающего запаха желанной добычи, которая спокойно передвигается на высоких и сильных еще ногах вверх по языку ущелья, теряющегося где-то далеко. Оттуда потихоньку тянет ветерок, и этот запах, плывущий к ним со сквозняков, заставляет каменеть мускулы. Глаза хищников скашиваются порой на сторону, но они скорее чувствуют, чем видят: там — чуть выше и в стороне — осторожными толчками и медленными полуползками пробирается по каменному карнизу четвертый охотник, их волчица.

И волки ждут, когда она будет в том месте, где сможет отрезать этому старому муфлону путь на его стену, на которой он станет недосыгаем для врагов.

Медленно проходит час. Куда времени здесь спешить?..

Быть может, слишком пристален был чей-то голодный взгляд, но вот старый баран насторожился и сразу, еще не понимая до конца опасности, сделал несколько скачков к желтоватой, лишайником поросшей глыбе, что вплотную прилегала к почти отвесной стене. Вскочив на глыбу, муфлон обернулся: три волка, постепенно расходясь в стороны, мчались на него. Один из хищников уже поднимался по карнизу, другой был чуть ниже, а третий — бежал по самому дну — отрезая возможный путь на другую сторону. Умелыми загонщиками были волки.

Но муфлон и не думал отступить назад: прямо от глыбы начиналась едва заметная тропа, по которой ему-то легко можно подняться сразу на несколько площадок вверх. Не очень торопясь, баран побежал по террасе, изредка даже останавливаясь и оглядываясь на преследователей. Волки оставались на том же расстоянии, не приближались, но и не отставали. В тишине было слышно их дыхание.

Муфлон поднялся еще уступом выше. Он не очень беспокоился — несколько прыжков, как это бывало всегда, и он перейдет черту доступной врагам дороги. Трое серых разбойников, каждый по своей скальной тропе, продолжали преследование, уже не пугающее горца.

Когда муфлон едва заметными касаниями копыт поднялся еще выше, ветер дохнул на него страшным запахом. Так близко он никак не ожидал ощутить опасность: чуть выше, почти над его головой, осыпалась щебенка и мелькнула буроватая зловещая тень. Волчица подросла вовремя.

Старый баран даже приостановился от неожиданности, но возбужденное постанывание сзади подстегнуло его. Он побежал по скальному прилавку, уже не оглядываясь и всей кожей ощущая над собой опасность. Промедление приблизило к нему нижних преследователей, но они были бы не страшны, не будь этой неотступной тени над головой...

Волчица не отставала, но и не торопилась — она знала, где муфлон сделает новую попытку оторваться от нее и подняться вверх. При первой же возможности она поднималась выше и снова бежала параллельно муфлону.

Вот опытный рогач попытался, срезая небольшой угол, почти по отвесной стене перескочить наверх, но чуть не столкнулся с клыками. Тогда он, не останавливаясь, прыгнул обратно вниз на несколько метров. Такие прыжки всегда выручали барана — волку, даже самому ловкому, подобные трюки недоступны. Высота была стихией муфлона, и он всегда мог уйти от любого преследователя.

Но старость и одиночество плохие союзники: в этот раз муфлон не рассчитал прыжка. К месту приземления уже примчались сразу два волка. Один из них почти на лету

вцепился ему в лопатку, но муфлон рванулся в сторону и... дальше полет стал неуправляем. И то, что вместе с ним летел, сжимаясь и хрипя, волк, вряд ли примиряло с концом последнего муфлона впадины Карагие.

Тяжело упало где-то внизу грузное тело. Хриплый вскрик подвел итог последней охоте волка. Донесся шум осыпающихся камней, потом слышалось довольное повизгивание самого нижнего зверя, который не стал ждать ни другого товарища, ни осторожно спускавшуюся старым надежным путем волчицу...

Медленно, словно нехотя, поднимается тусклое солнце. Медленно сочится по трещине в скале тонкая пыль, и кто знает, сколько еще времени пройдет, пока истончит та пыль вместе с водой, ветром, морозом и солнцем огромные загнутые рога старого муфлона, выщербленные во многих боях за право продолжения рода... У природы много времени, но на созидание уходит его больше, чем на разрушение...

### *Найденыш*

... И вот весенний ветер проносится над Устюртом. Ветер этот густ и непривычно влажен. Вместе с мартовским солнцем слизывает он редкие островки снега, размягчает солончаки, шелестит упругими остьями случайных кустиков прошлогоднего биюргуна. Разбиваясь у подножия скал, гудит и свистит в щелях и трещинах каменных глыб, пробует обогнуть кольцевидные выступы круто взлетевшей стены чинка, в последнем усилии поднимается по штопору карниза, умиrotворяясь и ворча, и шевеля на террасах солоноватую пыль. И обессилил ветер только у самой площадки, на краю которой стоит рыжеватая дикая барануха.

Отрешенный взгляд и грузный живот говорили о появлении нового потомства, самка муфлона пригrelась на солнце и словно прислушивалась к тому, что происходит внутри нее. В глубине площадки стояли две молоденькие самочки и сеголетка с небольшими пока рожками. Обе самочки впервые встречали свою третью весну, утяжеленные плодом будущей жизни. И это непривычное состояние тревожило их, со страхом ощущали они изменения в себе и

невольно осторожнее выбирали тропу, что-то толкало их на поиск новых укрытий. Порою они беспричинно раздражались друг на друга или на вертевшегося вблизи сеголетка — сына старой баранухи. Время от времени то одна, то другая из молодых обращали растерянный взгляд в сторону старшей товарки и жалобно, почти неслышно блеяли, будто спрашивая ее совета или объяснения — почему вдруг страшнее стало жить?..

Старая барануха не обращала на них внимания, она неловко переступала передними ногами, словно надеялась разогнать отечность, оплавившую колени. Вдохнув слабые запахи ветра, барануха медленно пошла по тропе вдоль террасы, которая вела к угрюмому ущелью.

Несколькими террасами выше начиналась чашевидная равнинка, стесненная скалистыми уступами. Там, на краю площадки, над террасой виднелся силуэт большого муфлона. Белесое от весенних испарений небо колыхалось у его тяжело завитых рогов. Муфлон, еще недавно ни на шаг не отпускавший от себя своих подруг, сейчас не обращал на них внимания. Жалкие кустики промерзшей за зиму полыни, что попались ему в выемке у большого валуна, значили для него теперь больше. На той же равнине в скалах паслось еще несколько взрослых баранов, которым также не было дела до тревог самок. А то время, когда бараны были готовы разбить друг другу лбы в боях за подруг, — то время ушло... до следующей осени. В лучшем случае прокричат теперь они сигнал тревоги. Примут ли самки сигнал — это уже их забота.

...Ягненок только что появился на свет. Он лежал на щебнистой земле в заветренной нише, вход в которую скрывал острый уступ, ребром нависший над тропой.

Старая барануха, ноги которой еще подрагивали от слабости, торопилась вылизать новорожденного. Бесцеремонно развернув его носом, мать жестко очистила мордочку с еще закрытыми глазами. Словно массируя, принялась вылизывать бок малыша с такой силой, что ягненок сдвинулся в сторону. Чуть заметно поднимались и опадали его бока с рыжевато-бурой шерстью, темной от влаги. Ягненок несколько раз пробовал открыть рот, и мать снова облизала заостренную зализанами мордочку.

Резко выдохнув, ягненок заверещал неожиданно и громко, бляение его больше походило на грубое мяуканье сипловатого кота. Но для матери этот крик был самым главным сейчас и, наверное, самым нежным: она энергичнее принялась вылизывать хрупкую спинку. А еще мутноватые глаза малька впустили в себя свет первого утра.

Вскоре ягненок попытался подняться, подбадриваемый легкими тычками материнского носа. Трудно это у него получалось: ноги подламывались, держать никак не хотели и заставляли валиться на бок. От матери шел запах, который он, живущий лишь минуты, уже откуда-то знал. Барануха поворачивалась к нему боком и задом, вновь нетерпеливо подталкивала и облизывала, а малыш снова и снова делал попытки подняться и удержаться на раскачивающихся прямых ногах. Пока не ткнулся в наполненное молоком вымя.

Потом здесь же — под материнским боком — ягненок лег на бок, свернулся и сразу уснул.

Старая самка муфлона вышла из ниши, огляделась, постояла, двигая ушами и чутко поводя ноздрями. И убедившись, что нет угрозы ее спящему отпрыску, трудно и осторожно стала подниматься выше, чтобы найти хоть какой-нибудь корм. И воды, воды... Бока самки резко ввалились, шерсть потускнела; казалось, даже кости у щек ее заострились и резче обозначались провалы вдоль скул. В разрезе скалы на пути попался ей язычок серого снега, который и принялась она торопливо глотать, впрочем, не переставая изредка поднимать голову и прислушиваться.

Отсутствовала самка недолго, да и не уходила далеко. Тревога за малыша заставляла ее наскоро хватать на коротком пути удобоваримые былинки, хотя разбуженный снежной влагой голод звал ее поискать траву получше. Впрочем, независимо от пустого желудка и никак не проходящей слабости, вымя вновь наполнялось молоком.

Когда барануха вернулась в нишу, ягненок все так же лежал, изредка подрагивая во сне. Лизнув его, мать с коротким стоном улеглась рядом, прикрыла глаза. Лишь уши дергались, улавливая малейший шорох. Но вокруг было спокойно, и только ветер гудел в отдаленных изрезах скал, да где-то осыпалась каменная труха.

Метрах в трехстах отсюда, среди каменных изломов, постанывала и крутилась на месте, пытаясь схватить неизвестно откуда пришедшую пульсирующую боль, молоденькая самочка. Она была напугана этой болью и какой-то неизвестностью, накатывающейся на нее вместе с толчками внутри. Наконец ее растерянное блеяние слилось с новым, более слабым, но и более требовательным «мееканьем».

Болезненное блеяние молоденькой самочки было услышано лишь одним живым существом: несколькими террасами ниже бежал своей дорогой старый лисовин. Он остановился, уловил и другой — сорвавшийся и слабый — голос. Лис знал, что это могло означать его возможную добычу... в ближайшие дни. Он внимательно посмотрел наверх, облизнулся и, раздраженно дернув хвостом, побежал по своим лисьим делам...

Спустя несколько дней старая барануха вывела своего малыша из ниши. Она не торопилась, и ягненок бойко поспевал за ней. В отличие от матери, бока которой по-прежнему были ввалившиеся, сынок заметно покруглел, легкий ветер шевелил на боках его мягкую, еще в нежных курчавинках, шерстку. Он весело подпрыгивал вслед за матерью, которая старалась выбирать не очень крутые подъемы. Уже через сотню метров ягненок начал уставать: пытаясь вслед за баранухой обогнуть на склоне большую плиту, неловко оскользнулся и вместе с гравием съехал на тропу. И заметался, и тревожно заверещал, не умея обойти препятствие.

Мать быстро вернулась назад и повела его другой дорогой, по пересекающей склон ложбине. Ей нужно было хоть немного поесть, но даже голод не притупил осторожности. При выходе в долину барануха топнула ногой и выдавила чуть слышимый звук, который заставил ягненка забиться в камни и затаиться, слиться с ними.

Самка муфлона оглядывала долину, внимательно внюхиваясь в ветер. И еще раз повторила сигнал тревоги — «кшты-ы».

Мать муфлониха не видела, не слышала и не чуяла в воздухе ничего опасного. И все же ощущение опасности не проходило, ноздри трепетали — пытались найти подтвер-

ждение разбуженному страху. В другое время барануха легко ушла бы по склону — оттуда легче и безопаснее распознать причину беспокойства. Но сейчас... сейчас в нескольких десятках метров затаился детеныш, и жизнь его зависела только от материнской осторожности... а может быть, от ее безрассудности. И самка, все так же изредка повторяя сигнал опасности, выскочила на ровное место.

Этот сигнал — теперь она намеренно кричала все громче — обязательно должен был привлечь к ней внимание врага, если он был, а врага нужно любой ценой отвести от малыша!

Выскочив, барануха еще яснее ощутила основательность тревоги: за ней следил чужой взгляд, неизвестность и непонятность которого сковывала ужасом горло и заставляла крикнуть громче и напрячь все силы, чтобы уйти от этого места. Но другая сила — изначальной, извечной материнской озабоченности и обреченности — двигала ее ногами и приближала к этой опасности, осязаемой всей кожей...

— Смотри, какие круги делает, — движением губ шепнул один из притаившихся за грядой людей.

— Стреляй...

— У нее здесь ягненок: вон какие круги... и верещит!

— Стреляй! Ягненка тоже возьмем...

На выстрел, сухим гулом разлетевшийся окрест, поднял голову старый лис, давно уже не отходивший от «яслей» молоденькой самочки. По крутому склону от своей кормовой площадки взлетели четыре разновозрастных самца-муфлона, пробежав метров триста, и лишь тогда остановились, чтобы понять причину грохота и тревоги. Где-то пробудился волк, тяжело встал с нагретой дневной лежки и ушел дальше в глухое ущелье.

Старая самка лежала на боку, кровь еще пульсировала в ее горле, а глаза уже остыли, и отражения скал в них погасли. И стрелок уже разделявал теплую тушу.

— Ищи, ягненок где-то рядом. С этой нечего почти взять — старая и худая... — крикнул он.

— Эх, надо было Шарика взять! Нашел бы ягненка, да еще нажрался впрок.

— Он бы тебе наохотился — всех разогнал бы на десять километров... да еще и свалился б куда... — проворчал первый, ловко обрезая сухожилия.

Ветер дул все сильнее — холодный, насквозь пронизывающий ветер. Второй охотник вернулся: «Может, его и не было?»

— Ладно, все не зря приземлялись. А ягненок все равно погибнет, искать лучше надо было... вымя вон полное...

Малыш не знал, что матери его больше нет, но приказ ее исполнял точно. Он вжался в небольшую норку, образованную при соединении двух глыб камня, и не шевелился. Недавно выпитое молоко и трудный переход заставили его уснуть.

...А возле молоденькой самочки тем временем кружил другой охотник. Все тот же старый лисовин, словно подстегнутый выстрелом, тявкал на растерянную дикую овечку, и шел за нею следом, и словно поддавался на ее уловки, которыми она отводила его подальше от первого своего ягненка. Лис не испугал бы ее прежде — это не волк, что он может ей, такой большой и ловкой, сделать? Но отвести его от детеныша она должна была.

И молодая мать топала на лиса ногой, мекала своему, свернувшемуся калачиком, малышу, приволакивала ноги, уходила метров на двадцать-тридцать от лиса и снова ждала его приближения. Умудренный лисовин подыгрывал ей, скалился всей узкой мордой и подкрадывался, смеясь, к баранухе. И самочке казалось, что она уводит лиса от ягненка. На самом же деле он «заманивал» неопытную овечку, заставляя делать круги все дальше от заветного тайника.

И вдруг... она оглянулась и не увидела лиса там, где он должен был находиться: старый шельмец нырнул в удобный отщелок и самым коротким путем побежал к обреченному ягненку, которому не суждено было стать муфлоном...

Когда обеспокоенная молодая мамаша, торопясь и оглядываясь на исчезнувшего врага, вернулась к своему малышу, здесь было все кончено. Лис скрылся за камнями, завидев ее. Ягненок не шевелился и не вставал, хотя самочка толкала его носом, пыталась лизать и крутилась вокруг, подставляя набухшие сосцы и зазывно поблейвая.

Похолодевший через несколько часов ягненок напугал ее. И она ушла из укрытия, и долго еще бегала и



бродила вокруг, тоскливо-безнадежно призывая его к себе. Спустилась ночь и скрыла торжественный пир старого лисовина, нагнала дрожащую дрему на усталую самочку, дергающуюся и поблеивающую во сне на верхней террасе чинка...

С рассветом осиротелая мать-муфлониха еще раз вернулась на место окота. Но там не осталось ничего, кроме запаха псины, оставленного лисом: недоеденный трофей свой хищник предусмотрительно утащил с собой. Самочка, гонимая голодом, жаждой и тоской, которую еще больше обостряло скопившееся молоко, ушла наверх по знакомой ложбине. Там могла она найти утоление голоду и жажде, там надеялась она увидеть кого-нибудь из своих сородичей.

Ниже уступа, на котором остановилась молодая муфлониха, открывалась мягко спадающая вниз ложбина. Здесь самочка, скорее по привычке, долго ловила воздух и прислушивалась.

Все вокруг только начинало приобретать свои формы в сером предутреннем воздухе, дрожащем в ожидании солнца. Легкий ночной мороз оплывал и поднимался чуть ощутимыми испарениями, в невидимых волнах которых отдаленные скалы да грибоподобные, или похожие на столбы, или шаровидные останцы, казалось, тихонько раскачиваются. По другой стороне впадины уходила вверх тропа, она тоже словно колебалась и вибрировала, хотя никого на ней не было. И ничто не нарушало здесь нетронутой, полнейшей тишины, даже обычный ветер, казалось, задремал где-то в пути...

Робкое слабенькое блеяние, почти затаенный детский выдох заставили часто забиться сердце одинокой муфлонихи.

Она резко повернула чуть горбоносую морду с застывшими на углах глаз слезами. Повернулась в сторону камней, из которых донеслась до нее слабая младенческая жалоба. И коротко, призывно «ке-екнула».

Спотыкаясь, теперь уже громко и требовательно похныкивая, к ней спешил рыжеватый ягненок.

Копытные редко на свободе воспитывают чужих де-

тей: из десяти перепутавшихся даже в большом стаде и кидающихся навстречу любой кормящей самке детенышей мать безошибочно, по ей одной известным признакам — хоть ослепни она и оглохни! — узнает одного, своего. И только его допустит к благой струйке молока. Любого чужого оттолкнет она бесцеремонно, переступит через самого голодного, лишь бы накормить — единственного...

Этот ягненок, так и не дождавшийся матери, был обречен. Если не станет он легкой добычей первого же хищника на земле или с неба, то наверняка погибнет голодной смертью даже в стаде: ведь пройдет месяц, чтобы научился он немного поддерживать себя травой.

Но взволнованная самочка дождалась ягненка. Чтобы убедиться — чужой... И резко оттолкнула его, без тени сомнения нырнувшего на заветный молочный запах. И, перепрыгнув через чужака, побежала прочь — вниз, к собравшейся в лунке талой воде. Побежала, посылая новые призывы своему утраченному детенышу.

Ягненок-сирота заторопился следом, жалобно помекивая: в этом возрасте природа предусмотрела, чтобы детеныш спешил за движущимся — так меньше шансов потеряться, особенно в стаде, где один из взрослых обязательно приведет к остальным, к матери.

У этого малыша ее уже не было. Но он бежал, и спотыкался, и звал.

И в этот раз, быть может, — единственный из тысячи, сироте повезло. Самочка была молода, ее мучила жажда, вымя горело от невысосанного молока, готового свернуться, а жалобы ягненка так напоминали голос ее первенца... И ткнувшаяся с разбегу в сосцы мордочка принесла такое томящее облегчение! Первые же струи молока прорвали барьер чуждости.

И когда самочка, напившись, повернулась к малышу, ерзавшему у нее под брюхом, она ощутила привычный запах и толчки тоже показались ей знакомыми.

Ей оставалось только облизать забрызганную молоком мордочку и навсегда забыть об утрате в скалистом углублении чинка, пахнущем псиной и убийством.

## Последняя трона

### 1

... Старого Еркена, всегда приветливого и словоохотливого, я застал хмурым. Он смотрел куда-то в сторону холмов, нереально зыбких в солнечном свете, и почти не обратил внимания на водовоз, с которым я приехал. И хотя некрутое сентябрьское солнце уже подбиралось к своей верхней точке, отара старика все еще находилась в загоне за проволочной сеткой.

Сноха его выглянула из юрты и сразу скрылась: там зашелся в крике ее первенец, долгожданный внук старого чабана. «Ардак!» — напомнил молодухе о делах Еркена, не оборачиваясь на юрту.

Впрочем, сноха и не ждала напоминания: она быстро успокоила сына и выскочила помочь шоферу, который возился у вкопанной в землю цистерны. Звук льющейся воды растревожил овец и отвлек старика от каких-то своих дум.

— Проходи, чай пить будем, — сказал мне Еркена. — Бахытжан должен вернуться... пятнадцати баранов не досчитались... ищет.

Сын старого чабана появился вскоре. Лаяла навстречу ему лохматая черная собака у юрты, и молча бежала позади коня другая — бурый, поджарый, нахмуренный пес, с шарами шерсти, висящими под ушами словно серьги. Этот пес боком, будто признавая какую-то свою вину, проскользнул мимо Еркена, а сын, спрыгнув с коня, пожал плечами: «Нигде и следов нету...»

Спустя минут сорок старик сел на коня, привычно зажав под ногой выдавшее виды ружье. Я напросился ехать с ним, и мне дали веселую беспечную кобылку, которая никак не хотела идти рядом с широкоспинным меринем старого Еркена. Мерин был удивительной масти: почти вороной, но с чуть коричневатым отливом, а весь правый бок и короткая мощная шея — белые. И грива, низко и густо свисающая вправо, и широкая иноходь, и тяжелый серебряный набор на потемневшей коже уздечки — все давало мерину право не обращать внимания на мою кобылку. Он шел, солидным ровным махом, укачивая седо-

ка, словно цель поездки выбиралась им, а не хозяином. Кроме старого Еркена, на нем никто не ездил, и трудно было сказать сразу — кто же кого ведет.

Ровное каменистое плоскогорье с негустыми кустами биоргуна и полыни изредка оживляли зеленые кустики. Юрта еще долго виднелась и слышались крики Бахытжана, наводящего порядок у железных поилок.

Мы направлялись к ближним отрогам чинка, у которого вчера послась отара. Старик был все так же неразговорчив, только изредка, словно в такт своим мыслям, потирал узкую щеку или зажимал в кулак вместе с подбородком недлинную тонкую бороду. И только когда нас догнал бурый пес, к старику вернулась его обычная, чуть вприщур, усмешка. Виноватость пса исчезла, но серьезность осталась: он явно был уверен теперь в успехе и легко пошел рядом с меринком.

— Видно, не хотел его Бахытжан слушать, а то бы хоть кости да нашли, — кивнул на собаку старик. — Это все Кол-бала устроил.

— Кол-бала?

— Бог даст, увидишь сам, тогда я расскажу...

И мы поехали молча, тем более что начиналось некрутое, но каменистое ущелье, и нужно было внимательно следить за любопытной кобылой, все норовившей вприскок обойти мерина. А тропа, и без того узкая, вскоре пропала почти совсем. Однако Еркен уверенно продвигался среди больших плит и вымытых вешними водами останцов, похожих на огромные буро-желтые грибы.

Отгоны в эти пустынные места пришли не очень давно. А старый чабан знал их хорошо по долгому времени охоты сызмальства. Он родился в кочевом ауле, теперь на том месте ветер несет песок по городу Новому Узеню. Пустыня Устюрт всю жизнь была рядом. Все тропы и укромные места чинков доходил он в поисках добычи. Геологи и нефтяники потеснили скотоводов, те поприжали дикого зверя. Помнит Еркен и многочисленные стада джейранов, подходивших прежде к травам предчинковой полосы. И мясо дикого барана было ему не в диковину, хотя и приходилось порой неделю выслеживать осторожных и быстрых зверей, уходивших от преследования почти по отвесным стенам. Даже каракала — те-

перь уже и вовсе редкого, похожего на рысь, приходилось стрелять на шапку. Впрочем, шапку ту давно износил старый Еркин, одно воспоминание о ловкой кошке осталось — редко кому посчастливится встретить даже след ее...

Но тропы, набитые дикими баранами издавна, в сложных переплетениях подъемов и спусков от террасы к террасе, в крутых стенах поднятого над морем Устюрта — эти тропы старый мерген\* хорошо знает. Один я ни за что не решился бы ехать в чинках верхом — любая терраса может привести в тупик, где коню будет невозможно развернуться. А его мерин идет так самоуверенно...

Глухое ущелье пропускало в себя солнце лишь в зените, а сейчас наверху небо розовело закатом. «Еще поедем, — сказал Еркин в ответ на мой многозначительный взгляд на часы. — До темноты надо успеть.» Он смотрел время от времени на землю, раза два спешил, а потом ехал дальше одному ему известной дорогой, лишь посматривая порою на своего серьезного пса.

Тропа делала резкий поворот к выходу из ущелья, которое метрах в пятидесяти сомкнулось углом отвесных стен. Там в тупиковом застое увидел я почти ровную площадку. Из-под валуна на ее краю чуть сочащийся родничок поил невысокий тростник. Но не тростник и вода остановили меня — я знал, что вода здесь горькая, и все же сошел с лошади...

На площадке беспорядочно валялись рога муфлонов. Часть из них была занесена землей и песком, намытыми по весне тальми водами. Некоторые вместе с черепами откатились в стороны. Груда рогов, видно, сбитая особо бурным потоком, переплелась между собой, слилась в беспорядочных кучах, проросла кое-где сорной травой. Время настойчиво разрушало, медлительно повергало в пыль, наслаивая прах, питая горечью воду родника... Вода, соли, воздух и свет выбелили кости и черепа, а туманы и морозы расслоили твердокаменные завитки рогов. Это место не было побоищем — останки были разновременны, но кто же собрал их здесь, какой путь свел всех вместе?..

---

\* Мерген — охотник (каз.)

— Э-э-гей-ей... ей... ээй... — донесся издалека зов Еркена. Я заторопился на этот живой голос, вырываясь из плена времени, оставленного над той площадкой в тупике ущелья. «Там...» — начал я, догнав старика.

— Не думай над двумя делами враз... Скоро остановимся и тогда расскажу. Зверь редко доживает до старости. Но если он добирается до нее, то приходит сюда. И совсем больной — тоже приходит, и раненый смертельно... все здесь успокаиваются. Потом расскажу. Во-он, смотри!

Метрах в двухстах от нас, на самом верху, куда махнул камчой мерген, показался... муфлон. Он стоял на фоне синерозового закатного неба, чуть боком, словно решил покрасоваться перед нами пышным своим подвесом на груди, крутым изгибом рогов, гордо поднятой головой. Он видел нас, но не уходил, хотя старый охотник совсем молодецки свистнул, и пес, чуть повизгивая, уже бежал по тропе в верхней закраине чинка.

Небо потухало, и Еркен поторопил своего мерина, а я увидел из-за плеча старика, как рядом с диким бараном зашевелилась серая масса. Овцы... это были обыкновенные овцы, они казались приземистыми рядом с высоконогим дикарем. Я понял, что это их искал утром Бахытжан, к ним торопился молчаливый старый чабан на своем важном мерине. Но... муфлон!..

— Кол-бала!\* — крикнул старик, полуобернувшись ко мне. — Не говорил я разве? — в быстро наступающей темноте лицо его сливалось с шапкой, но я понял по голосу, что к нему вернулась обычная усмешка. Блеяние овец, суетливо переступающих на месте, было уже рядом, а чужак не убежал. И почему до сих пор не слышно собаки!

Словно привлекая к себе внимание, рогач топнул ногой и коротко хрипло «безкнул».

Старый Еркен уже спешился, когда я выбрался на ровную площадку в конце тропы. Здесь наверху дул прохладный ветер, мерин встряхивался всем телом и громко фыркал; пес, почти не видный в сумерках, серьезно и неспешно обходил сгрудившихся баранов и принохивался к каж-

---

\*Кол-бала — приемыш (каз.)

дому, будто пересчитывал. А старик стоял возле муфлона и почесывал у стройного дикаря за ухом, что-то бормотал то ли укоризненно, то ли насмешливо-ласково...

Здесь было голо, так что на костер рассчитывать не приходилось, и я порадовался, что привязал к седлу спальный мешок. Старик расседлал свою лошадь и отнес седло в затишь, где чернела большая глыба — с ее подветренной стороны было спокойно. Пока я расстилал на земле потник и спальник да пристраивал в головах седло, наощупь убирая острые камни, чабан рассыпал из торбы зерно лошадям и овцам, стреноживал мою кобылку. Становилось совсем холодно. Я забрался в мешок, вскоре и Еркен, сунув мне кусок лепешки с мясом, пристроился рядом, завернулся в стеганое ат-корпе\*.

Звезды близко мигали на сероватом небе, овцы торопливо жевали зерно, смачно хрустел мерин, всхрапывала, добиваясь его внимания неугомонная кобылка. А Еркенов невиданный приемыш вновь стоял на краю площадки недалеко от тропы, словно охраняя нас всех, даже пес, чуть светлый в негустом ночном сумраке, покрутившись рядом с неподвижно темнеющим горцем, вздохнул тяжело и свернулся клубком.

Я не торопил мергена с расспросами: чтобы не оказывался рассказ скромным, история сама должна вытекать из молчания — и только тогда будет она дышать, двигаться, грустить.

А старый Еркен не был бы охотником, если б не любил, не греша противу правды, прихвастнуть удивительными случаями. Тем более что и сама жизнь может так повернуться перед тобой, что побледнеют даже самые хитрые придуманности.

Неторопливая повесть его складывалась в историю, всплывала из уже слышанных от него баек, накатывалась из снов, которые как бы подтверждал стоящий невдалеке горбоносый страж.

Но история приемыша началась еще до его рождения, в ту последнюю осень пегого муфлона...

---

\* Ат-копе — одеяло, сложенное в несколько раз и покрывающее седло (каз.)

Такого громадного самца не было больше в ближайших горах, он чуть не на голову превышал остальных четырех взрослых баранов, отстаивающих теперь в поединках право на продолжение рода.

А пять грациозных самочек, почти вдвое мельче этого редкого муфлона, рассеянно пощипывали редкие былинки да изредка отпихивали короткими рожами повзрослевших с весны ягнят, все еще по привычке пытающихся добраться до сосцов.

Лишь когда особо гулко раздавались удары рогов, самки поднимали головы. Их властелином и вожаком стада должен стать сильнейший, и баранухи терпеливо и по-нотливо ждали исхода поединков. Пока двое самцов становились в позицию на узкой ровной полосе, окруженной скалами, другие бойцы рыли копытами землю, нетерпеливо переступали на месте, заносчиво выгибали шеи с волнистыми подвесами грив и презрительно фыркали на соперников.

Громадный пегий муфлон стоял в стороне, равнодушно прикрыв глаза, по привычке гоняя меж стертых зубов воображаемую жвачку.

Он был слишком дряхл, чтобы принимать участие в играх. Изю всех желаний у него оставалось лишь два — есть и не приближаться к баранухам в это время, во время гона. Старость уже выключила его из жизни, по суровым законам который Пегий полностью выполнил свое предназначение: это его потомки дрались сейчас, уверенные в бесконечности молодости и страсти.

И если старик не был еще обузой для стада, так это потому, что у него пока хватало сил не отставать от самок с ягнятами, подбирая за ними оставшиеся крохи случайных стебельков пустыни...

Так продолжалось уже три осени. Состарившийся муфлон больше не поднимался, как другие самцы, к верхним крутым и безопасным отрогам чинков. Третий год не отходил он от самок, ожидающих или выкармливающих очередное потомство. Он уже вполне равнодушно и терпеливо сносил раздраженные тычки баранух, если попадался им на пути, во время кормежки.



Хуже было после таких вот боев: молодые бараны, которых вожак отгонял от самок, словно мстили старику за свою ненаступившую зрелость. Напор их рогов Пегий еще мог выдерживать мощными тяжелыми рогами, клонящими шею каменной тяжестью. Но молодые бараны неудовлетворенно злы и ловки, они могли, притворяясь безразличными, все же выбрать момент и ударить в бок, когда его большое тело будет беззащитным, и тогда закаменевшие кости Пегого пропускали глухую боль внутрь.

Ответить обидчику уже не было сил — ноги, еще сильные, потеряли упругость, мышцы высохли и утрачивали гибкость, сухожилия стягивали тело жесткими жгутами, суставы оплывали и делали бег все более неуклюжим. Блестящая прежде шерсть стала ломкой, свалаясь и превратилась в грязно-пегие клочья, плохо защищающие шкуру от непрерывного ветра. Казалось бы, теплу негде больше удерживаться в этом большом теле, все сопротивлялось его жизни — природа безжалостна в отборе своих детей, а старик уже выполнил все в этом мире...

Но пока еще Пегий мог попевать за тяжелеющими к весне баранухами, пока он брел за неловкими ягнятами и пока ему везло на не встреченных врагов, стадо терпело его рядом. Зрение и нюх его притупились, но еще по-прежнему острый и способный временами обнаружить опасность слух был полезен существованию стада. А может быть, сама слабость одряхлевшего муфлона тоже была залогом безопасности: старик в любой момент мог стать еще одной остановкой для врага, выкупом за жизнь стада...

Как бы там ни было, но большой, пегий и полуслепой от старости баран пережил еще одну осень, буйства самцов и покорности самок. Он брел сквозь пронзительно холодную зиму, прикрывая своим большим телом баранов, сгрудившихся на ночь в нише, до которой добирался последним. Плохо сгибающиеся ноги оставляли борозды в снегу. С трудом обдирая бока и оставляя в каменных расщелинах клочья шерсти, он пробирался за стадом по террасам, оставляя внизу надрывный вой погони. И после всех доходил он до жестких колючек, откопанных стадом из-под снежных наносов.

Его, как и все живое, мощный инстинкт жизни вел до той поры, пока неведомо из каких глубин не поступит сигнала. В природе, полной борьбы, возведенной в закон жизни, редко кто доживает до старости. Но к тем, кому выпало пройти свой путь до конца, обязательно приходит этот сигнал. Он говорит о конце, сулит спокойствие и уводит животное от всего, что связывало его с жизнью, уводит от стада. Знак этот заставляет повернуть назад, скрыться от посторонних глаз, сохранить таинство перехода в полное одиночество, в покой, который всеобъемлющая жизнь являет лишь своим новым качеством...

Но пока Пегий продолжал удерживаться за жизнь терпением и покорностью судьбе. Весеннее солнце ненадолго отогрело ослабевшего муфлона.

Апрельское тепло пробудило в пустыне короткую жизнь трав-эфемеров. Среди зеленых кустиков биюргуна и белесой полыни вспыхивали желтые, фиолетовые, желтовато-белые и розовые цветы биберштении, роголепестника, тюльпанов и астрагалов. Разреженными группками ярко зеленели всходы мятлика, осоки, мортука, кое-где пырей разрастался в целые заросли, которые серебрил редкий ковыль. Террасы и склоны чинков поросли кустиками солянки; распростертые по земле большие листья ревеня выбросили вверх красноватые соцветья. В расщелинах обвалов поднялись заросли верблюжьей колючки и горчица, на крутых склонах обрывов, куда Пегий уже не мог добраться, подняла беловато-лиловые конусы соцветий заразиха, а на дне многочисленных неглубоких балочек собрался тростник...

Это недолгое буйство красок и соков неузнаваемо преобразило пустыню, заставило сердце многих ее живых обитателей биться в новом ритме, продлило жизнь одряхлевшего Пегого.

Весна давала достаточно пищи муфлону, он быстро уставал от насыщения и, при частых теперь остановках самок, впадал в неглубокую дремоту. Молодые самцы вслед за вожаком ушли выше, а самкам было и вовсе не до старика: то возле одной, то возле другой вспыхивали первые крики новорожденных, и вскоре уже за всеми пятью баранухами неуверенно бежали ягнята.

Пегий дремал или двигался вперед, когда самочки криком призывали детенышей не отставать. Если опасность была еще неведома, матери коротко приказывали ягнтям затаиться, и малыши могли по часу лежать неподвижно в небольших углублениях, сливаясь с землей. Тогда Пегий, будто уплывая в собственное далекое детство, беспомощно прижимался к скале или валуну, становился похожим на поросший сухим мхом камень. Оцепенение оковывало все большое тело его. Когда забытье проходило, старик все труднее и словно неохотнее возвращался к миру, требующему от него все более непосильного напряжения...

И однажды в таком забытии муфлон вдруг ощутил непохожий ни на что толчок. Это и был сигнал, знак, приказ — повернуть на последнюю свою тропу. Толчок шел от самого сердца, вдруг остановившегося, а затем зазвучавшего непривычно мощно и ритмично. С новым свежим потоком крови сигнал ушел в мозг.

И с этого мгновения вся остальная короткая жизнь Пегого была подчинена лишь этому порыву. Не было больше ни страха, ни желаний утолить голод или жажду. Одно побуждение — повернуть на запад и идти туда, где, пробегая в молодости, он настороженно фыркал и топорщил шерсть на спине. Теперь только то тупиковое ущелье влекло его. И сама природа приберегла силы для этого пути.

Как случилось, что следом за стариком побежал недельный ягненок?

На этот вопрос теперь нет ответа — то ли пахнуло на несмышленища обманчиво-материнским теплом от тела уходящего мимо Пегого, то ли голод, страх или тоска по исчезнувшей внезапно матери толкнули малыша на этот след, то ли сыграл шутку инстинкт следования за движущимся предметом, вложенный в каждого детеныша природой.

Как бы там ни было, но так уж случилось, что в последнем пути, словно в искупление былых обид, провожал своего прародителя хрупкий ягненок с нежной курчавой шерсткой и с доверчивыми глазами на чуть горбоносой голове, уже сейчас сулящей силу и красоту.

Пегий был сосредоточен и не сразу обратил внимание на жалостливо-настойчивое блеяние. Но, остановившись и

ошутив малыша у своих ног, он на некоторое время вернулся из своего забытья.

Так и проходил их путь: старый баран останавливался, тяжело оборачивался и пытался прогнать ягненка, которому теперь и вовсе неоткуда было больше ждать защиты в огромном, пестром и тревожном мире. Ягненок недоуменно останавливался, а потом с требовательным блеянием вновь догонял усталого муфлона.

И путь этот не сулил малышу никакого будущего.

Забота о потомстве не свойственна самцам муфлонов. Но Пегий жил со стадом так долго, жил благодаря стаду, что воспринял безопасность ягненка как свою. И все же повернуть назад он был не в силах, зов не давал ему ни власти такой, ни права... И, не желая того, он вел своего потомка на неминуемую гибель, не умея противостоять закону.

Испытание не заставило себя ждать. Прямо перед ним на повороте террасы стоял волк.

Терраса была узкая, разойтись было негде, а на отступление не было ни сил, ни гибкости. Отвесная стена сбоку и обрыв отрезали обратные пути. Но эта же стена не давала волку обойти их. Пегий прошел еще несколько шагов вперед, теперь их разделяли какие-то метры. Зато терраса перед муфлоном сузилась еще больше.

У остроуго гранитного выступа он остановился и наклонил рога навстречу нападению. У ног копошился ягненок, и старик пытался задом притиснуть его к стене. Малыш испуганно притих, услышав настороженный храп патриарха, но волку по ноздрям уже ударял запах ягненка. И все же зверь не трогался с места.

Как и баран, волк был стар. Почти такая же бесцветно-грязная шерсть, складки шкуры, обвисшей на ребрах, и унылая покорность судьбе, застывшая на морде, делали их похожими. Может, они были даже ровесниками. Но в глазах волка не потухла неутоленная обжигающая злоба, он еще хотел жить. Горькая злоба его не затмила холодной прозорливости — волк понимал состояние муфлона. И вместо нападения на выставленные рога, старый хищник лег на тропе, не сводя глаз с дряхлого муфлона.

А Пегий стоял, чуть покачиваясь в мгновенных наплывах дремоты, из которой выводил его не страх, а хрупкое тело малыша-ягненка, прижатого к стене террасы...

И вряд ли это противостояние продолжалось бы бесконечно, если бы не вмешался Еркен... Выстрел, сбросивший хищника с тропы, не заставил муфлона даже вздрогнуть. Он исчерпал себя полностью, и ничего больше его не останавливало, не пугало.

Когда Пегий понял, что волк исчез, он пошел вперед размеренно, и чуть наклонив рога. Пошел вперед и больше уже не оглянулся...

### 3

...— Я не стал его стрелять — уж больно дряхлый был, мяса нисколько на нем не осталось, дерево. Зато в коржуне со мной ехал Кол-бала! — закончил историю старый мерген, махнув рукой в сторону муфлона, который теперь лежал на земле рядом с собакой. Точеная голова приемыша была поднята, а ухо настороженно дергалось. Уплывая в сон, я уверился, что он тоже прислушивался к рассказу хозяина и вспоминал своего первого поводыря...

Утро разбудило меня не солнцем, а насмешливыми причитаниями Еркена.

— Ай-ей-бай! Зачем ты забрался сюда, чего тебе дома не хватало! И с собой закрутил одних баранух, шайтан такой, жениховаться задумал. И гости из-за тебя на земле должны спать! Счастье, что каскыр не попался, он бы нам устроил свадьбу... — чабан уже заседлал мерина и, скорее всего, кричал так громко красавцу-приемышу исключительно для меня — чтобы соблюсти вежливость и разбудить.

Моя кобылка дожевывала в торбе зерно, а стройный дикарь, которого я сразу отыскал глазами, уже спускался по тропе вниз во главе овец. И серьезный пес со смешными шарами-серьгами неспешно сопровождал маленькую отару.

Было по-осеннему пасмурно, в небе стремительно неслись серые облака, ветер становился колючим.

А Еркен был доволен и что-то насвистывал себе под нос. Он помог заседлать лошадь, и мы тронулись вниз по следам овец.

— Умный он, Кол-бола, а Бахытжан его не любит, — сказал чабан, когда мы догнали маленькое стадо муфлона. — Так ведь он все же зверь, по своим законам живет — вот и гуртует себе подруг. Никого не подпускает близко, даже козлов гоняет. С собакой вот только и подружился, вместе росли!

Левое ухо горца было поверху срезано — старик так помечал собственных баранов. Из пятнадцати овец, которых вел Кол-бала, только три ходили с таким же знаком. И еще я, наконец, обратил внимание, что под животом муфлона привязана фанерка.

— Не любит его Бахытжан, вот и приходится пока не давать козлу мужской воли! — засмеялся Еркен в ответ на мой вопрос. — Породу, говорит, испортишь... Где же испорчу, когда вон он идет — и зерна не ел, а сыт, и в любом ручье напьется — здоров будет. Труднее с ним: как свои места почует, все убежать норовит осенью. Я бы отпустил его, да пропадет ведь — доверчив слишком, от дикого зверя только воля и осталась... Я-то его почище мамки выкармливал, первый год вовсе от меня не отходил, хоть в магазин пойду — как на веревочке за мной! — и, словно продолжая спор с сыном, закончил: — Своих овец все равно в гарем Кол-бале отдам! Вон какой он большой и красивый, а дети его ведь не будут искать дикого ветра...

Мы свернули в ущелье. Когда проезжали мимо могильника муфлонов, Еркен ткнул камчой в сторону белого осколка кости под большими, в моховой прозелени, потрескавшимися рогами: «Это он привел ко мне Кол-балу, я думаю! Много прожил, всех аллах возьмет...»

Красавец-приемыш зло фыркнул и ускорил шаг, уводя овец от хмурого места. Тихонько бормотал о чем-то мелкий ручей, топотали торопливыми копытами домашние подруги прирученного дикаря. Так ли это, того ли то дряхлого Пегего останки — кто узнает, но рассказ старого друга-меркена запомнился. Потом я уехал и долго не бывал в тех краях.

Но вновь вспомнив давнюю историю, услышанную ночью под сумеречным мерцанием пустыни, и того приемаша Кол-балу, что охранял нас вместе с собакой в чинке

Устюрта, сел я писать письмо старому Еркену: узнать, чем же закончился его спор с сыном и какие же дети пошли от красавца муфлона. Но это уже совсем другая история...

### *И мой сурок...*

Я нажимаю кнопку звонка.

Здесь живет мой старый товарищ, геолог. Но не он открывает мне дверь.

В ответ звонковой трели слышен резкий, почти птичий, и все равно ни с чем несравнимый молодецкий посвист.

Свист этот вырывается из стен, летит за окна. Он заставляет недоуменно оглянуться прохожих. И неожиданно будит в услышавшем какие-то далекие, грустно-тревожные чувства: зовет в облитые солнцем поля, в убегающие вдаль и неведомо куда еще холмы. В просторах тех жизнь, сокрытая от чужого глаза каждым кустом, камнем или пригорком. Тайная и всегда чудесная — вольная — жизнь.

Я-то знаю, что за дверью, откуда слышится свист, стоит на задних лапах круглоголовый приземистый толстяк, очень похожий на крошечного медвежонка, почти игрушечного медвежонка. А вот два зуба, что всегда видны и будто для улыбки раздвигают губы, скорее напоминают зайчонка.

Ласковый и доверчивый толстяк в рыжеватой шубе, он умеет по-медвежьи танцевать, покачиваясь с боку на бок и прижимая к груди кулачки. Он любит печенье и яблоки.

Но еще больше ему нравится, когда с ним возятся, когда ему улыбаются и затевают игру. Улыбнешься — и его круглые черные глазки дружелюбно заблестят. Он урчит тогда, довольный, и заваливается на спину.

Золотистый и ленивый, ласковый и любопытный.

Сурок!

Чужой всему здесь: чужой городу и этим стенам с обоями, которые поначалу обрывал целыми полосами. Чужой... и все же такой доверчивый. Такой дружелюбный, если протянешь ему открытую ладонь!

И еще я знаю: если провести пальцем по его короткой шее, то под густой жесткой шерстью можно нащупать словно навечно надетый ошейник. Это шрам от проволоочной петли.

Та петля была поставлена пацаном-подпаском еще осенью, когда мой знакомый сурок еще и на свет-то не появился. Оставлена сталистая упругая проволока и забыта, потому что сурки еще с конца августа залегли на зиму спать. Целых полгода оставалось до рождения нашего знаконца, а судьба малыша уже была предрешена...

Память об оставленном у норы куске проволоки в том мальчишке не шевельнулась даже тогда, когда зимой он смотрел по телевизору передачи о далеких заморских зверях. Это ведь так легко и ненакладно: быть жалостливым, когда тебе и делать-то для этой жалости ничего не нужно, правда?.. И так трудно представить чужую боль, когда самому у телевизора тепло и сытно, верно ведь?..

Вот и ржавела та петля до поздней весны. Это ведь весной просыпаются сурки и вылазят из нор своих на белый свет. Маленькие сурчата, как и медвежата, рождаются зимой в норе. Для них весной это первый выход на волю, первое знакомство с миром, в котором предстоит жить. И сразу же затянулась та старая проволочная петля на шее сосунка сурчонка, робко вылезшего из норы.

Правда, на этот раз этому сурчонку повезло: мимо проезжал на лошади верховой, мой друг-геолог. Он и выходил сосунка, а потом привез в город.

Шрам на шее остался. Сурчонок же вырос и привык к людям.

И стоит сейчас за дверью, прижимает кулачки к груди и ждет лакомства. А еще больше ждет веселой возни, как и все дети. Ну, медвежонок!

...Вот так же — прижав к груди лапки и внимательно глядя в горизонт — стоят где-то далеко отсюда его вольные братья. Стоят на гладких, поколениями сурков утрамбованных насыпях-бутанах — в степи. Среди трав и злаков издаലെка видны эти глиняные лысые холмики. Зверьков увидишь и на склонах гор, залитых солнцем, и у окраин спящих ледников — где только не селятся сурки!

Ранней весной, лишь только от тепла зашевелятся в земле ростки, над такой насыпью-пригорком у норы вдруг замечаешь круглую голову.

Еще заспанную.



Уже удивленную...

Всегда — настороженную и любопытную одновременно. И не поймешь, чего в их глазенках черных больше — страха или удивления!

Без них, сурков, невозможно представить степь и холмы летом. Без них мертвеют травы. Дорога без них длиннее и томительнее. И небо без них — словно бесцветнее. Скучное небо.

Проснулись. Весна ведь!

Проснулись почтенные матроны. Пробудились солидные мужички. Выскочили впервые нетерпеливые карандаши-сосунки.

Пересвистываются, делятся впечатлениями...

Ничего не изменилось за семь месяцев сна? — спрашивают друг друга взрослые. Вроде бы — ничего: так же лежит этот порыжелый от мха валун. И как всегда карабкается на всплеск противоположащего холма тропинка.

Вон на нее надо бы чаще поглядывать — не привела бы кого непрошенного!

По-прежнему чуть покачиваются тонкие прутики барбарисового куста. Колочие!..

Жить можно, жить хорошо, жить радостно! — так пересвистывают друг друга сурки. И вот уже на этом бутане начинается возня, прямо как борцы-тяжеловесы сходятся. А на соседнем холме у норы встречают гостя. С третьего же спустились пониже — к зеленеющей неподалеку траве. Пора и пообедать.

Резкий свист. Пронзительный свист летит по округе: трево-ога!

Всем-всем!

И ныряют в отвесную шахту-нору: хозяева и гости ныряют, взрослые и малыши. Катятся без оглядки, влетают запоздавше.

Хотя через секунду-другую — глядишь, где-то снова показалась круглая голова с поблескивающими от любопытства глазками. Выглядывает, за всех, за всю колонию настороженная и внимательная, теперь уже только при едином колыхании былинки готовая еще раз просвистать тревогу и скрыться. Теперь уж надолго, если опасность реальна. А пока выглядывает: кто же здесь?..

Ага-а!

Это низко несется орел. Его тень скользнула по опустевшим бутанам и растворилась в голубом воздухе. Тоже враг, проворонь только!

Далеко видит сурок. Далеко слышен его свист, который подхватится в следующей колонии, метров за триста. И дальше, дальше: «Мы никому не делаем зла, — будто говорят их голоса. — Мы только проснулись, мы радуемся солнцу. Как и вы, правда? Мы нужны этой земле, коли родила она нас и кормит нас! Мы живем здесь давно, и нам хочется жить здесь всегда!...»

За лето разбегутся во все стороны тропки от бутанов к дальним лужайкам с травой. Натопчут их сурки, бегая от летних нор за едой все дальше. Надо успеть накопить жир — ведь запаса должно хватить на всю зиму!

А ранней осенью соберутся всей семьей в одном убежище, глубоко-глубоко под землей. Ни звука не проникнет туда сверху, вот как глубоко.

Правда, бывает и по-другому. Умолкнет в норе подранок, унесет в себе пулю охотника. Как бы тяжело ни был ранен, а ныряет сурок в нору в самом последнем усилии, на грани меж светом и вечной тьмой. И никакой охотник не сможет достать погибшего зверька. Разве что иногда самый упорный медведь докопается. А гибель одного грозит здесь всем — болезнью грозит и мором. Всей колонии угрожает гибелью. И сурки чувят опасность, что идет им от мертвого собрата.

Тогда закрывают, утрамбовывают последнее укрытие несчастного — земля все очистит...

И переносят зверьки колонию на новое место. Чтобы заснуть до весны, прижавшись друг к дружке. Медленно-медленно будут дышать, сберегая сердце для грядущих солнечных дней.

Проедет всадник мимо опустевших холмов. Вспомнит веселый посвист круглоголовых рыжих жителей этих нор, так плотно закрытых от непогоды травяной пробкой. И поймет человек: скоро зима, скоро укроются горы и доли снегом.

И засвистит в ветвях барбариса один тоскливый ветер...

А наш знакомый сурок?

Я открываю дверь, за которой звенит предупреждающий свист домашнего сурка. Как он сразу узнает во мне дружество?

Подкатывается к ногам, сжимая лапки в кулачки, заглядывает в глаза. Зовет куда-то, что и сам забыл — где... Но ему еще предстоит это вспомнить и познать, его дети еще будут выглядывать опасность с бутана, натаптывать тропы к траве и цветам.

Я отпущу его. Что делать ему одному здесь, в этих стенах с обоями в мертвый цветочек, на этом деревянном полу, в котором не выроешь норы?..

**Мы здесь пробуем**

**до утра,**

**И мой сурок со мною,**

**А завтра снова**

**в путь пора,**

**И мой сурок со мною...**

— Эта старая, совсем давняя песенка ярмарочных предсказателей судьбы, бродячих циркачей, зазывал и шарманщиков будто и нас зовет в дорогу.

И если придется тебе проехать по степи, побывать в горах, то обязательно встретишь этот вольный народец.

Так и стоят сурки внимательными и любопытными столбиками, вглядываясь вдаль. И свист их, приветливо-тревожный, летит вслед путнику, словно сообщая ему, что он не один на этой земле...

### *Ночлег*

...Конь у меня хороший. Год жизни на ипподроме сделал его немного высокомерным, зато дончак мой не боится выстрелов даже с седла; он ждет меня, где оставлю, и подходит на свист.

Достался мне Рэд случайно. После окончания сезона бегов совхоз забрал трех жеребцов-двухлеток домой, директор попросил меня поддержать их до табуна, который должен пройти мимо моего кордона. У меня был удобный загон, трава почти в пояс, родник. Около месяца пробыли кони у меня, потом их отогнали.

Но за это время мы с Рэдом успели подружиться, а в табуне ему явно что-то не показалось: через несколько дней жеребец сам вернулся в мой загон. В косяк по молодости ему было рано, продавать его не собирались, ездить же по горам на таком высоконогом и норовистом жеребце никто не хотел. Так что мы с совхозным зоотехником ударили по рукам, подкрепили договор хорошим обедом. И Рэд остался у меня.

Хороший он конь, но хитрый. Притвориться умеет так, что, глядя на него, хочется повернуть назад — к дому, где спокойно, где ему сено не надо выискивать по былинкам, где вовремя по часам — зерно... Стонет, хрипит и кашляет, приволакивает ноги, будто кляча, принужденная тянуть поклажу непосильную. А шея тугая выгнута, чтобы одним смеющимся глазом хозяина видеть — повернет или не повернет?! А попробуй повернуть домой — в такой галоп ударит, аж глаза на ветру слезятся. И хрип надсадный исчезает, и ноги струнами зазвенят, и глаза заблестят, довольные... До-мой-ток-цок-до-мой!.. Со стороны — ровно факел летящий: красный конь, потому, наверное, кто-то Рэдом и назвал. До-мой-ток-цок...

Ну, нет! Давай-ка, Рэд, вперед! Камча звенит по сапогу — вперед! Ведь только что из дома выехали, снег хрустит под копытами, солнце веселится и слепит глаза — вперед!

Вон, собаки уже засомневались, укоризненно смотрят: неужели не пойдём дальше, опять дома сидеть, редких проезжих облаивать? И самому ведь тебе уже не терпится размяться, вверх-вниз по щели, с холма на холм по взбитой тропе. Впе-еэ-ред!

Вот Рекс залаял вопросительно: стая кекликов впереди перебегает тропу, к верхушке гряды каменной, дымящейся под солнцем, торопятся. Нет, Рекс, пусть бегут, стрелять не будем — январь, им и без нас до весны нелегко дотянуть. Стрекоcut, рвут голубой морозный воздух крылья спугнутых куропаток. Трещат, роняя ночной иней, иссохшие редкие кусты. Косится на треск повеселевший конь — вперед!..

Волчок, промысловая лайка, выгнал лиса. Пламенем мечется зверь, раскаляется лай собаки, сливаясь в одну

визгливую ноту, стре-е-еляй-яй! Потом на другой стороне небольшого хребта: стре-е-еляй-яй-ай!..

— Тр-рах-ах-ах, — выстрел.

Сухо. Точно. Чужой выстрел, не мой. Чей же?

— Вперед, Рэд.

Вот теперь покажи, что здесь никто ни в рысях, ни в галопе не обойдет тебя, вспомни свои гонки ипподромные и наши с тобой разминки в горах. Там, где сейчас хрустнул выстрел, где молчит наш пес возле уткнувшегося носом в собственный хвост лисовина, — там наша работа. Наш Волчок не пустит к поверженному лису никого. И Рекс — лайка-переродок, замешанная на волке, — чуть прихрамывая, ушел на помощь.

Слышишь их лай за перевалом — вперед! Туда, где откатилось в расщелины и утонуло в засугробленных кустах окаменелого саксаульника эхо выстрела, где покойно лежит лисовин на покрасневшем под ним снегу... Вперед...

Где стоят две мохнатые лошадки под старыми седлами. Где они, довольные непредвиденной остановкой, спешно обрывают торчащую над снегом жесткую траву. Где их хозяева в потертых полушубках не могут подойти к добыче из-за скалящихся собак. Надо спешить, Рэд, иначе наших собак, чтобы не мешали и не задерживали, сейчас пристрелят рядом с выгнанной ими лисой...

— Опустит мултык\*! — два человека одновременно оборачиваются на мой окрик, на хруст снега под копытами.

Я спрыгиваю с жеребца: начинается служба, и не самая приятная ее часть.

Подхожу к тому, что с мелкокалиберной винтовкой. Ему уже понятно, что будет, но надежда еще мелькает в улыбке. Здороваемся за руку. Другой рукой берусь за приклад винтовки: «Твоя?» Он уже закинул оружие за плечо. Вытаскиваю затвор, патрон выскакивает и зарывается в снег.

— Эй, не бери. Чужой мелкашка! Назад затвор давай...

— Теперь поговорим, — затвор кладу в карман. — Откуда, охотники?

---

\* Мултык — ружье (каз.)

— Разве не знаешь? Табунщики... с третьего отделения — не охотники...

А табун где?

— Во-он, внизу пасется. Затвор давай, друзьями будем. Летом кумыс пить будем! — смеется. Волка много ходит, табун беречь надо.

— Вот они, твои волки, — киваю на лисовина. — Козел бы бежал, тоже стрелял бы? Стрелял бы, чего там говорить... Меня знаете, или документ показать?

— Козел не надо, свои бараны есть, — и с надеждой: — Поедем: молодого барашка съедим, чего здесь кататься?

— Так знаешь?

— Знаем-знаем, старший егир ты, охотнический инспектор. Эй, затвор возвращай, мелкашку у друга взял...

— Правильно, егерь. А оружие это запрещено, ты не хуже меня знаешь. И охотиться тоже нельзя. Давай-ка ружье!

Отдавать он, конечно, не хочет. Разговор ведется долго, медленно, я убеждаю больше себя этим разговором: винтовку надо изъять, стреляют — кто попадется, не понимая до конца ни причин запрета, ни последствий, стреляют — так повелось, так привыкли. И поэтому трудно отнимать. Да и не принято здесь — все соседи, хоть на сто километров живи друг от друга — сосед. Без разговоров, без долгих объяснений и выяснений — кто чей друг и кто кого знает — не обойтись. Сегодня в округе все чабаны, табунщики, женщины — будут знать, кто отнял, зачем отнял... Конечно же, отдавать ни за что он не хочет. Я потянул ремень, перехватил у ствола. Второй подошел ближе. Совсем молодой, я раньше его не встречал.

— Жеребенка из табуна подстрелю, как тебе понравится? — спрашиваю.

— Эй, табун государственный, зачем равняешь, — смеется.

— А лес, а горы, а зверь в горах?

— Сам родится, бог дал!

— Детей много?

— Семь. А у него двое — молодой, только из армии пришел.

— Вот мне и хочется, чтобы дети — твои, его, мои — тоже зверя много увидели. Скажи, раньше здесь козла тоже мало было, всегда пусто здесь так?

— Раньше каракурюк\* табунами у твоего дома ходил, сайгак бегал. Барана легко найти можно было, в чинки мало кто ходил...

— Вот так, бог-то ни при чем. И — хватит. Сдай оружие!

Винтовка у меня в руках. А они — оба держатся за ремень.

Теперь просто нельзя тянуть время, да и глупо это, на игру какую-то похоже: уговариваем, толкаемся, тянем в стороны. И собаки рычать начинают — не нравится им эта игра. Быстро одной рукой перехватываю винтовку, другой вытаскиваю нож. Хорошо, что он острый — одно прикосновение, ремень остается у них, мелкокалиберку отношу к Волчку: «Охраняй». Теперь тороплюсь написать акт, заведомо зная, что фамилии чужие. Тороплюсь, потому что не очень приятно смотреть на их просящие лица — никогда, видно, к этому не привыкну.

... — Вот здесь распишись, возьми второй экземпляр.

Привязываю к седлу винтовку и лисовина. Прыгаю в седло, быстро еду прочь, пуская собак вперед. Табунщик стоит с ненужной ему бумажкой и все еще старается поймать мой взгляд. Лошаденки их отошли в сторону и все так же торопливо обрывают редкие травинки над снегом.

— Через три дня буду дома, приедешь — поговорим, — стараюсь смягчить ему потерю и собственную неловкость. Все-таки лучше, когда в таких случаях сопротивляются хоть руганью: тогда уж знаешь свою правоту и нет чувства неловкости. Давали бы им ракетницы, что ли: и охотиться не сможет, соблазна не будет, и волка отпугнет...»

Пускаю Рэда быстрее, быстрее.

Хоть и успокаивал я себя, но настроение испортилось. И солнце закатывалось за гору, и мороз давил — короткий январский день в горах. А дорога впереди была еще неблизкая, сложная. До ночлега — два перевала и крутой спуск по

---

\* **Каракурюк** («чернохвостый» — *каз.*) — джейран.

ущелью, и снова подъем по вьющейся тропе: там стояла юрта, в которую я ехал.

По извилистым террасам, по щелям и крутым разрезам чинков вниз спускались горные бараны, чтобы укрыться от снежных наносов, чтобы найти корм в местах, сокрытых от ветров и неожиданно сильных снегопадов. Они спускались туда, где совсем недалеко были юрты и выпасались бараны. Охотников до этой дичи было много, некоторых я даже знал. Мне нужно было по возможности сосчитать муфлонов в этом районе и послушать — выстрелы. Объехать чабанов, но это уже потом. Теперь и так будут знать, что я недалеко в объезде: слух быстро летит здесь, даже удивительно быстро. «Узун-кулак» — так местная «связь» называется, «длинное ухо»...

Вот приеду туда за перевал, а мне Бак, как всегда, скажет, хитренько улыбнувшись: «Заходи, заходи, чай кипит, думал — раньше подъедешь!» И добавит со значением: «Кудайбергену не отдашь мултык? Правильно, а я свой уже спрятал. Если хочешь, сейчас сам отдам!» — «Нет... — как всегда, поддержу я игру, — сам не отдавай, везти лишний груз неохота. Вот попадешься, — не обижайся!» И выпью кипящего, из самовара, чаю. С молоком.

Перевалы мы прошли быстро, только стало чувствоваться, что конь устал. Теперь он не притворялся, тянул на совесть, потому что наполнили сумерки. Ночью ходить под седлом Рэд не любил. Он знал, что где-то впереди ночлег, отдых, зерно, которое он сам везет в коржуне, притороченном к седлу. Наверное, перед каждым подъемом ему казалось: вот за этой сопкой будет привал. Поэтому вверх он старался перейти на рысь, приходилось придерживать, беречь его силы. А за подъемом был очередной крутой спуск, вдали снова маячил перевал, желанным дымом не пахло...

Он раздражался, похрапывал, мотал головой. И, словно мне в отместку, начинал спускаться жестким шагом, втыкая ноги в землю так, что у меня екало под вздохом. Бока коня потемнели, потом замохнатились инеем. И мне уже хотелось скорее добраться до юрты, расправить затекшие ноги, выпрямить поясницу, попить хотя бы воды...

Мы въехали на небольшое плато, в сумерках мягко спускающееся к широкому ущелью. На другой стороне вид-



нелся крошечный огонек юрты. Даже обычной конной тропой, что ныряла в ущелье немного в стороне, а потом выкарабкивалась на другую сторону, этой привычной и набитой тропой было всего около часа езды. Но я решил сократить путь, проехать прямо, и повернул Рэда в сторону.

Здесь вниз уходила на ту сторону самая короткая щель, на дне которой летом сочился слабенький солоноватый родник.

Жеребец неохотно повернул: у тебя, мол, повод — твоя и власть. Пошел к щели прямо по цельному, отливающему темной синевой снегу. Сухой тростник, круто сходящийся к ручью, что катился медленно вниз, затрещал под копытами. Впрочем, сейчас ручей уже не катился, он скользил застывшими волнами льда, его вода лишь кое-где вырывалась из-под сугробов, наледей и редких стволов саксаульника, упавших поперек, вмерзших в ледяные наплывы.

Конь захрипел, он единственного по-настоящему боялся — льда: ему приходилось уже однажды беспомощно скользить на боку вниз, тогда его спасла лишь случайная каменная глыба на пути. Он не забыл, видно, как я подтягивал его арканом к берегу широкой наледи, как боялся он вставать на ноги на этой странной земле, уходящей из-под копыт...

Конь захрипел перед замерзшим ручьем, я повел его по другому отщелку. Но этот путь только казался легче, здесь были валуны и жесткий кустарник, прикрытые снегом. Здесь надо было выпутываться из цепких прутьев, перескакивать через завалы, обходить непроходимые насыпи по крутой стене, что в любой момент могла сбросить тебя набок. Я вел поэтому Рэда в поводу, ноги проваливались между камней, выворачивались и скользили. Но теперь он доверчиво шел за мной, уверенный во мне и довольный, что идет налегке. Он даже временами, догоняя, игриво подталкивал — чего, мол, плетешься, темнеет!

...А я еще не ведал, что нам готовит именно этот отщелок. Собаки устало шли по следу. Рекс, у которого неправильно срослась поломанная где-то лапа, лег отдохнуть на тропе, выгрызая льдинки с пальцев и тихонько поскуливая. Забыл я правило: короткая дорога — не та, что пря-

мая, а та — что известная. И опомнился, лишь когда мы с Рэдом повисли на небольшой площадке, такой маленькой, что, стоя вплотную ко мне, конь положил голову мне на плечо, а грудью давил в спину.

Дальше, в следующем моем шаге, был обрыв метров пятидесяти — вниз, вниз... Один, быть может, я еще спустился бы. И спускался здесь с трудом летом. Сейчас можно было только — скатываться. Для высоконогого коня это была верная гибель. Для меня — с конем на плечах — тоже...

Мне стало жарко. Наступающая темнота размазывала границу пропасти, но конь уже почувствовал мою неуверенность. Спинай я слышал затвердевшие мускулы его груди.

... Прошлой весной в объезде мы с Рэдом повисали над обрывом в другом месте, внизу торчали нам навстречу скалы. Большая наклонная плита лежала впереди, позади — вниз уходила узкая стена, и спешиться я уже не мог. Рэд пошел вперед, заскользил передними копытами, стал заваливаться влево, поднимаясь на дыбы. Тогда осталось единственное: спасая нас обоих, отдал я повод, и выскользнул из седла назад, и, падая, резко хлестнул коня. Он рванулся, хриплым усилием перескочил плиту. И остановился, оглядываясь на меня и тяжело дыша. А я скользнул по плите той вниз, на узкую тропу, хрустнуло в ноге... Накатилась тошнота, поглощая боль, нога распухла в сапоге, но ползком я добрался к Рэду. Мы оба были живы, часа через три он довез меня домой, а уже через пару месяцев я снова мог сесть в седло.

Сейчас, как бы ни было мне страшно и виновато, каждый должен выбирать сам. Я привел сюда коня, а теперь оставлял: я человек, и человеку несвойственно выбирать между собой и животным...

Осторожно снял я уздечку, надо бы снять и седло, но до него не добраться, для этого Рэд должен сделать хоть один шаг, но делать этого шага ему было некуда. Сбоку прижимаясь к нему, я осторожно обошел коня. Он чуть темнел в нескольких шагах, когда я снова встал на тропу. Собаки радостно поскуливали. Волчок уже уходил назад, а Рэкслизывал усталую лапу. «Рэд...» — позвал я, — Рэд, фью-ю, иди, иди же ко мне, Рэд!!!»

Он стоял, его напряжение, стремление понять, что происходит, ощущалось в темном морозном воздухе, потом послышался короткий, как стон, вздох коня. «Придумай же, иди сюда, Рэ-эд...» — умолял я, отойдя еще несколько шагов.

Как развернулся он на месте, как выскочил, обрывая в напряжении подковы?.. Послышалась короткая жалоба Рекса: конь, не выбирая пути, наступил на него. И вот он, мой Рэд, дышит рядом — мне в лицо, в руки, надевающие узду.

В черном, без луны, небе сверкают звезды. Теперь назад, до развилки, потом спиральный спуск к замерзшему ручью. И по ручью — скользя, проваливаясь, выкручивая ноги в засыпанных снегом валунах — вниз, вниз, ко дну ущелья... Собаки плетутся, отстают, поскуливает Рекс.

После пережитого Рэд идет за мной понуро и безразлично, вместе со мной выкручивая свои длинные красивые ноги, с усилием заставляя себя перепрыгивать горбы лежащего саксаула. Я еще надеялся добраться до юрты, а мороз пробирается в полушубок, немеют ноги.

Где-то в стороне слышится вой, долгий, унылый, жуткий. Собака жмется к коню, другая отстала. Рэд вздрагивает у меня за спиной, на другой стороне ущелья, там, где должна быть юрта с отарой, раздается выстрел. Я тоже стреляю, зову отставшего пса. И конь хрипит — не хочет, не в силах он идти дальше.

...Да, здесь и будем ночевать: большая саксаулина стоит в стороне от наледи, на ровной площадке возле нее мы все сможем разместиться. Рядом есть еще несколько валежин, тонкие серые ветки хрустко ломаются. Разжигаю костер. Огонь берется легко, треск его пугает ночь. Лайка Волчок, облегченно постанывая, укладывается прямо на снег, Рэд тоже постанывает, пытается тереться о мое плечо заиндевелой головой. Я отпускаю подпруги.

Винтовки табунщиков, что привязывал к седлу, нет. Вдалеке слышится лай-поскуливание Рекса. И мне приходится решаться идти обратно по тропе, стараясь не пропустить злосчастную мелкашку, потерять которую я никакого права не имею.

Сапоги, прежде набрякшие от снега, теперь задубели, тяжести их я не чувствую, одно неудобство — переставля-

ешь, будто ненужные предметы, а тяжесть мнет плечи, немит шею. Окаменелая кирза скользит на ледяном наплыве ручья. Боком, переворачиваясь на спину, скатываюсь я назад, собирая под себя сугроб снега, которым укрылся поверх льда ручей в этом месте. Скатываюсь и остаюсь лежать так, успокаиваясь собственной неподвижностью. Сверху на меня несется черное искристое небо. Оно успокаивает, подмигивают звезды. Нет ничего у меня: нет тела, нет желаний, нет мыслей. Становится легко и уютно, покойно и сонно... И — метеорит! Его мгновенный огонь еще связывал меня с землей — через множество других глаз, глядящих где-то на него, чужих глаз. Росчерк метеорита предлагал желание, загадывать которое мне было сейчас лень. Метеорит летел, жил и умирал, был фактом, началом и концом чего-то непостижимого и чуждого мне теперь. Какую точку он ставил? Кому задавал он вопрос? Чему восклицал он? Какое многоточие он открывал? Мне было легко и покойно...

Унесся, погас метеорит. Словно пробужденный им, ветер сдвинул тишину, сдунул откуда-то и опустил мне на лицо льдистые снежинки.

Снег должен быть холодным, я знал это, помнил, но сейчас не чувствовал ничего. Это испугало и окончательно разбудило меня.

Я сел, нащупал руками опору, ощутил жесткость земли, услышал поскуливание ослабевшего Рекса. Выше себя по тропе, совсем недалеко, нашел я собаку, обрадованно метущую хвостом по снегу. Хвост Рекса мешал мне, когда я поднял пса на руки. Но мне надо было донести его к огню, где оставил я другую собаку и коня. Мне хотелось выкурить сигарету и — согреться, согреться...

Костер угасал. Я оживил его, наломал еще дров, раскалывал сучья саксаула о камень. Саксаул колется, как стеклянный. Блики метались в глазах собак и лошади, все еще стоящей под седлом. Метались в живой боли разутых, изгоняющих из себя мороз, ногах токи крови. Было хорошо рядом с живыми существами, было обнадеживающе — слушать потрескивание углей, снимать седло, укладывать у костра потники кверху напотелым слоем, пристраивать седло в головах. Было хорошо дышать согретым дымом,

слышать похрустывание зерна у коня на зубах, пить полузамерзший чай из фляги, видеть подмигивающие бликам огня танцующие в небе звезды...

Я дремал, обложившись собаками, ворочаясь вместе с ними, подставляя замерзший бок огню, подбрасывая в полусне костру куски дерева. Изредка пробуждаясь и взглядывая в темное мерцание неба, ожидал я начала дня. Снова летел метеорит, высекая вдалеке приглушенную волчью молитву, от которой вставала шерсть на загривках собак и жался конь поближе к костру.

Потом пришел рассвет — медленный, сонный, зимний. Рассвет, неожиданно расколотый лаем вскочивших собак. Волчок — лайка промысловая и азартная — бросился вверх по тропе-ручью, голоса возбужденно и призывно. Лай звенел в утреннем морозе, метался в стиснутой стенами и наледями щели. Рекс, хоть и остался у костра, тоже загавкал вслед подбадривающе и завистливо. Конь перестал грести копытом снег и, пружиня шею, смотрел туда же...

Я вскочил, сунул ноги во влажные сапоги, вздрогнул от морозности воздуха, взял ружье. Переломил и проверил заряды. Пошел туда, где прыгал, уже беспорядочно метался лай.

На небольшом каменном выступе метрах в четырех над землей сидела рысь. Даже не сидела — вжималась, стараясь слиться с камнем, с травяным пучком, свисающим по стене. Здесь же, почти под уступом, валялась утерянная ночью браконьерская винтовка. Откуда она взялась, эта кошка? Рысь была красива — прижавшая уши с кистями к голове, напружинившая короткие лапы под сжавшимся на пяточке телом, она была красива — даже в этом молчаливом оскале, в загнанном внутрь себя отчаянии. Какой путь привел ее? Тот же, что нас — меня, Рэда, собак? Да, к зайцам, сидящим на рассвете у каменистых убежищ, к молодым баранам, спустившимся по этим щелям от надвинувшихся наверху снега, ветра, бескормицы, к кекликам, выискивающим скупые зернышки... Я поднял ружье. Волчок залился пуще прежнего. Сзади на помощь, не выдержав, ковылял Рекс.

Природа требовательна к детям своим, но даже слабым дает она свои преимущества, чтобы не иссяк род. Я вспом-

нил, по каким стенам взбирались малыши-муфлоны уже через десяток дней после рождения, как плодовиты слабые зайцы, как оповещают всю округу об опасности сурки и укрываются в недоступных норах... Я вспомнил слепых котят вот такой рыси — им ведь не сразу дается совершенство их матери: и гладеньких птенцов кекликов, которые уже через несколько дней так умеют прятаться, что и не отличишь от окружающих камней. И волчья молитва, высеченная ночью падающим метеоритом, выйдя из снега в колеблющееся утро, тревожила своей безысходностью, пробуждала вину, сулила прощение, звала — жить. Вот они все связаны друг с другом непростыми нитями, и красота, и легкость тех горных баранов создана не без участия этой вжавшейся в камень рыси, того тоскующего под метеоритом волка.

Одной тропой шли мы с этой напружинившейся красивой кошкой. Я шел — охранять. Кого — муфлонов, кекликов, зайцев? Она, рысь, шла — жить, те зайцы жизнь ее. От одного врага нет в природе спасения ни одному самому защищенному существу, и тот враг не рискует в охоте ничем, а суд чинит сообразно собственному мимолетному удобству... Так кого же я шел охранять?.. — и от кого? Я оправдаю свой выстрел хищностью рыси, и она остынет здесь навсегда только потому, что ей не повезло, что встретился ей мой случайный ночлег. Что у меня, еще не научившегося судить себя, есть вот это заряженное ружье?

Я закинул ружье на плечо, подобрал винтовку. Повернулся, ловя растерянные ноты в голосах собак. Я ушел к месту нашего случайного ночлега. Там ждал меня Рэд. Конь терпеливо и привычно принял тяжесть моего тела. Ночлег наш чернел погасшими, остывшими под набросанным снегом головешками.

Здесь, в этой щели, я терял все: тело, желания, мысли, память, обретая обманчивую замороженную легкость стилого дыхания; утрачивая прошлое, будущее... а настоящее несло в глаза гаснущей точкой метеорита. Какую точку он ставил? Кому задавал он вопрос? Чьей жизни восклицал он? Какое многоточие открывал?

Здесь, в этой щели, заново обретал я все: затерянную в ледяном ручье тропу, скалы, укрытые снегом и ночью;

призывный лай и дым над крышей дома, где ждали меня, если даже исчезал я... навсегда; книги, которые прочитал и еще должен прочесть; друзей, которых потерял и которые потеряли меня; обиды, которые нанес вольно или невольно и которые, наверно, нанесу еще и получу сам; любовь, которую обманул, и любовь — которую оправдал; вину, которую не искупил; дела, что еще должен сделать. Здесь, в этой щели, заново обретал жизнь. И она стоила уважения к жизням иным...

Мой конь, мои Рэд, мой хитрый красный дончак постанывал, унося меня от случайного ночлега. Следом бежали собаки, все еще недовольные тем, что я оставил красивую дикую кошку на каменном выступе заледенелого отщелка. Болтался привязанный к седлу лисовин, у которого все ночлеги остались позади.

Мы уходили из этой щели теми же, что и пришли сюда... И — другими, на целый ночлег старше, на целый ночлег опытнее. На целый ночлег добрее. Или мудрее?..

### *Легенда Табанкарагай*

*С. Булешову*

Туман спустился с гор внезапно.

Будто разом кто-то великий выдохнул на морозе пар. Да так могуче дохнул, что старый лесничий, едущий рядом со мной, словно серебряной изморозью покрылся. И большой коняга его сразу закуржавел боками, стал еще крупнее, поплыл в молочном облаке над землей.

— Горы, — голос старика глухо и медленно подплыл ко мне, казалось, издалека, хотя вот он — рукой дотянуться. — Даже зимой ровно... в сказке! Табанкарагай — лесная подошва, так называют. Вот и сползает к ней все с вершин. Оттепель придет. Сойдем, лошадям роздых дадим. Скоро распогодит... Мы спешились.

Лесничий связал поводья своего мерина и моей кобылки. Лошади потерялись шеями, сметая с себя иней. Застыли, положив тяжелые головы на холки друг другу. Отдыхали.

Мы объезжали лесной участок в горах. Лесничий составил здесь и теперь уходил на отдых. Он сдавал мне этот лес, эти холмы, ущелья и тропы меж ними, перекатную

речку на дне пропасти. Все, что накрыл сейчас туман. И не очень хотел бы сдавать, но что поделаешь — время. Старик и верхом-то стало трудно ездить.

— Ты не торопись... — говорил он мне.

Все старики так говорят. А в молодости надо спешить, чтобы не отставать. Упустишь с юности, не доберешь в старости. И так говорят.

— Да, — соглашался старик. Глаза его были узки, он смотрел, казалось, сквозь меня. — Да, тороплив человек. Но ты в лес пришел... свое здесь время. Вот ель...

Старый махнул рукой. Померещилось, что его взмахом послушался воздух, качнулся, потянуло слабым ветерком.

В туманном мареве заголубела прогалина, в ее свете четким темно-зеленым конусом чернели сплавленные ветви-лапы ели. Я знал, что дальше должна быть пропасть — рухнувший вниз склон ущелья, которое разрезало все лесничество сверху вниз на много километров. Это там снизу чревоугодила речка.

— Перестой, — не удержался я попрекнуть. — Давно срубить надо бы...

— Торопишься, — повторил старик. — Но до тебя здесь тоже жили. Без памяти кто таков человек? Однодневка... Эта ель еще Тогульбека помнит... хана Тогульбека.

Думал, один живет... и остался один. Расскажу?

— Сказка?

— Хочешь, так и сказка. Давно это было. И здесь стояла белая юрта Тогульбека, а он был богатейшим баем от тех гор, — с хитрой улыбкой повел рукой старик. И там, куда он махнул, разошелся туман, в искристом луче солнца возникли несколько зубов далекого хребта. — До тех...

Туман становился все прозрачнее. «Будто знал, что это ненадолго», — подумал я о старом лесничем с невольной завистью. А он все улыбался сухими губами и вприщур встречал солнечные искры, отраженные снегом.

— И ты научишься колдовать, — понял старый мои мысли. — Не спеши только рубить... память. Возвращать все труднее.

...Давно это было. И здесь стояла белая юрта хана Тогульбека. Белая юрта, перевитая золотыми шнурами.



По соседству с ней — но все же поодаль, чтобы не накинуть тень на гордую белизну, — толпились еще юрты. Целый аул. Темные юрты, даже гостям не ставил хан белой.

А гостей приехало много: Тогульбек женил своего единственного сына.

И потому перед юртой его — на целых сто метров, а то и больше! — раскинут был дастархан. Праздничный стол, значит.

Дымились огни под котлами, где варилось мясо — со многих баранов сняли нынче шкуры. Золотились вязки казы. Пенился кумыс. Парил чай в тонких пиалах. Хрустели на зубах сласти, горами возвышавшиеся по всему дастархану.

Невеста была молода — ей было пятнадцать лет.

Невеста была красива. И тиха как сон, ее привезли из-за гор на шелкошерстной белой верблюдице. Длинные ресницы девушки поднимались и матовым агатом чернели глаза ее. И тень ресниц падала бархатистыми бабочками на розово-мраморные щечки.

Невесту сопровождали строгие седобородые мужчины с широкими плечами и тонкими талиями. Бороды мужчин были стрижены коротко и так аккуратно подбриты, что казались приклеенными. На головах белели тюрбаны, а под широкими халатами тускло поблескивали мелкие кольца кольчуг.

Кровные тонконогие скакуны хрипели и косили на людей лиловыми глазами, сбившись в плотный табун. Не было таких скакунов в табунах хана Тогульбека...

Вот из-за этого-то и не начинался настоящий той. Ну, праздник, пир. Потому-то и грелся на солнце невыпитый кумыс, потому-то и оплывали на раскрытых скатертях сласти.

Поспорил хан с невестиными родичами, что его Кулагер — мохноногий, широкогрудый и большеголовый айгыр, рожденный здесь в горах, — обгонит под его сыном Кыдырбеком любого другого коня. Любого из этих высоконогих красавцев с сухими головами обгонит жених на своем жеребце!

Он, Тогульбек, ставит на победителя — эй там, вынесите, чтобы все видели! — вот эти серебряные сосуды, заполненные золотыми монетами, камнями и ожерельями,

а есть среди них самоцветы из далекого Индостана, да! Вот эти шелка и... да, вот эту саблю, за которую отдал двести лошадей иранцу-купцу. Клинок, видно, в подземных землях варился, ха; вот каким синим огнем отдает! Другие сабли строгать может!

Пусть тридцать верст Большой Байги решат, кому владеть таким богатством. Пусть победитель вынет ту саблю из ножен. Пусть никто не скажет ни вокруг, ни за горами, что плохую свадьбу сыграл хан Тогульбек своему единственному наследнику!

И вот третий час на исходе.

Медленно и томительно движется тень по кругу на земле от пики, воткнутой в центре, от высокой пики с хвостом яка у стального наконечника.

Всматриваются хозяева и гости.

Прищурили под ладонями глаза родственники гостей и родичи хозяев. Притихли родичи родственников и работники хана. Даже дети притихли. Всматриваются все в зеленые волны холмов, во всплеск перевала, из-за которого должны показаться всадники...

— Ска-ачут!!..

Во-он скачет кто-то — не разобрать еще. Солнце качается за спиной всадника, слитого с шеей коня; прямо в глаза бьет солнце людям, столпившимся у дастархана.

Еще двое скачут следом, чуть не касаются хвоста преследующего скакуна, но им не догнать уже... не-ет!

Конечно, это его Кыдырбек на Кулагере, хозяин и не сомневался. Пропускает меж двумя пальцами жидкий хвост бороды хан Тогульбек, притушивая сытую улыбку.

Разогнался Кулагер, уже совсем близко до юрты с золотыми шнурами. Все — выиграл. Выиграл!..

Бесцветным сделался конь от пенного пота и пыли. Не видят глаза коня, выкатившиеся из орбит — всего себя отдал айгыр скачке. Только лошадь способна так отдать себя — всю, до последнего нерва. Тридцать горных верст, где угнаться за ним, мохноногим, этим баловням нездешним, пусть и резвы они. Но нет в них настоящей вольной злости, что только и дарит победу. Победа!

Хрипит, голову задрал Кулагер — поводья тянут, рвут губы, веля остановиться... край пропасти, над которой по-

ставил белую юрту свою Тогульбек, совсем близко. Вон за спиной свечами поднялись кони преследователей, выкатили в ужасе лиловые глаза свои. Ты выиграл спор ханатца, остановись, джигит!

Не остановился жеребец — рухнул на землю вместе с рухнувшим сердцем своим.

Перелетел через голову хрипящего Кулагера всадник — единственный сын хана Тогульбека и жених красивой, как сон, невесты из-за гор. Коротким был крик юноши — приняла тот крик пропасть за белой юртой, увитой золотыми шнурами...

— Твое!.. — сказали хану приезжие спорщики, показывая на выставленные сокровища.

— Твое, — еще сказали, ссыпая золото из своих карманов, выворачивая расшитые хурджуны\* и снимая дорогие седла со своих коней.

— Мое, — согласился хан Тогульбек. — Такие у нас лошади — все отдают хозяину.

И тишина висела вокруг, как туман.

И велел хозяин прибить голову айгыра-победителя к верхушке молодой ели, росшей на самом краю пропасти.

Пусть растет дерево, пусть держит корнями своими камни над пропастью. Пусть все далеко видят, какие кони в табунах Тогульбека.

— И это — твое!.. — подвели красивобородые гости невесту, тени ресниц ее лежали на белых щеках, а дыхания не было слышно. — Пусть родит тебе... калым заплачен.

Еще дымились огни под котлами. Еще булькало мясо в тех котлах. Еще капал на уголья жир с цельных баранов, нанизанных на вертела.

— Так, — подтвердил хан Тогульбек, забирая в кулак сивый хвост бороды своей. И задрожали ресницы юной невесты, привезенной из-за гор на белой шелкошерстной верблюдице.

...Но не дал аллах новых детей хану, — закончил старик. — Прервался род Тогульбека, который считался хозяином гор здешних. Давно это было... Знаешь, сколько наша ель растет?

---

\* Хурджун — переметная сума (тюркск.)

— Десять сантиметров в год...

— Давно было. Метров на тридцать поднялась ель... Взгляни, — подал мне бинокль старый лесничий. — А ты говоришь — «перестой»... Лес многое помнит. Так говорят.

У самой верхушки громадной черной ели четко белел лошадиный череп. Выбеленный дождями, ветром и солнцем, пророс он зелеными иголками.

— Сказка... — сказал я.

— Сказка, — согласился старый. — А рубить не торопись.

Солнце давно расплатило туман. Отдохнувшие наши лошади хватили губами искрящийся снег.

Мы поехали дальше.

### *Нежный чеповек Хол*

С утра Хол повесил на дверях магазина табличку: «Моя работа не буду нынча». Ниже написано по таджикски. Видимо, в том же смысле. Никто в кишлаке ему не перечил — значит, человеку надо.

Познакомились мы с ним нечаянно. Когда я впервые подходил к магазину, из дверей вышла девочка лет семи. На голове она несла ящик, полный помидоров, алых, будто только снятых с куста. Ящик не очень большой, сбитый из тонких матовых дощечек, однако для девочки явно тяжеловатый: на ходу под этим грузом килограммов на пять-шесть она как-то вибрировала всем хрупким тельцем, лишь голова ее оставалась неподвижной, будто скрепленной с ящиком. Добрая дюжина вороненых косичек змеились по напряженной спине. До кишлака почти километр, солнце пекло нещадно, останавливаться ей было нельзя. Я взял у девочки ящик, и малышка засемила следом. Глаза у нее были круглые, черным черные и испуг в них мешался с удивлением.

За сигаретами я вернулся вскоре. Магазин оказался маленький, но — «про все»: рядом с водкой стояли женские туфли производства Англии, помидоры оттеснили в сторону конфеты, а чай соседствовал с бритвенным прибором. На прилавке рядом с весами парил большой фарфоровый чайник, мужчины в тюбетейках заполняли свободное про-

странство перед прилавком, явно ничего не покупая. Чай пили.

— А-ас-сало-ом! — ответил мне широкоплечий, с мягким круглым лицом, на котором доброй картофелиной круглел нос, продавец, выходя из-за прилавка и прикладывая руку к груди. Остальные молча также приложили к груди руку.

Хол, как потом я узнал его имя или, скорее, кличку\*, протянул мне пиалу с чаем:

— Очень жарко — пей. Кок-чой, чай зеленый — пей, пожалуйста, легко станет жить!

Я старательно разглядывал немудрящее курево, стараясь не останавливать взгляда на этом забавном лице, на котором к тому же чуть не в треть щеки над левым уголком губ темнело крупное родимое пятно.

За сигаретами Хол ушел в закуток позади прилавка, подтвердив свое понимание словами:

— Э-э, болгарский любишь?

На следующий день я скатился с горы на тропинку прямо под ноги ишаку. Сверху меня догнал камень, который выбил шишку на голове — словно поставил точку на моем неудачном освоении альпинизма. Из рассеченной губы текла кровь, повисшая в плече рука быстро опухала. Губа мешала смеяться: надо мной стоял и внимательно смотрел ишак, груженный целым стогом сухой жесткой травы. Кровь быстро засыхала, рукой шевелить было нельзя, трава остро пахла незнакомым ароматом, ишак ничему не удивлялся.

«Э-э», — раздался знакомый голос, на меня надвинулся большой живот, широкие руки сразу нащупали плечо. — «Зачем один лазишь? Я всю жизнь живу — по тропе хожу, отец здесь жил — по тропе ходил. Что на голом камне надо? Носи лучше помидоры детям!..» — под конец этой успокаивающей, чуть гортанной, насмешливо-тягучей речи я гаркнул дурным голосом. Хол дернул мою неудачливую руку, хрустнуло-, стало совсем горячо. Осел запрядал длинными ушами, но не отвел заинтересованных глаз.

---

\* Хол — родинка (тадж.).

Вечером Хол постучал ко мне в комнату, внес свой живот и завернутое в цветастый платок блюдо. С пловом. Аромат его заполнил, кажется, весь корпус. Я замахал рукой, другая еще плохо слушалась. Он поставил блюдо и обеими своими руками смешно покачал живот, еще больше выпятив его:

— Вот таким будышь! Пить сколь душе угодно будышь! А потом кино смотреть пойдем. Друг снимал.

Хол легко наклоняется, подбирает на полу хлебную крошку. Выходит на балкон, кладет крошку на перила, бормоча «Птицам будет...»

Над окном под козырьком крыши чернеет ласточкин домик. Если прислушаться — можно уловить попискивание птенцов.

— Э-э... — говорит Хол, по-птичьи клоня набок голову. Хитренько взглядывает на меня и зачем-то хлопая себя по круглому животу: — Иде-ом!

Мы смотрим фильм, который снимал и в котором снимался его друг. «Заслуженный всей страны!» — уважительно шепчет Хол. Под сорокалетним Холом тоненько постанывает скамейка, когда он воздевает широкие кулаки и возбужденно подскакивает: на экране его друга со спины ударили по озабоченной судьбами мира стриженной голове. Потом скамейка успокаивается — звуки карная растрогали Хола, руки его надежно упираются в колени. Больше в фильме его ничего не взволновало, но остается доволен финалом — его заслуженный друг перестал мучиться, понял жизнь, помог, кому надо, и картина закончилась.

— Ему не больно было, когда ударили? — интересовался Хол.

В засвеченной фонарем тени возились, что-то меж собой выясняя, парни из кишлака. Возились довольно возбужденно, и парни здоровые, плечистые — горные таджики народ красивый и сильный, даже голубоглазием от долинных отличаются, как и нравом твердым. Отдыхающие курортники смотрели в ту сторону с опаской. Хол бормочет на родном языке что-то явно нелестное и животом делит вызревшую драку на два ломтя. Слышатся оправдывающиеся голоса, Хол шутя одаривает кого-то тычками в бока. Расходятся. Почтение к старшим здесь незыблемо...

— Отдыхать пойду, — сообщает Хол. — Завтра на склад рано едем. — Хол иногда так и говорит о себе, если по-русски, во множественном числе. Уходя, он нагибается: на песчаной дорожке темнел цветок. Осторожно кладет цветок на обочину — худо, если небрежная нога растопчет.

Хол часто заходил ко мне в дом отдыха. Такой подарок случается у мужчин: вроде и повода особого нет, а возникает какая-то внутренняя душевная связь. Здесь и слов никаких особых не надо, с другом и молчание не тягостно. Молчать о многом важном можно, а потом проходят годы, и ты понимаешь, что есть у тебя человек, которому твоя судьба не безразлична и он бросит все, чтобы примчаться к тебе на помощь, закон дружбы здесь незыблем издревле. Хол заходил ко мне — это было рядом, здесь же: курортники потеснили кишлак на козырьке мощного широкого уступа, нависающего вместе с домами и зеленью над круглосуточно ревущей рекой.

— Дождь в горах, — пояснил он, когда вода в реке становилась буро-коричневой. Хол терпеливо сидел, смотрел, как я работаю, потом уходил на бильярд. Удивительно, но его молчаливое присутствие скорее помогало мне, хотя даже дома я не терпел кого-то рядом даже при чтении книги. Проигрывал Хол легко, без обиды, казалось, что это он и помог выигравшему, и очень рад этому. Потом возвращался ко мне, разворачивал лепешку, теплую и пахучую. «Не магазинная!» — улыбались круглые глаза, от улыбки тубетейка ёрзала на коротко стриженных волосах.

За окном падала в пропасть ночь. Трудилась река. Мы допивали остатки водки, лепешка пахла уютом и дымом костра. Разговаривая, Хол широко разводит руками, смех начинается у него из самого живота — ровный, шелестящий, многое примиряющий смех. Большие руки падают на колени. У Хола шестеро детей. Все — дочки, а старшая уже заканчивает школу вне дома, потому что в ауле средняя школа... Проходя по аллее, Хол непременно с пыхтением, но нагибается. Не прерывая при этом разговора, он поднимает с дорожки цветок или зеленый лист и откладывает их на обочину. Курортники — небрежный народ: на деревянных софах, где днем под деревьями пили чай, валяются куски хлеба или лепешки. Хол аккуратно собирает до последней

крошки экономным крестьянским жестом. Относит на берег, крошит в воду. «Хлеб так нельзя. Пусть рыбам будет».

В воскресенье он заходит за мной.

Ишак ждал на дорожке, мы идем по тропинке, потом переваливаем на северную сторону хребта. Если хребет про-сверлить — дырка получилась бы метров двести, не больше. Серпантинном же по окружной тропе натаптывается доб-рых пару километров. А на северной стороне росли ели и даже встречаются березы. Там травы — почти в рост чело-века. На нашей же — зреют грецкие орехи и миндаль, под которыми запекается под солнцем камень.

Травы на зиму нужно много, где взять ее козам и коро-ве, если Хол не заготовит сейчас, летом? Потому хоть раз в день они с ишаком переваливают на северный склон. Ра-ботает Хол легко и привычно, покрикивая на упирающе-гося ишака, с которым они все равно приятельствуют, как покрикивали его отец и дед. Рядом с домом потихоньку растет большой стог. Над домом плавает травяной дурман, у прохожего невольно нос поворачивается в сторону Холо-ва дома и блаженная улыбка смягчает лицо. Впрочем, в других домах этой работой занимаются мальчишки, на то и каникулы летом.

...Табличку-то Хол повесил сегодня на дверях магазина. И все понимают — человеку надо, денек обойтись можно, раз так. Хол разделяет с утра барана.

— Эй, Хол-джан, гости приехали, открой быстро, по-жалуйста! — стук в ворота, голова из щели приоткрытой калитки извинительно улыбается.

— «Гости-мости», — бормочет по дороге Хол. До полудня бормочет так Хол, а двери магазина никак не закроются. После полудня приезжает «газик»: «Поехали!» И правда: се-годня ведь надо в город, на склад, туды-сюды — поехали...

Солнце в ущелье исчезает рано. Только кромки вершин освещаются снизу, фиолетовый нимб делает скалы ущелья плывущими и нереальными. Потом сразу наступает темь. Стена ущелья, что видится из моего окна, становится вовсе плоской, она придвигается совсем близко — рукой дотронуться можно, кажется. Если рука, конечно, поднев-ному воспоминанию, протянется через сад, речку, шоссе. Но их уже не видно, лишь стена выросла перед окном.



На балконе у приближенных тьмю гор стоит Хол, на которого сквозь тюль гардин падает ровный рассеянный свет. Хол наклоняется с кряхтением, слышится стук бутылок и непривычно раздраженное бормотанье. На русский он переводит понятное, но ненаписуемое выражение и зовет меня тяжелым взмахом руки...

На полу балкона лежат осколки сбитого ласточкина гнезда и три несуразных, чуть припущенных тельца. Над крышей суетливо носится птица, жжикая гнутыми крылами воздух. «Вот гады...» Хол отодвигает одно тельце в сторону — уже не жилец. Уходит, торопится: с балкона — как удобно и уютно это придумано! — прямо в сад есть витая лестница. «Вода готовь!» — это мне. Возвращается с комком глины, мы ставим стулья. Хол лепит у карниза к стене маленькую площадку, маленькую и чуть выгнутую вверх краями, этакое блюдо. Я невольно смеюсь, представив грузного Хода летающей ласточкой, но гнездо он лепит столь же старательно. «Теперь не упадут». Перьев и трухи собирается совсем немного, ветер успел подобрать. «Хватит пока. Сами закончат».

— Надо выпить, — говорит Хол. — Знаю, что работа у тебя — надо выпить! Не из-за этого...

Два птенца слабо попискивают в свежеслепленном гнезде. Выживут ли, примет ли мать, что стрелчатой тенью проносится у самого моего виска?..

Мы уходим вьющейся вниз тропой к реке, которая ощущается резкой прохладой и шумом. Здесь вовсе хоть глаз коли. Мрак. Но Хол спокойно все устраивает. Привыкнув, я различаю его руки. Слышу бульканье. Пьем. Молчим. Слушаем реку, хлопают перекатываемые течением камни. Потом Хол, будто из сна, начинает говорить.

— Любишь сказки? Я расскажу тебе одну, хочешь? Давнюю...

Было неожиданно слышать, что он говорил под этот неустанный рокот бегущей вниз воды. На меня наступала стена из гор. У подножия стены волновался голос Хола. Фигура его, лишь чуть ощутимая в темноте, была недвижна, как валуны рядом, по-моему, даже губы не двигались, голос жил словно сам по себе.

— ...Когда Александр Македонский пришел сюда, первым делом спросил у жителей, где их царь. «На кладбище

ходит». — «Где, где? Позовите его!» Позвали. Царь одет просто, как нищий почти. «Что ты ищешь на кладбище? Я тебе все дам, правь своим народом, как прежде, мы будем друзьями», — говорит ему Александр. «Все?» — переспросил его наш царь. «Все». — «Если не исполнишь три просьбы, уйди отсюда! Оставь нам свободу». — «Хорошо», — засмеялся грек, за спиной которого в пыли ползали большие страны.

«Дай же нам здоровье — чтобы не было болезни».

Молчит Александр.

«Дай молодость — чтобы не было старости».

Молчит Александр.

«Жизнь дай — чтобы не было смерти».

Молчит Александр.

«Видишь, ты не всесилен тоже. Я уйду — к могилам. Может, они ответят мне... оттуда, — сказал наш нищий царь. — Ты уходишь?»

«Я уйду», — прошептал Александр.

Голос Хола хрипловат от сырости воздуха. На черном небе, прорывленном звездами, пирогой плывет острый месяц. Он только что родился.

— Побряцай денежкой, — говорит Хол почти всерьез и просит закурить. Губы вытягивает трубкой, круглое лицо от теней огонька спички, заострилось. — Зря-а он на кладбище ответа искал!.. наш царь. Не успел плов днем сделать. Завтра придется... у меня утром сын родился. Хорошо! Четыре с половиной кило... А?

— Как ей-то пришлось, жене? Такого ребенка...

— Ну-у, сын ведь.

В темноте трудилась река, которое тысячелетие перекачивая по дну камни, перемалывая валуны в песок.

## *Камча*

— Что, нравится моя камча? — спросил Ашеке.

Камча была знатная. Я и сам давно хотел такую, да все не получалось. То ножки не было, то хорошей плетенки на хлыст, то мастера, который бы все вместе соединил в единую красивую вещь: камчу киргизского плетения с ручкой из ножки елика. Это так косулю местные чабаны называют — елик, ласково звучит... А когда появился ма-

стер, договорились сплести и сделать — куда-то ножка, давно подаренная мне и высушенная как надо, пропала. Не буду же из-за одной-единственной ножки живую косулю губить.

Вот недалеко от моего кордона пара красивая ходит: рогач взрослый с молоденькой козочкой, тоненькой еще, хрупкой, а к лету небось уже и маленького ельчонка принесет. У кого рука подымеется?..

Когда едешь по ручью вверх от кордона, сразу и не заметишь их в редких кустах по крутому склону ущелья. А они там днем таятся все время в одном месте, не уходят, хоть и тропа по низу, по ручью, конная проходит. Взять их легко: мои собаки, как проезжаю, сразу чуют и лаять начинают. Еле-еле сдерживаю. Раза два поначалу и вовсе срывались собаки, а косули — вот они, метрах в тридцати наверх скачут, только белые зеркала подхвостьев мелькают. Пришлось так прикрикнуть, даже стегануть разок псин своих, чтобы больше не дергались. Должны понимать тоже свою егерскую службу, дома ведь своих коз не трогают!

А рогач встал на самом верху стены ущелья возле камня красновато-бурого, сам на тот валун похожий, почти сливаются они, только рога на фоне чистого неба четко так вырисовываются, и голова — будто японским художником выписана. Стоит рогач и вниз на нас глядит, не очень и опасно. Подруга его чуть в стороне выскочила. И не на нас — на него оглядывается: как, мол, там? И к нему на ножках тонких, высоких подошла, почти прижалась. Никакой камчи не захочешь, и на еду-то не сразу бы стрельнуть решился, когда вот так на верху, в небе и лучах солнца, их увидишь...

А камча знатная у Ашеке. Еще и дразнит: «Что, нравится моя камча?»...

Ручка на ней до половины тонкой черной кожей покрыта, выше — шерсть красно-бурая плотно и густо прилегает к тонкой ножке, что заканчивается маленьким черным копытцем; к копытцу же тому словно серебряной клепкой хлыст прикреплен — этот хлыст вытекает из расшитого небольшого чехла черной же кожи и сплетен из двенадцати сыромятных нитей столь туго и таким изящным плетением, что...

«Что, нравится...» Еще бы!

Я люблю заезжать к Ашеке по дороге, особенно зимой, хотя его юрта совсем недалеко по дороге и можно бы проскочить мимо, чтобы поскорей попасть к собственному очагу. В его юрте как-то особенно чисто и уютно от простенько расшитых наивных покрывал, занавешивающих по сторонам утварь, горы одеял и подушек, мешки с мукой, и потому всегда стоит успокоительный запах хлеба; уютно от потрескивающих в железной печке поленьев, от постоянно кипящего самовара и запаха свежих лепешек, которые печет жена Ашеке Бибиджан; уютно и от необычного для юрты маленького окошка, что прорезал в войлоке и застеклил стеклом тракторной кабины хозяин. И в то же время не покидает ощущение какой-то воли, готовности в любой момент сняться и перейти на новую землю, чувства некоей слиянности с природой, с лесом и горами вокруг. И потому особо уютно в непогоду от подстеленных тебе корпе\*, на которых так удобно полежать в ожидании свежего чая, выкурить с хозяином сигарету, послушать его неспешные разговоры.

Пасти отару теперь ему помогает сын, так что Ашеке часто свободен или освобождается, когда я приезжаю. Мы с ним ближние соседи уже три года, пока не придет лето, мы и вовсе рядом, в каких-нибудь двух—трех километрах, но и позже, наджайляю, его отара не кочует далеко. И хотя чабану скоро на пенсию, жизнь его мало изменится и в будущем: просто тогда уже он будет помогать сыну, который успеет отслужить в армии и вернуться.

Приятен мне Ашеке еще и тем, что не браконьерствует, хотя это не очень понятно здесь. Дело это привычное — охота и вовсе браконьерством не считается. Пусть местные чабаны и неважные, как бы случайные охотники, но именно случайно-попутно они и привыкли испокон охотничать, а потому запретов попросту не понимают, не помнят. Охота для них именно попутное впечатление, выгоды от нее они не ждут, разве что в последнее время, когда приезжие горожане пробудили у некоторых интерес к шкуркам сурка, которого здесь много и внимание на которого

---

\* Корпе — ватное стеганое одеяло (каз.)

обращали прежде разве лишь если лошадь попадала копытом в сурочью нору да спотыкалась.

И в самом деле: когда овцы спокойно пасутся, почему бы и не пальнуть в доверчиво высунувшегося зверька; отчего бы и не послать пулю вослед выскочившему на тропу козлу, когда неспешно едешь верхом; как не выцедить остановавшегося на гребне марала, если до вечера еще далеко и в отаре все спокойно, а привычные мысли не развлекают?.. Такая случайно-попутная охота, когда и зверь-то при встрече не очень пугается, дает роздых однообразию дней, тему разговора со случайным гостем за вечерним чаем. И... множество подранков, судьба которых уже никого не волнует: «Бог дал, Бог взял»...

Без оружия же чабан себя не мыслил: волки, а иногда и рысь, порой пересчитывают-таки овец в свою пользу. Считай — квиты...

Мой Ашеке не стреляет вообще никакую дичь.

И волки у него ни разу никого не порвали. «Пасти надо, следить...» — пробормочет только старик. А волк ведь зверь очень неглупый, человека он обходит и силу его знает, как, впрочем, и ротозейства не пропустит. У Ашеке же, в отличие от большинства соседей, нет даже мелкокалиберной винтовки, которую прежде попросту продавали в автолавке по сходной цене, можно было взять и несколько — в запас. И он, Ашеке, не донимает меня сейчас, когда эти винтовки отбираются без разговоров при встрече, но они все-таки снова появляются невзвесть откуда. Не донимает он меня ни просьбой достать ее «по-товарищески» ему, такой обычной при встрече со мной других чабанов вот уже который год. На подобные просьбы мне обычно приходится изворачиваться, отказываясь, шутить и убеждать, и объяснять, потому что эти просьбы «по-товарищески и по-дружески» — обычное здесь явление. Как и потому еще, что я так до конца и не смог убедить многочисленных друзей-чабанов, что моя работа — эти малопульки забирать, а не снабжать их патронами для случайно-попутных выстрелов, оставляющих в мучениях многочисленных подранков...

Ашеке же я сам подарил старенькое ружье шестнадцатого калибра и несколько латунных гильз к нему; из того ружья старик бахает иногда зимней ночью для профилак-

тики — волкам, и для успокоения хозяйки своей — Бибиджан.

— ...И ты никогда не охотился, Ашеке? — спросил я. В трубе гудит ветер, стеклянное оконце залеплено снегом, потому что в горах мечется метель. Перед самой метелью, уже промерзший в трехчасовом объезде своего участка, я заехал к нему. Домой всего полчаса, с поправкой на метель — чуть больше, но лошадь совсем пристала за день, меня разморило тепло, сто граммов водки по приезде, в казане булькало мясо... И Бибиджан не соглашалась на мои слабые попытки уехать до бесбармака\*. Я остался ночевать.

— А где бала?

— Он вчера корову погнал к киргизам, продать сговорились — деньги нужны для Куралай. Да сегодня должен вернуться...

Я с сомнением посмотрел в заснеженное окошко. Куралай была дочкой стариков, с прошлого года жила она замужем в городе, готовилась в институт и собиралась родить первенца. Внука старики, конечно, заберут себе, воспитываться он будет здесь.

Мудрый это все же закон, если вдуматься: когда родители оставляют у себя первого ребенка детей и воспитывают его своим сыном либо дочкой. Дважды мудрый закон: он ближе связует молодую и старую семьи, а потом — позже, когда молодые все же отдаляются от стариков, — остается старым утеха, забота, необходимость. Вроде того стимула — жить дальше, поднимать внука-сына или внучку-дочь...

— Не вернется сегодня, — усомнился я.

— Ничто не задержит — вернется. На снег не поглядит.

— И ты никогда не охотничал, Ашеке? — переспросил я.

— Почему же так, баловался... И малопулька была... пятizarядная, точно била, — он немного нахмурился в сторону Бибиджан, которая засмеялась, прикрыв рот концом платка. Нахмурился Ашеке шутливо, он всегда ровен и спокоен со всеми, хоть из-за своих «фельдфебельских» усов и кажется важно-сердитым. Но меня реакция его сдержанной старухи заинтересовала. Да и зимний вечер в юрте длинен, когда гудит в трубе ветер, а в казане булькает мясо...

---

\* **Бесбармак** — блюдо нац. кухни (каз.)

— Проще дело, чего там, — он повертел в руке свою знатную камчу. — Здесь ведь еще десять лет назад заповедник был, ты знаешь. Даже зубров пробовали запустить. Не прижились эти у нас в горах, правда... двух телят успели родить. Тяжело им в горах пришлось, мяса много в них было...

— Не прижились? Да, трудно здесь привыкнуть, слишком много отар, да и высоко.

— Вот-вот, боялись их чабаны. Стреляли... чтобы отпугнуть. Так почти всех и съели... вместо каскыра!.. Но я на елика любил охотиться. Да тогда и много его здесь ходило, по десятку можно было встретить сразу и недалеко вовсе, здесь в Чилибастау, примерно.

Много было зверья, когда заповедник был. Потом — лес рубить стали, дорогу проложили, прежде ведь юрты на верблюдах кочевали. А директор заповедника мой друг, курдас — ровесник, значит, мы до войны вместе учились. И на фронт вместе ушли, только раскидало... после встретились, когда Бейсен директором совхоза стал. Это позже он в заповедник пришел. А я — все здесь.

Приезжал ко мне Бейсен, как положено — коньяк-линьняк, водка-мотка... ящиками тогда стояли — друзья ведь, стареть начинали, но силы еще были. «Чего это ты, — скажет, — елика подстрелить одного-другого не мог к приезду? Небось и стрелять разучился, мужик?» А я не разучился, вместе ведь на охоту ходили. И в тот раз — приехал он...

Здесь рассказ прервал лай собак. «Кого в такую непогоду носит?» — поднял я голову.

— Говорил же, что он сегодня приедет! Бала это — слышишь, как собаки лают? Свой.

Парень у Ашеке красивый и очень стеснительный. Он вошел, поздоровался, потупившись, а когда снял осеженную одежду, сел в сторонке тихонечко пить чай и так же тихо отвечать на расспросы. Корову отвел, да, деньги получил, как уговорено, все в порядке.

Ездил мальчишка далеко: до самых ближайших киргизских отар, приходящих к нам на зимние отгоны, километров сорок. И горы там серьезные... Выпив чаю и согретьшись, вышел бала\* поставить лошадь, которой после дня дороги нужно в отстое побыть. Ашеке, уже пересчитав деньги и обсудив с Бибиджан срочные покупки, вернулся было

к своему рассказу о заповеднике. Да не успел еще много сказать.

Парень внес ружье, которое оставалось возле лошади. «Ты разряди», — напомнил я. Как все-таки привлекательно для ребят оружие... И беспечность при этом: конечно же, он внес ружье в юрту заряженным. Я очень боюсь, когда в доме забытое с зарядом оружие, особенно после случая при мне, когда однажды в другой юрте пятилетний пацан нажал на курок стоящего у входа ружья. Только войлок вверху, на счастье, пробила дробь, да дите все не могло успокоиться от испуга... «Ты разряди!»

Бала, потупившись и залившись от замечания румянцем, будто девушка, разрядил свою одностволку. Я взял ее, сталь запотела и была холодна. Переломил ствол, понял, что ружье никогда не чистилось. И очень свежо пахло горелым порохом.

— Все просит, чтобы я ему малопульку достал. Ну да в армию пойдет, там настреляется. Надоеет еще. Ни к чему малопулька, — сказал Ашеке.

— А я по дороге чушку убил, — возразил ему сын тихонько, было видно, как хотелось бы мальчишке вместо этой старой неловкой рогулины держать под коленом, когда едет верхом, малокалиберку. Наверняка, кто-то из друзей так уже и ездил, желание у мальчика прямо читалось в глазах... И было понятным, как желание прибавить себе годы, чтобы считаться взрослым.

— Где убил-то? — машинально спросил я.

— В Кызыл-Мойнаке.

Это было далеко, в Кызыл-Мойнаке. И высоко — почти три тысячи метров. Ели кончаются на подходе к ущелью с красными скалами, напоминающими ожерелье, — если представить себе гигантскую шейку гигантской красавицы. Могла же чья-то фантазия представить это: «Кызыл-Мойнак» так и переводится, как «красный ошейник», ожерелье... Скалы красные даже сейчас, зимой, даже на такой высоте — там южные склоны, и снег сходит на второй день солнечной погоды. И между скал такие же красные с бурым острые щели-осыпи, наполненные красными же, выветренными и обмытыми, камнями и щебнем.



Ходить там опасно, осыпь дышит и движется под ногами. Еще опаснее там ехать верхом. Но кабаны проходят легко, мне вообще удивительно, что они умудряются жить там — на трех-то тысячах метрах над уровнем какого-то далекого от них моря... И следов на тех красных камнях не увидишь. И крови — тоже.

Изредка красное прорывается зелеными островами арчевника, тоже всегда, в любое время года, на меняющего своей вечной зелени арчевника — альпийской жимолости. Красивые места, но жутковатые, даже неприятные этой своей неизменяемостью. А кабаны отлеживаются тех арчевниках днем. Вечером они спускаются ниже, к реке, по берегам которой в поисках корма поднимают они землю рылом, словно бульдозером.

...— Убил?

— Он выскочил недалеко, я его — хлоп. С первого выстрела! С лошади прямо, она у меня не боится, — гордый, что может доказать свою взрослость и право на серьезное оружие, рассказывал бала.

— А потом? — я спрашивал, уже видя этого завалившегося на бок кабана.

— Дальше поехал, уже снег начинался, — немного удивленно посмотрел на меня парень — какое, мол, еще «потом» может быть?

— Ты сказал кому-нибудь, где убил, чтобы мясо забрали?

— Нет... кому скажешь? Там русских нет — кто есть будет?

— Может, продал кому-нибудь? — это я уж так сказал, все зная.

— Ха, кому продашь... да нам это не надо!..

— Бескорыстно, значит... И че-ем же мешал тебе тот кабан жить? А, молокосос?! Зачем стрелял, с голоду помирал? Так вот — и не подошел даже...

Бала смущенно и не понимая посмотрел на меня. Он вовсе не хотел и не ждал такой реакции, разве он сказал что-то обидное гостю? Он не понимал, хотя видел и начинал пугаться моей растущей злости и раздражения. А мне виделся тот кабан, исчерна-серый, так и оставшийся лежать на красных камнях осыпи.

Чужих детей в чужом доме не бьют, но я чуть лишь превозмог желание ударить. А разве те, кого бьют, — не чьи-то дети тоже? Бьют. И ведь не всегда просто так, чтобы выгнать собственную дурную кровь, бьют и задело. И больно. Я пожалел, что не встретил его там, в Кызыл-Мойнаке, право, пожалел.

Теперь же лишь сильно стукнул прикладом по земле, прикладом того давно не чищенного ружья, из которого походя можно убить... И мертв тот кабан, заносит его сейчас снегом метель на красных, не меняющих цвета своего, камнях Кызыл-Мойнака. Это осталось — желание встать и разбить ружье...

Ашке заметил или понял мое желание: «Ружье не виновато, оно само не стреляет...»

Наш разговор с его сыном он слушал молча. Теперь же, так же молча он стегал сына, не ожидающего такого поворота и не понимающего причины. Старик стегал той самой камчой молча и беззлобно, однако бала скорчился, сдерживаясь, пока не заплакал обыкновенными детскими слезами.

В стороне молчала и не вмешивалась Бибиджан. Мне стало неловко от собственной неуместности, здесь при таком семейном наказании и просто жалко мальчишку. Я встал, забрал камчу из рук чабана и повесил ее.

Но ведь... и в самом деле — само ружье не стреляет. И чтобы оно выстрелило точно, кто-то должен поймать цель на мушку и нажать курок. Заставить упасть на красных камнях совсем несложно любого, у кого бьется сердце. Даже этого, еще только мнящего себя мужчиной мальчишку, так мечтающего о собственной винтовке, кто-то жестокий мог бы бросить на красных камнях, если бы попался на черной дороге... Позже он, бала, поймет это, должен понять и научиться ценить жизнь. И чужую жизнь тоже.

Я повесил камчу, поставил ружье, пахнущее порохом, в сторону и стал собираться. Пусть и неудобно все оказывалось, но хотел я теперь же уехать. Казахи редко так наказывают детей.

— Сиди, — сказал Ашке. — Отдыхай. Ты правильно думаешь.

— Сейчас бесбармак кушать станем, — улыбнулась Бибиджан, словно ничего и не произошло. Она махнула рукой в сторону сгорбившегося сына — «пройдет... поймет!»

— Ты же сам спросил меня про охоту, — сказал Ашеке. — Так дослушай. И он послушает, поймет — почему бил-то. А бить меня надо: раньше рассказать должен был, почему малопульки нет!

...— Я тоже хорошо стрелял, — продолжил старик. — А в заповеднике чего бы не стрелять, если директор друг, курдас, вместе в школе учились, на фронт вместе уходили. Вот и в тот раз он приехал, Биби помнит... Бала маленький еще, остальные дети тоже здесь были, ты знаешь, шестеро их, бала-то младший.

Осень была. Первый снег был, а не холодно еще. Все хорошо помню. Он, друг мой, когда выпили, совсем немного еще, до мяса далеко еще, варилось мясо, возьми да и поддразни меня: «Говоришь, елика легко возьмешь, а меня бараном встречаешь!» Я в ответ, обижаться, мол, не будешь, так за полчаса елика тебе принесу, конь вот еще заседланный стоит! Смеется — не верит.

Взял я малопульку и уехал. А он, друг-то, еще и на часы поглядел. Юрта тогда чуть выше Чилибастау стояла, еще лесок там, где теперь сенокос второй бригады, знаешь? Там хорошую такую щель выглядел, елик туда ночью пастись приходил. И спрятаться просто, вовсе близко, и подкрасться, легко. Много ли думал, хоть войну прошел и смертей навиделся, а все по привычке — сам по себе, мол, козел ходит, сам родится, легко умирает, много его. Кто, кроме Бога, считает, кому нужно — бери... Подъехал, куда наметил, коня отпустил — далеко не уйдет, хороший конек был. Сам же пехом да скрадом к той щели, что из лесу выходит. Неторопливо пошел, знал все наверняка.

Выглянул из-за камня, а их семь штук пасется. У меня же пять патронов в магазине, шестой в стволе. И начал палить, с двадцати метров чего не попасть, коль рука ни сомнением, ни страхом, ни жалостью не дрогнет... Жми, знай, на курок!

Блики от первого выстрела только головами взметнули, ветер от них на меня — не понять, откуда тот хлопок. Так все шесть хлопков и сделал, один только и ушел.

Я к лошади вернулся, верхом подъехал взять одного. Других, думаю, и завтра успею взять, только горла всем подрезал, чтобы кровь сошла. Ну, правда, не успел за полчаса — пятьдесят минут ездил. Но все равно — удивился друг, даже пощупать вышел, не раньше ли убил, так нет, теплая еще туша.

Посидели мы с ним, съели, выпили, что положено, еще и свежего каурдака попробовали, требушины. Утром друг и уехал. Об остальных козлах я ему не сказал, конечно. Зачем смущать, все же директор.

А едва он скрылся, взял я с собой жену вот, чтобы помогла. Ты слушай, бала, послушай, я и тогда был много старше тебя, шестерым детям уже жизнь дал. И стрелял получше тебя, война научила, да-а...

Поехали мы с Бибиджан, я ей просто сказал — помогать надобно. Еще и с лошадой на месте не сошли, а жена моя ахнула только и кулак прикусила: «Куда ж тебе столько, зачем же ты...»

Посмотрел я, а утро — не вечер, ничего от глаза не скроешь. Плохо мне стало, муторно. Не охота, а побоище получилось. Если бы за кем другим такое увидел — убил бы, кажется. А ведь, думаю, это себя казнить надо, себя же и не избыешь даже...

Елики лежали на свежем снегу, только кое-где еще снег разгрести успели. Красивые, ножки точеные, рожки, а глаза уж остыли... без суда убитые!.. Повернулся я уезжать. Здесь Биби моя заплакала и бормочет: «Куда столько... и — бро- сишь теперь?...»

Я махнул рукой и ускакал. Она уж сама к соседям съездила, сказала, чтоб разобрали. Женщины несправедливость лучше нас чувствуют; они сами рожают, оттого, видно, и цену жизни лучше знают...

Разбил я ту малопульку, пятизарядную. Это проще, конечно, чем себя казнить. А старика моего уже и в живых не было, тот уж не спустил бы. Так и закончилась моя последняя охота, слышишь, бала? Всем жизнь не зряшно дана, да трудно человеку сразу узнать. А стрелять, что ж — много ума не требуется. Хорошо, конечно, себя сильным чутя, только почему на живом существе проверять надо? На беде, боли чужой...

Ашеке закончил, и мы с ним долго еще хорошо курили. Молча. Наверное, он еще раз вспоминал убитых еликов, я — живых... того рогача, что стоял на самом верху стены ущелья возле камня. Рогача, самого на тот камень похожего, с ним почти сливающегося, только рога на фоне чистого неба четко рисуются, и голова, сухая и точеная, к подруге повернута. Она, козочка, чуть в стороне выскочила. И к нему на ножках тонких, высоких подходит, почти прижимается... молоденькая козочка, еще тоненькая почти хрупкая, а к лету уж и маленького ельчонка родит...

Ашеке закончил рассказ. Хорошо мы с ним молча курили. Бибиджан, жена его, взлохматила волосы парнишки, который уже не отворачивал от нас заплаканного лица, хоть и горбился еще. Он вопросительно смотрел на отца, может быть, уже осознавая ненужность и несправедливость того, что там, на красных камнях осыпи Кызыл-Мойнака, заносит сейчас метель кабана, встретившегося ему случайно...

— Что, нравится моя камча? — спросил утром Ашеке, когда я уже садился в седло. — Возьми. Я и так помню. С того елика ножка, которого я первым принес моему другу... Возьми, хорошая камча получилась.

Камча была знатная, что и говорить: ручка на ней до половины тонкой черной кожей покрыта, выще — шерсть красно-бурая плотно и густо прилегает к тонкой ножке, которая заканчивается маленьким черным копытцем... Хорошая камча, подарок. И чтобы ружье выстрелило точно, кто-то ведь еще должен поймать цель на мушку и нажать курок... само ружье не стреляет, да-а.

### *По лицензии*

НА КОРДОН лесничества Виктор Коломиец подъезжал уже под вечер.

Зимний день короток, а здесь, в ущелье, вечер начинается и того раньше: солнце скатилось за гряду гор. Едва верховой одолел последний подъем, и два рубленых дома оказались совсем рядом, где-то за ними чихнул и забарабанил движок, вспыхнуло несколько блеклых еще в предвечерье лампочек.

Зажглась лампочка и над крыльцом, где висела надпись: «Н-ское лесничество». На крыльцо вышел лесничий.

Зажглась и над другим крыльцом, сбоку фасада, к которому крутая дорога поднималась с подъезжающим по ней всадником. Сверху почти к самому крыльцу сбегали ели. Тут тоже открылась дверь, выглянула женщина, выскочил пацан лет семи-восьми и скользнул за сарай.

Вышел казак-лесник в накинутой на плечи старой телогрейке и в галошах на босу ногу. И над третьим крыльцом — у стоящей впритык к кордону избушки рабочих лесхоза. Из-под этого крыльца запоздало захлебнулась лаем неказистая собачонка. Неподалеку прямо на истоптанном снегу валялись какие-то инструменты, несколько моторных пил, трос, в большой пень воткнулись три топора.

Все три крыльца выходили на дорогу, перед ними словно и останавливающуюся, словно отдыхающую перед поворотом дальше в горы. Слышалось мерное постукивание другого двигателя: на пилораме еще работали, там на распиле срывалась на визг пила.

Подъезжал Виктор на тонконогом молодом жеребце, было видно, что дорога сюда для них обоих была неблизкая: грудь и морда рыжего жеребца седели инеем, на бабках оплывали сосульки, из-под потника на круп расплывалось индевеющее пятно пота. У егеря усы и борода тоже заледенели, он сидел в седле немного боком, напряженно-устало. Две его собаки бежали следом, даже не пытаясь обогнать.

Навстречу бросилась целая свора разномастных собак, было непонятно, откуда они вывернулись, но заголосили они отчаянно и дружно. Овчарка и тяжелый медвежеватый кавказец егеря, взъерошив загривки и глухо оскалившись, жались ближе к коню. Впрочем, свора предпочитала держаться на расстоянии — рык кавказца словно провел черту, за которую преступить не решились. Конь, закусив выбранные натуго удила, пошел мелкими шагами и немного боком.

Лесничий, среднего роста, плотный, с широкими покатыми плечами и круглым лицом, цыкнул на собак и взял коня под уздцы. Лицо поплыло в улыбке, еще сильнее упрятавшей небольшие глаза. Ранние залысины делали лицо

благообразным и похожим на судейское. На петлицах старого, выгоревшего, но ладно сидящего мундира гнездились три звездочки.

— Пристал твой призовой! — отметил он вместо приветствия.

Егерь сошел на землю, снял перчатку. Собаки подошли к нему вплотную, овчарка обнюхала лесничего и села, кавказец равнодушными глазами смотрел поверх голов здешних собак.

— Здравствуй, Агафон!

— Здоров, Виктор! Давно из дому? Не тронут твои? — лесничий с сомнением покосился на двух псов. Те не обращали больше на него внимания и улеглись.

— В десять выехал...

— Долгонько вы с этим красавцем: я к тебе за два-с-половиной-три доезжаю, ну-у, набрось часок на подъем. Менять его надо, — Агафон похлопал коня по шее, тот испуганно скосил глаз. — Здесь горы, не ипподром...

— По пути мелкашку пришлось забрать, чуть задержались, — оправдал всадник коня.

— У кого?

— Потом... Чаем-то напоишь?

— И не чаем можно, а то одному скучно! Проходи в дом. Я здесь управлюсь. Псов только пока с собой возьми... они тоже не очень привычны, записхуют еще...

Пока шел разговор, они подошли до крыльца, егерь отвязал притороченную к седлу старую мелкокалиберку и чехол с ружьем, хотел снять коржун, однако лесничий махнул ему — мол, заходи в дом.

А сам подвел коня к коновязи, накоротко привязал, снял коржун, ослабил подпруги. Подняв одну, другую ногу жеребца, покачал головой. Пошел следом за вошедшим в дом Виктором, прихватив из поленницы несколько поленьев.

Теперь они сидели за столом друг напротив друга. Маленькая лампочка посверкивала над дверью, и приезжий устало прикрыл глаза рукой, но только на минуту: вот он уже с любопытством оглядывал небольшую комнату, понятно, что впервые здесь. Высокий ворот свитера завернул длинноватые волосы, которые егерь постоянно поправлял пятерней.

— Вот так и живем... — привычно сказал лесничий. На столе в одну сторону сдвинуты какие-то бумаги, папки, конторские книги, небрежно смятый акт на порубку.

С другой стороны, меж сидящими мужчинами стоит початая бутылка водки, соленые огурцы и грибы в общепитовской белой тарелке, крупно резанный хлеб, сало, а на целлофановом пакете — сразу видно, что это «подорожник» приезжего, — бутерброды с маслом и колбасой, яйца, коробок с солью.

Комната — контора и спальня одновременно — квадратная, беленная без затей известью, на подоконнике стоит чуть прикопченная керосиновая лампа, у стен, в обе стороны от стола, располагаются одинаковые кровати, застланные зелеными байковыми одеялами, на них и сидели. В углу при входе стоит небольшой сейф, рядом седло, какие-то мешки, механическая пила с торчащей сверху цепью, навалом разномастная одежда: плащи, полшубки... По другую сторону двери топилась печь, лежат дрова, закипает почернелый чайник. На стене напротив егеря висела цветная карта лесничества с обозначенными объездами, на ней нет-нет да и останавливается взгляд Виктора. Позади него — старый, засиженный мухами плакат, призывающий быть осторожным с огнем в лесу, несколько обложек «Огонька» с видами тайги.

Обе собаки лежали поближе к хозяину, согласно положив голову на лапы и переводя взгляды с одного человека на другого. При доносящемся с улицы лае уши собак настораживаются, но позы псы не меняют. Темень в окнах сгустилась.

Лесничий отломил от булки по куску, бросил собакам, но они лишь чуть понюхали.

— Не жрут, смотри-ка. Или приучены так? Привередливы горожане?

— Устали... Я вот тоже есть не могу — ноги бы вытянуть.

— Немного с дороги, здоровья для... Конь у тебя не кован почти, опасно. Я леснику сказал, он с утра пораньше перекует на передок. У тебя гвоздей с подковами нет?

— Ухналей я и тебе привез. Мелковаты, наверное, — пятерка?



— Пойдет на безрыбье. Ишь — ухнали, доброе слово. Думал, уж ты не приедешь в этот раз. В городе был?

— Был. Много чего поначалу надо... А приехать — договорились ведь. Мне без тебя сколько плутать придется, пока участок узнаю. Назад потому и торопился, жена обижалась — билеты в театр пропали...

— В доме-то кто оставался? Из ваших? Театр здесь потихоньку забывать придется. Хлеб не печет жена? Красивая она у тебя слишком, а здесь скотину разводить надо. Хлеб-то можно с нашими машинами заказывать...

— И коня, и жену, значит, менять советуешь? — засмеялся егерь.

— Не пойму просто — на кой тебе работа эта, спасать ли, чо ли?

— И узнать... И... да много, — егерь махнул рукой. — Чай сварился, наверное, — пока Агафон заваривал чай, а потом разливал по пиалам, егерь продолжал говорить. — Я тебе книги привез, как обещал. Правда, особого чтива нет у меня, избавился, а теперь и сам жалею — иногда хочется чем-то отвлечься... «Трех мушкетеров» перечитываю! Аты перед Новым годом, наверняка, думал, объезжать будешь, торопился. Порубщиков-то много?

— Я своих порубщиков давно по пальцам наперечет знаю... мимо не пройдут. Ты пей, укладываться пора. Чужому в наших местах делать нечего — горы... дорог не много, зима. Так что, кто елку мимо тебя будет провозить, не тормози, знаю. За книги спасибо, ты уж прости — я еще и те не прочитал.

— Ничего. Может, я на этот раз напрасно затеял с объездом? Тебе ведь вниз надо, Агафон, из дома-то давно...

— Дождутся, у меня привычные. Дети в школе, жена работает. К празднику и спущусь. За три дня основное объедем, покажу потихоньку — у нас границы совпадают. Заодно подсвинка возьмем.

— Да, — отвлекся Виктор и залез в карман. — Я лицензию выписал: одного можно взять, если найдем. В крайнем случае, несколько зайцев подстрелим, сезон.

Чай идет неторопливо, лица раскраснелись, у Виктора глаза явно плывут в сон. Лесничий же встает легко, не прерывая разговора, успевает подбрасывать дрова, доли-

вать чай, подкладывать гостю куски получше. Включает попутно небольшой транзистор, оттуда негромко идут популярные песни, не занимая внимания и не отвлекая, но придавая запущенной комнате свой уют и некую достоверность.

— Зайцев пусть собаки едят, надоели они здесь, косяе те, — заметил Агафон. — Найдем, какие наши дела! К Новому году со свежатиной не худо быть, в лесу живем. Здесь справлять думаете?

— Здесь интереснее. Что в городе?

— Скучно будет. Телевизор не ловит... Мог бы и не суесться с лицензией — кто здесь узнает. Да и хозяин тем кабанам и маралам, считай, ты теперь. Какой это егерь — без мяса? Сколько стоит?

— Лицензия? Двадцать пять. В инструкции тоже вроде посмеялись. Тебе-то, мол, зачем... — Виктор вроде и недоуменно поднял брови. — Но мне так не нужно: как после сам требовать смогу, если себе позволю? Все по правилам будет, а нам много ли надо.

Агафон внимательно и хитровато вглядывается в егеря. Сидит просто, по-домашнему оставшись в одной нательной рубашке.

— Без мяса разве обойдешься? Лишним не бывает. Давай укладываться, рано поднимемся. Коли возьмем — половина денег с меня. Собаки здесь останутся? Пусть тогда в сенях ночуют: привыкать им надо, в юрту их не пустят, не принято.

— Брось, о каких деньгах разговор, — егерь с хрустом потянулся, не выдержал. — Прости. А спать хочется, аж ноги затекли...

Без стука вошел лесник, тот казах, что встречал Виктора на своем крыльце. Собаки насторожились, овчарка чуть слышно зарычала. Лесник с опаской покосился на них. «Ложать», — сказал Виктор и за руку поздоровался с вошедшим.

— Я тоже ехать туда-сюда завтра, Федорич?

— Нет, мы вдвоем поедем. На Верхний заедем, у Момуна переночуем. В Кара-Арче чушка брать станем... по лицензии. Это охотинспектор, Виктором зовут. С ним поеду, покажу. Айгыра поставил?

— Жаксы айгыр, молодой больно. Чэге прибили с Абдахымом казыр. Жаксы будет. Кара-Арча зачем пойдешь — чушка в Бескарагае теперь. Охотнический инспектор вместо Петровича стал? Конча жас?

— Курдасы мы, ровесники значит, — Агафон снова хитро глянул на Виктора. — Ты язык потихоньку узнавай, сгодится. Дулат говорит, хороший жеребец, подковы ему прибили уже. Конча жас — сколько тебе лет спрашивает, это обычно так, для знакомства. Отыз жеты жас — тридцать семь, — он кивнул леснику. — И в Бескарагай заедем, если надо будет. Все объедем... Давай ночевать!

— Ал жаксы! — сказал на прощанье лесник. Это было понятно, и Виктор повторил: «Ал жаксы!..»

Потом они лежали каждый в своей кровати, Виктор курил.

— Ты там одеяло не прожги! — сказал Агафон. — Мелкашку-то у кого забрал?

— Кудайбергенем назвался, возле Заячьей с табуном стоит.

— А-а... Кудайберген, правильно. Дай и мне закурить: я вообще-то не курю, иногда разве... лучше свой дым нюхать! Ну спи, рано подниму...

Низкое солнце кружило среди тяжелых облаков над вершинами елей. Снег лежал нетронутым, лишь кое-где редкий след зверя или птицы пятнал его. Агафон впереди прокладывал дорогу по известным ему одному приметам.

Лошадь у лесничего внушительная — громадный мерин с широкой спиной и могучими ногами, шагает он широко и уверенно. Молодой жеребец егеря рядом с этим тяжело-весом, действительно, выглядит «призовым» — тонконогий, поджарый, с маленькой изящной головой, словно жеребенок, он то и дело переходит на рысь, нервничает, спотыкается, стараясь не отстать.

— ... Сам купил у лесника одного... за полторы сотни километров пригнал! Быка Серко вывезет. А тебе подберу: моего красавца менять надо, — говорит Агафон, крепко хлопая своего мерина по шее.

— Привыкнет!.. — Виктору немного обидно за своего красавца Рыжего, и ему не хочется ударить в грязь лицом, отстать от Агафона.

Солнце сплит, отражаясь от белой поверхности, снег бодро хрустит под копытами.

От глубокого ущелья, сверху вниз прорезавшего всю территорию лесничества на много километров, на северо-восток отходило несколько щелей, на крутых склонах которых темнели ели. Кое-где ели вытеснялись островами арчевника. Одна сторона ущелья, по которой сейчас ехали всадники, ощущалась крутым спадом холмов к реке, густеющим по этому спаду лесом.

— Вот наша речушка... та-ам — на дне! Потом спустимся к ней. А вон ту щель, — камчой махнул Агафон, — Кара-Арчой зовут, Черный арчевник значит, мы потом пойдем, под конец: там всегда кабаны держатся.

Лесничий надел темные очки, которых у Виктора не было, и потому он должен прищуриваться, чтобы как-то приглушить резь от искрящегося, горящего малиновым и голубым снега.

— По-казахски совсем не понимаешь? — продолжал Агафон. — А удобно знать, я за десять лет даже прибаутки кой-какие выучил. Ты вот напрасно без очков, глаза болеть будут, как от сварки... Всю жизнь в городе прожил?

— Ну, не совсем всю. В экспедициях работал... В море ходил. Механиком. А вот так — чтобы постоянно один, да, впервые.

— И чего в лес потянуло? Жена, небось, недовольна, даже света путевого нет...

— Свет протянем. Тебя здесь что держит?

— У меня работа такая, учился. Больше-то я нигде не заработаю... да и привык уже к воле. Еще несколько лет: потом куплю машину, дом продам в районе, в город переберусь. Ребят в институты устраивать придется. К тебе тогда на охоту приезжать стану! Так чего — от тепла-то?

— Вырос в лесу, на Урале. Вот — потянуло... делом заняться на земле, каждому человеку надо когда-то к ней прикоснуться...

— А-а, бывает, тянет. Хозяйство надо тебе развести, скота побольше — от него здесь основной доход. Перед

тобой у Петровича до пятидесяти голов ходило — быков да коров.

— Как это... до пятидесяти-то? С ними не управишься, о запретах и кормах уж не говорю!

— Управишься, подожди, — сказал лесничий обещающе.

— Мне столько ни к чему! Не затем ехал, чтобы носом в навоз закапываться. Устроюсь, там видно: жить здесь интересно, время свое сам выстраиваешь, дочке здоровья надо к школе набраться.

— Сколько ей?

— Два года, так что на пять лет нам отпуск от города дан!

— Интерес у каждого свой... Глядишь, еще и сына при-спите — ночи здесь длинные! — Агафон хохотнул, но сразу и перевел дальше разговор. — Ты вон книг сколько привез — времени и вправду достанет читать, это точно: ездить по участку часто и ни к чему — кто здесь стреляет... Летом сурки одни, они сами сторожатся — чабаны приучили!

— Подкармливать кое-где придется: и елика, и кекликов с тетеревами. Тетеревов особенно — немного их, а подкормишь, поддержишь, глядишь, и окрепнет популяция...

— Сколько живу, они здесь на одном уровне держатся — ни больше, ни меньше. Охотиться на них особо некому, да вот корму — не очень, да морозы весной или град летом... выводки рушат. Во-он, смотри, — Агафон остановил своего мерина, показал на ель, что поднималась метров на двадцать из-под края обрыва.

Лапы ели были так густы, что сливались в четкий, будто литой, конус — темно-зеленый, почти черный в этом искрящемся свете. Казалось, дерево на краю пропасти взметено оттуда, из рухнувших вниз глыб, неведомой силой. Еловый монолит словно намеренно отделился от небольшого колка леса. Сколько времени стоит здесь — двести, триста лет?..

— Перестой... — подтвердил лесничий. — Зато она корнями край держит, без нее давно бы овраг пошел. Выше смотри...

— Тетерев?

— В бинокль посмотри, там сидит... тетерка!

Егерь рассматривал в бинокль вершину сказочной елки, потом повел окуляры округ.

— Подожди, Агафон... вон трое каких-то едут... с ружьями.

— А чабаны, видно. Здесь отары недалеко зимуют. Не разминемся: подъедут, узнаю — я их всех знаю. Другим здесь некому.

Дорога ныряла вниз, поднималась, снова ныряла. Погода портилась: напоздали облака, горы скрылись в тумане.

Вблизи вывернулись три всадника. Из-за нависающей скалы, которую огибала невидимая тропа, всадники наехали на егеря с лесничим чуть не нос к носу. Басовито ухнул коротким лаем кавказец, всхрапнул испуганно егерский конь. Встреченные, вовсе не предполагавшие натолкнуться здесь на кого-то, растерянно и подозрительно смотрели на них. Но тут же и узнали.

— Саламат сыз, Федорыч!

— Лесному начальству привет!

— Здоровы будете, — кругло улыбнулся Агафон. — Далеко ли?

— А вон к Иссе в гости едем, козла съедим, в карты поиграем. Поедем в юрту, снег сейчас задует.

Виктор смотрел на мелкокалиберки за плечами двух верховых, у третьего — простое ружье, к седлу приторочен зарезанный домашний козленок. Егерь спешился. Чтобы придать себе уверенности и показать права, расстегнул полушубок: видна форма и револьвер.

— Козел-то чей? — спросил Агафон.

— Ногу сломал, чего пропадать. Тоже начальник? — спросил верховой о Викторе.

— Я егерь, охотоинспектор этого участка, — явно не в привычку и потому с излишним нажимом сказал Виктор. — Так с мелкашкой и ездите везде? О запрете-то знаете?

— Волк ведь, рысь ходит...

— Здесь волка нет, да и ружье совхоз выдает.

— Мы колхоз...

— Сходи на землю и снимай.

Лесничий о чем-то заговорил, видимо, объясняя всадникам, зачем едут и кто такой Виктор: слышалось «охотоинспектор», «мултык», почему-то — «прокурор».

Егерь притянул винтовку за приклад, быстро вытащил затвор. Выскочил в снег патрон.

— Эй, затвор не бери, шутки зачем устраиваешь! Друзьями будем.

— И винтовку снимай, сейчас акт составим, сойди с лошади.

— Эй, орыс тили бельмейде — не понимай мой, зачем мултык трожишь, — забормотал верховой невразумительно. Другой тронул коня, наезжая на егеря.

— И ты сойди, пожалуйста, с лошади, — сказал егерь. Агафон бросил на него удивленный взгляд, хмыкнул — «пожалуйста!» «Ну-у, обломаешься», — подумал про себя. Верховой прижал каблуками бока коня, конь приложил уши к голове, грудью тесня человека.

— Не балуй, — брови егеря сошлись. — Джек!

На призыв подошли обе собаки, кавказец вздернул губы, обнажая клыки.

— Ого, какой-такой породы? — показал третий верховой на пса. — Большая собака, прямо аю — медведь, да? Барана сразу съест! Познакомимся — юрта недалеко, отдыхать будем, поговорим немножко, бесбармак съедем — опять поговорим, друг.

— Баловать не стоит, сходи с коня для знакомства. Я на работе здесь, — Виктор снова принял к себе приклад второго всадника, под которым конь переступал ногами, пятясь, и, несмотря на пассивное сопротивление, тем же движением вытащил затвор.

— Переведи им, Агафон, пожалуйста, чтобы не притворялись непонимающими...

— Все они поняли, Виктор. Акт потом составим, здесь юрта недалеко — Моммуна, к которому ехали, там и напишешь. Непогода идет.

— Им расписаться надо.

— Подъедут они, я все о них знаю. Поехали. Там и винтовки заберешь.

Пока Виктор садился на лошадь, лесничий еще перебросился словами с верховыми. Разъезжаясь, он украдкой подмигнул одному из чабанов: ничего, мол.

Отъехали. Все чаще летел снег, ветер завихрял снежинки у земли. Быстро темнело.

— Снег сейчас повалит... быстрее надо к юрте добираться. Покуда видно, короткой дорогой дойдем, — Агафон

оглянулся к егерю. — Ты зря так резко начинаешь, они ребята хорошие, по-соседски надо. Записал в крайнем случае номера — для себя, и ладно. Здесь горы... и охраняться им от волков надо. А снег — это ладно, после него, коли к утру утихнет, самая наша охота будет.

— Сам же говорил, что так высоко волки редко забираются. Подранков пускают по белу свету...

— Ну, они сызмальства охотники отличные, киргизы это. Я тебе потом скажу, кто чем дышит... у кого стоит отобрать.

Пуржило. Они прикрыли лица. Говорить стало трудно, приходилось пригибать голову, чтобы не сек ветер. Лошади воротили морды набок, жеребец Виктора порой спотыкался.

Резко свернув, Агафон сошел с лошади, сделал знак Виктору — мол, тоже сходи. Тот прикурил, прикрывшись за конем от ветра. Стали спускаться каким-то обрывом, ведя лошадей в поводу. Скользя и ощущая за плечами постанывающих лошадей, сразу очутились у речки, перешли ее через береговые наледы. Длинноногий конек егеря пугливо артачился, косил глазом на булькающую в промоине воду.

На другой стороне ясно виднелась тропа, она шла по реке, а потом взобралась меж валунов и осыпей выше и вот уже повисла, заструилась над обрывом. Виктор тропу скоро потерял из виду и все старался прижать коня правее, подальше от пустоты, которая становилась тем осязаемей, чем круче забирала тропа. Коню тоже, видно, было страшно, Виктор чуял подрагивание его мышц и улавливал сбившееся дыхание, так что понуждать Рыжего держаться подальше от пропасти не было нужды.

Виктор отметил небрежную, какую-то расслабленную посадку лесничего, мерин которого спокойно и мерно уходил вперед. Виктору захотелось крикнуть, чтобы Агафон не торопился, не скрывался из виду, но постеснялся — ему почему-то пришла в голову мысль, что тот может услышать гулкий бой сердца; сам он различал этот бой прямо на слух и ничего больше не слышал, хотя Агафон явно что-то говорил там впереди, показывал рукой и оборачивался.



Так они проехали, казалось, вечность, от напряжения егерю сводило ноги, рука на поводе заостенела. И Виктору не сразу поверилось, когда на повороте вдруг открылась пологая щель, в разливе которой надрывались чужие собаки, летали из трубы искры, а потом засветил, указывая путь, фонарь.

...Агафон слушает Виктора, туманно улыбаясь каким-то своим мыслям. Явно радующийся гостям Моммун мелко-мелко крошил мясо острым ножом — на бесбармак, ему помогает парнишка. Пожилая хозяйка разливает сурпу.

За палаткой по ущелью посвистывает ветер, сухо кашляют сбившиеся в плотный круг овцы в загоне. А у людей, несмотря на ночное время, весело трещат дрова в железной печурке.

— Задача у нас одна, Агафон, так ведь? — продолжал Виктор свой разговор. Говорит он немного выпренно и страстно, как завзятый горожанин, на это-то и улыбается лесничий, добродушно поддакивая в нужных местах — о чем, мол, спорить. — Зверь в лесу живет, а какой лес — без зверя и птицы?! Сейчас мы уже не можем позволить такой роскоши, как любительская охота, пойми, да и что за удовольствие — в убийстве. Живое это, а ведь гибнет и не восстановишь потом...

— Да? — Агафон подливает в пиалы густую буро-коричневую жидкость, пахнущую пшеницей и тестом. — Ты пей — это буза, чистая пшеничка, так весь день потом — как штык и есть не надо!

От еды накатывается истома, тепло и полулежачее положение размаривают. Виктору уже не хочется больше ни мяса, ни чаю: скорее бы вытянуть поудобнее ноги, закутаться в одеяло, вовсе закрыть глаза. Однако, им здесь рады, а гостеприимство диктует свои законы и гостю — егерь ест сладкие куски, подкладываемые хозяином, пьет, смеется, слушает, силясь удержать падающие веки.

После еды приветливый Моммун предлагает сыграть в карты, и Виктор про себя согласен остаться тысячу раз в дурнях, только бы скорее успокоиться и заснуть. Но и забота не оставляет его.

— Что-то не едут те чабаны, Агафон...

— Ну, по пути где-то сели... непогода. Куда денутся.

— Хорошо здесь, даже не верится, что там пурга метет... Бр-р! — Виктор потянулся. — Спа-ать... Как там собаки?

— Помощник Моммунов присмотрел. И кони сыты. Давай выйдем, покурим, пока хозяин постелит, — Агафон положил руку ему на плечо. — Здесь в согласии хорошо жить можно, Витя!

Ветер скручивал снег в столбы и уносил их куда-то вверх, прочь. Собаки егеря подошли к нему, они уже свыклись с двумя лайками-полукровками, которых взял с собой лесничий и которые днем рыскали по лесу рядом с их дорогой к Моммуну. «Добрый он, лицо хорошее, — подумал Виктор о лесничем. — Вот что значит — в лесу жить на воле...» Мысли текли лениво, и едва их позвала хозяйка, он нырнул в сон, будто в омут.

...Проснулся Виктор рано, было еще темно и холодно, палатка, обтянутая изнутри кожей, выстудилась до инея. И хоть сна больше не осталось, он еще плотнее закутался, залез в одеяло с головой, слыша, как встала хозяйка, как разжигала она печку, как схватился и весело загудел в трубе огонь. Порадовался теплой тяжести тулупа, который кинул на них двоих Моммун. «Не спишь? — спросил рядом Агафон, он него виднелась только шапка. — Замерз, небось, здесь в ушанке спать надо — выдувает без огня. Согреемся, чаю попьем и поедем...»

Они курили натошак, слушали, как жуют рядом лошади, приведенные парнишкой-помощником, повизгивала на одной ноте какая-то собака, снова морозно кашляли овцы. Нагрелась палатка от железной печки быстро, скоро и самовар закипел.

И все же они не торопились — темно еще. Не торопясь одевались, не спеша пили чай, ели вчерашнее мясо, пили густую бузу. «Ты, Виктор, оставь затворы от тех винтовок, еще потеряешь, — сказал равнодушно лесничий, — Мы сюда назад вернемся, глядишь и те подъедут. Тогда и разберемся...»

В свежем промороженном воздухе чуточку кружилась голова, они сидели в седлах вольготно. Лошади снова привыкли к ходьбе, разминая затекшие в ночном воздухе ноги. Только теперь Агафон не отпускал своих собак от себя. Собаки были голодными и рвались за первым же выскочившим зай-

цем, увлекая за собой и егерскую овчарку, и кавказца, которому из-за грузности дорога давалась тяжелее.

Агафон вытянул своих камчой так, что они поджали хвосты и побрели позади мерина. «Своих тоже не отпускай!» — предупредил лесничий Виктор.

Лес, по которому проезжали, был захламлен валежником: упавшие под ветром или временем деревья, засыхающие теперь на корню. От этого лес казался сиротливым, заброшенным, нивесть кем забытым.

— Несмелому нигде не достанется, а?.. И в природе — бери, пока в руки идет. Иначе съедят! — Агафон полуобернулся в седле и подмигнул. — Как и в городе, да? Комиссии, конечно... да, они ведь из людей составляются, всем жить охота. Этот лес видел бы ты десять лет назад — не проедешь! Зверья было... ну, да на наш век и теперь достанет, чужой здесь ничего не возьмет.

— Вот потому и надо нам свои усилия объединить... чтобы не разорять дальше, — ответил егерь убежденно. — Так до края легко дойти, но не должен же человек все под себя грести. Мы разучились даже к себе добрыми быть...

— Это как?

— Да так: доброта... и к себе, да!., подразумевает нравственность, совесть: нельзя к одному и тому же с двух позиций подходить — это, мол, мне хорошо... или Иван Иванычу. Потому что удобно. А вот другому заказана — потому что это природе... или там хозяйству разор и потому что это воровством выходит. Завтра и этот «другой» себе отговорку придумает, чтобы тоже пользоваться. Слабину себе даст. Вот уже «наше» на «мое» растаскивается... а затем, глядишь, уже и растаскивать нечего. И главное: дай совести разок послабление... быстро жир на душу ляжет...

— Ну, это философия! Всем хорош не будешь, на каждого не угодишь, а здесь, в лесу, свои законы, — Агафон обернулся и вприщур посмотрел на егеря. — Да там посмотрим...

— Вот я и говорю: себе разрешишь, а почему не остальных так же? Спустя время — пфу, пустота, уже ведь получаем! Значит, соразмерять надо... и возвращать, если уж пользуешься — тогда и на завтра хватит, тебе, другим, всем...

— Работать с умом надо, это верно. А теперь помолчим, видишь — следы... Марал ходил... а вот — свиньи рылись. Ты ружье-то картечью заряди, — Агафон говорил чуть слышно, хотя и показал рукой на южный склон горы, по которому еще предстояло подняться.

Лесной массив кончился, они перешли через ручей, у которого виднелись следы. Склон впереди был меньше заснежен, высокая обледеневшая трава покачивалась над настом под слабым ветром, дующим всадникам в лицо.

Солнце поднялось к полудню. Охотники на лошадях поднимались поближе к солнцу. Путь к виднеющейся наверху гряде валунов, за которыми выглядывали верхушки елок северного склона, был несложен, но длителен: лошади шли серпантинном — метр вверх, десять в сторону, переводя дыхание на плавных поворотах.

Не переваливая через гряду, Агафон спешился, взмахом подозвал Виктора. Лесничий накоротко связал обеих лошадей поводьями, они, довольные, дружно принялись щипать высокие сухие бодылья. «Иди, перекрой вон тот выход, — показал он Виктору рукой. — Я пойду правее». И проворно пошел валким шагом вдоль гряды. «Кусь! Ищи!» — поощрил лесничий собак, пропустил их вперед и скрылся следом. Викторова овчарка, которой он поощрительно махнул рукой, возбужденно понеслась следом за лайками. Тяжелый кавказец остался с хозяином и грузно лег у ног.

Виктор стоял за валуном на самом гребне. Вниз, по крутому северному склону, спускались ели, перемежаемые рединами, старыми вырубками с уже слежавшимися сучьями и валежником, сквозь который поднималась рябина. Высокие — выше роста человеческого — кусты смородины и шиповника. Сбоку, метрах в двадцати от валуна, где затаился егерь, на гряду выходила пологая щель, густо заросшая вереском и таволожкой.

И десяти минут не прошло, как где-то в самом поду лесного склона раздался лай собак. Сначала drobный, разбросанный, но вот уже и слившийся в единый возбужденный гам голосов, катился он на застывшего стрелка.

«Тихо... молчать!» — предупредил он властным шепотом кавказскую овчарку, у которой задрожало горло.

Внизу, среди елок, слышался треск, замелькали крупные серые тени. Треск становился все ближе; Виктор взвел курки.

Там, где на гряде выходила щель, показалась большая голова с крупными закругленными ушами, тревожно прыдущими среди тонких прутиков куста «Не кабан это!» — шарахнулась мысль, но палец уже спустил курок. Над грядой пронесся выстрел.

И его нельзя было остановить. И ничего уже нельзя было изменить. Картечь швырнула на склон мощное, широкогрудое тело на длинных тонких ногах.

Еще три таких же силуэта, чуть поменьше, метнулись в сторону и вниз. Руки стрелка спустили ружье прикладом на землю, оно косо съехало по снегу на валуне. Виктор шел к поверженному зверю и слышал гулкие толчки под сердцем.

...— Да-да, это не кабан... марал, — произнес Агафон, вдруг выходя почти за спиной егеря. — Маралуха!

Он поднял егерскую курковку, подошел и разрядил в голову зверя второй ствол. Его собственное ружье спокойно висело за плечами, дышал он тоже спокойно — никуда и ниоткуда не спешил.

В чистом белесо-голубом небе весело сверкало солнце, проплывали редкие изящные облака. Тень их скользнула в мутнеющих глазах оленя... маралухи — это была старая, с хорошую корову, маралуха — Агафон кинжалом вскрыл выгнутое в последнем усилии горло, темная кровь медленно толчками выходила на обнаженные камни.

— Маралуха, конечно... Здесь редко кто удержится от выстрела, — говорил лесничий ровно. — Не знаю еще такого, чтобы удержался. Теперь давай побыстрее разделаем да на кордон. Никого из чужих здесь не будет, так что не переживай понапрасну. Берись за тот бок...

«Как же это... зачем?..» — Виктора вовсе не успокаивает добродушная улыбка Агафона, не нравится понимающее сочувствие лесничего. Отталкивали, накатывающую тошноту усугубляли его парящие руки, ловко и уверенно разделяющие их жертву. — «Соучастники... вот...»

Подошли собаки, улеглись вокруг, ждущими глазами следили за умелыми руками, роняли длинную слюну. «И

не нашу... мою, — ворошилось у Виктора в голове. — Вот в том и дело... моя... жертва, что уж».

В веселом голубом небе кружилась черная большекрылая птица, вскоре прилетели еще две. «Как-то ведь узнают... Это мой выстрел опрокинул ее... на камни». Да-а, еще не все — точно стрелять, нажать курок и ребенок может, да он не ведает — что творит. Вот так: «редко кто удержится», утешайся братец».

— Мясо у нее жесткое, — рассуждал лесничий, бросая вырезки собакам. — На котлеты только и пойдет. Приведи лошадей, Витек, грузиться пора. Еще километров двадцать отсюда петлять — потемну и приедем ко мне, переночуешь... а, черт — молочная какая!..

По рукам Агафона текло молоко. Вымя раздирали собаки. Солнце, уже торопясь, катилось за гору. Мороз начинал стучать у Виктора на зубах, в висках звенело.

Наконец, с разделкой покончили — Виктор вяло помогал лесничему грузить мешки, на которых проступали ржавые пятна. Агафон отмывал снегом руки, мутные хлопья пятнали голубой наст.

Грязные мешки по обе стороны седла мешали ногам всадников, лошади покряхтывали от тяжести, потели и быстро покрывались инеем, унося охотников все дальше от гряды, на которой уже пировали стервятники.

— Ты чего примолк? — Агафон придержал мерина. — А-а, жалко, чай, маралуху. Пройдет. Да никто и не узнает. Мяса надолго хватит. А те чабаны пусть себе, они не вредные... Я тебе скажу, у кого ружье отобрать стоит. Вот через недельку-другую и твою лицензию под кабана осуществим. За ним так далеко и не надо ехать, удобней место есть...

Рука егеря, достававшая спички, нащупала блокнот. Глянцевую бумагу в нем. Виктор смял лицензию. Его чуть не вырвало: снова увиделось, как текло из мертвого вымени молоко, смешиваясь с грязью. Он ненавистно взглянул на добротную спину Агафона, уверенно плывущую впереди. Сумерки сгущались. Мерно колыхались полные мешки. Довольно, сыто и тяжело трусили следом собаки. Только огромный кавказец обернулся на хозяина, будто сочувствуя. Покашливал от напряжения Викторов молодой конь.

— Что-то твой Рыжий плохо идет.

Мерин впереди остановился, собаки, не оглядываясь, ушли вперед. Агафон перегнулся к приблизившемуся егерю.

— Возьми камчу, хорошая камча — у киргизов взял, только они такую плетут. Возьми — на память! — Агафон почти насильно всунул отполированную рукоятку в вялую руку егеря. — Ты правильно у Моммуна говорил; общие дела у нас с тобой теперь, в лесу без поруки нельзя. Обычай здесь такой — меняться плетками, зарокон дружбы, мол... Понимай!..

Он взял у Виктора прутик и засмеялся.

— Так говоришь, общение с лесом облагораживает? Это так? Вот и отдай Кудайбергену мелкокалиберку, он твоих овец пасти станет, я скажу ему.

...Вернувшись домой, егерь забросил камчу. И никогда больше не пользовался ею, хоть и не выбрасывал совсем: он презирал себя за молчание, но чужая плеть напоминала о том выстреле, который уже нельзя ни остановить, ни вернуть. Напоминала о текущем по рекам еще теплом молоке, которым не докормила теленка маралуха.

Впрочем, на кабана им пойти так и не пришлось вместе: Агафона вскоре перевели в другое место, главным лесничим.

### *Поземка на дороге*

Над дорогой дымилась поземка. Ночь была светлая от белесых облаков, сквозь которые все не могла пробиться луна. В воздухе плавала опасная морозная оттепель. Ровный ветер гнал по дороге сухой снег.

Казалось, мы тоже едем по-над дорогой: такой ровной дымкой стелится поземка. Лишь в отдельных выбоинах взмывают вертикальные снеговые вихри-столбы, разбиваемые радиатором машины.

Ехали не скоро — Леонид, по всему, не любит рисковать без нужды. И хотя на дороге никого не могло быть, хоть ночь была поздняя, какая-то даже бескрайняя, а двигатель гудел ровно и Леонид почти не трогал скоростей, он отказался даже от крепкого чая, предложенного ему «для бодрости».

— Ну к чему это, пусть и с ромом... А ты не спи дорогой, — еще вначале предупредил меня Леонид. — А то я развернусь... не люблю, когда пассажир носом клюет. Ехать не могу...

Ровность же езды укачивала, в кабине тепло, мелькание за стеклом безлико. И ЗИЛ его надежен, новенький, ухоженный. Я не спал, довольный уже тем, что водитель не требует от меня разговоров. Медленно, не отрываясь от дороги и не поворачиваясь ко мне, он говорил сам. Впрочем, я чувствовал, что он меня видит, и потому я сидел вполборота к нему, изредка закуривая или прикуривая сигарету для него.

Мы везли на кордон зерно для подкормки зимой птицы и зверя, машина «выбита» для меня стараниями друзей и должна сразу вернуться обратно, а крюк в шестьсот километров туда-назад и согласие на него — само это одолжение заставит тебя быть внимательным. С Леонидом мы познакомились уже здесь, в кабине. И я понимал, что он делает это одолжение, и потому давил в себе даже расслабленность, чтобы не окунуться нечаянно в сон.

Впереди ждали лес и горы. Пока же мимо текла вовсе незаметно поднимающаяся к горам степь, летом выжженная, сейчас ровно заснеженная и безжизненная. Не на чем здесь остановиться глазу, вот разве перебежит дорогу случайный зверь. Может, именно в этом ожидании разговор у Леонида все время возвращается к охоте. Да, он любит ее, правда, не больше рыбалки.

Честно говоря, с ружьем я представить Леонида не могу, сколько ни стараюсь. Из-за внешности его.

Водитель мой мало сказать большой — он громаден: почти двухметрового роста, ноги будто столбы, плечи широченные, а когда он становится на подножку, даже его ЗИЛ-130 ухает, принимая в кабину. И при этом — никакого впечатления грузности, тяжеловесности, настолько все в нем соразмерно и ладно скроено. Если добавить еще и белокурые волосы и розовощекое лицо, хоть ему явно под сорок, крупно и правильно вырубленное лицо, то станет понятной характеристика в одном слове моим приятелем — «Ве-еликан!» В гараже его называли проще — Большой.

Так вот, с ружьем (тем более — с удочкой!) его я представить никак не мог, в таких руках оно казалось бы слу-



чайным прутиком, ему и с ружьем, по моим прикидкам, было бы просто неловко справляться по причине малости ружейной. Ну, в крайнем случае, какая-нибудь древняя фузея, что заряжалась с дула и напоминала бы скорее малую мортиру... Самое естественное, что ему просилось в руки, был громадный топор среди могучего леса необхватных мачтовых сосен, однако я здесь же и порадовался его нелесорубской профессии — какой бы лес не поредел под напором такого гиганта?

А здесь его руки спокойно лежат на баранке, которой под такими лапами и не видать. Да, вот еще где уместно представить Леонида: на паруснике, у неповоротливого, в рост среднего человека, штурвала.

Я вспомнил очень похожего на него второго штурмана рыбацкого траулера из Архангельска, с которым когда-то ходили в море и которому было настолько тесно на траулере, что он к концу перебрался-таки на базу-матку четвертым помощником.

— Не-ет, брата у меня нет, — ответил Леонид и добавил, будто откликаясь на мои мысли: — А лесорубом вот я поработал. Немного, правда, в армии, возле Уссурийска... — Больше всего на уток люблю охотиться, — неторопливо продолжал он свой разговор. — Затемно залезешь в камыши, еще морозец ночной потрескивает под ногами... а на востоке уже розовеет, тишина, камыш только чуточку поскрипывает... потом слышишь вдалеке поначалу: «хли-жи-хли» — летят! Вот — над тобой уже. Вскочешь на ноги, небо словно совсем близко («Еще бы не близко, при таком-то росте!» — неловко пошутил я.) Да нет, не в росте дело, а — вот оно, небо, и вот — меж ним и тобой — стая. И ты достаешь ее дуплетом... Понимаешь, как здорово!

А вот на знакомых не могу охотиться... даже есть не могу... Это ты прав, у нас это бывает любимое занятие — на знакомых-то... не о том я... Ну вот держала у нас мать гусей, кур, баранов там несколько бегало, корова с теленком... все знакомые физиономии! Так вот, кормишь их, по голосу различать научишься, за ухом кому почешешь — как же ты этого гуся потом в суп засунешь, если он к тебе на зов торопился недавно. Отказался я после держать живность, кроме собаки да кошки, дома никого

не хочу. Привез как-то ягненка, Борькой назвали. Так, веришь, привык до того, что заеду пообедать, дверь забуду прикрыть в кабине, выхожу а он, паразит, — уж там, по сиденью копытцами перебирает да еще горошин порассыплет! Съешь его разве?.. Продал. Да и дома теперь... нет, ладно, не о том я...

Так и на охоте... есть у меня тоже егерь знакомый, отдыхал у него, ну и помогал, понятное дело. Вот мы кабанов осенью прикармливали: рассыплешь зерно, картошку, еще и в машину сесть не успеешь, а малыши уже хрюкают, хрустят, толкаются. Матери, да постарше подсвинки — те осторожнее, поодаль жмутся, а этих — чуть не в руки бери, полосатиков, да такие смешные, толкотливые! Зимой к нему же приехал. Пойдем, говорит, на охоту, кабана взять надо. Пошли.

К вечеру уже, луна ранняя была, всех, как на ладошке, девять насчитал на поляне. Копают — ровно бульдозеры, только комья мерзлые летят... а что накопают, когда снег да мороз? Трудно зверю зимой порою... Уж подросли маленькие, полосок не видно, да вспомнил, как кормили их, как суетились и хрюкали... Положил ему, приятелю-егерю, руку на ружье: нет, говорю, все понимаю — надо отстреливать и мясо нужно, только вот уйду, без меня и охоться — кажется, что знакомые они и на меня все посматривают! Ух, и костерил же он меня потом дома! Смотри-ка...

В свете фар на дороге металась лисица... нет — меньше и серая — корсак. Я взял расчехленное ружье, достал патроны. «Попадешь на ходу?» — спросил Леонид вроде с сомнением. «Конечно, двадцати метров не будет...» — ответил я, примериваясь взглядом, и опустил стекло дверки. В кабину свистнул снежинками ветер.

А Леонид выключил свет на секунду и дал газу. Мотор зарычал, корсак сразу нырнул с дороги. Я удивленно взглянул в чуть улыбающееся лицо соседа.

— И почему их так к дороге тянет, объясни ты мне? А мы тут как тут — с фарами, с ружьями, со скоростями... венцы природы!.. Знаю, скажешь сейчас, что он зайцев, кекликов там или еще кого, гнезда, мол, зорит, знаю. Только они ведь и без нас наверняка смогут разобраться... Кто это нас поставил — выбирать? Вот если бы ты на лыжах

этого корсака догонял, день-другой его выслеживал, да хитрости его расплетал, это я понимаю — охота. На равных. Спорить будешь?

Я не спорил. Мне казалось это правильным, хотя и не очень реальным.

— А ты говоришь, что любишь охотиться... Как же ты вообще-то на курок нажимаешь, а, Ленья?..

— И охочусь, и — люблю. Не убивать — брать люблю, выстрел — это уже конец, итог, значит. А до итога... Вот на тека люблю охотиться, хотя мне это непросто — тяжеловат я для скал. А все-таки: налазишься, намучаешься, выследишь, где он может на тебя выйти, во-от тогда он твой... аж сердце тотокает от азарта, от превкушения добычи, да-а... пусть колени сбиты все, так вот и надо, да на руках, а то и на морде царапины саднят и страх сорваться со скал еще живет в тебе, а ты... вот как!..

Ехали мы все так же неспешно. Все так же мела поземка. На пути в поселке из трех домов попалась заправочная, здесь мы посидели немного, перекусили, выпили весь чай из термоса, словно сил набираясь. Дальше перед нами лежала широкая пустынная долина в несколько десятков километров — дороги, после которой начинался перевал. Но ту долину надо было пройти.

Звалась долина Иссущающей. И вполне оправдывала свое название. Оправдывала не только летом — тогда здесь было постоянно желто от редкой жухлой полыни да жесткого ковыля; желто от потрескавшейся в безводье суглинистой почвы. Долина эта иссушала и зимой, даже снег здесь, если и выпадал, то несся жесткими замороженными иглами и исчезал неведомо куда, будто вымерзая и сам. Не дай бог чему-то сломаться и стать здесь, в распахнутой на три стороны пустоши, машине. Ветер, едва откроешь дверцу, срыгает и уносит все крохи тепла, мгновенно сжимает мускулы, стремясь превратить их в сухое дерево. Ни зверя, ни птицы не встретишь здесь зимой. А ветер, нестерпимо жаркий и столь же нестерпимо леденящий, вопит здесь постоянно, со свистом вырываясь с перевала, перед которым долина сходится в ущелье.

Но нам хорошо в теплой кабине, ровно гудит мотор надежной машины, баки полны, запаска есть — чего нам

опасаться, нам хорошо и спокойно. Мы разговариваем, курим, стараясь отогнать настырную дремоту.

«Сколько земли пропадает...» — это я слышу здесь почти от каждого шофера. Здесь, на этой ровной безжизненной глади, невольно примолкают разговоры, на полуслове порой обрываются анекдоты: «Сколько земли пропадает...» Да, сюда бы воды, но воды надо много, чтобы напоить веками сохнущую землю. Чтобы оживить тлеющую здесь полужизнь... А может быть, так и надо — чтобы здесь была пустыня, чтобы накапливала она что-то свое? И где это вода теперь — лишняя?..

— Ишь, несется... чего бы ему по такой дороге торопиться, — Леонид скосил взгляд в боковое зеркало и тихонько повернул рулем, прижимая свой ЗИЛ правее к обочине.

Только сейчас мы невольно заметили, что вот уже за три часа езды нашей это была первая машина в пути. И то сказать — ночь, непогода. Старенький, видимо, сельский, «газик»-самосвал, брызгая из-под колес гравием и звеня цепями обгонял нас. И ушел вперед, вскоре в поземке скрылись его красные огоньки.

А проехав еще несколько километров и раскуривая поданную мною сигарету, Леонид вдруг нажал на тормоз. От неожиданности я чуть не вбил носом в лобовое стекло, но здесь же, не успев выругаться, впился в то же стекло уже глазами. «Смотри-и!..»

Дорогу перебежали, перепрыгивали, переходили длинноногие, несуразно горбоносые, по странной прихоти природы не ставшие обладателями хобота рыжеватые звери, некоторые со светлыми рогами, украшенными крупношаговой резьбой, — сайгаки.

Было очевидно, что они истощены. Бескормицей ли иссушенной равнины, дорогой ли и ледяными ветрами, неведомой ли нам опасностью, или всем вместе взятым, но они были истощены и обессилены. Некоторые, уже не обращая на машину внимания, лежали у дороги, вокруг них ветер вихрил снег безрадостно и безнадежно.

Леонид потихоньку поехал вперед остановился снова. Сайгаков было много, очень много. Куда направляли они свой обреченный переход? Не в этой долине искать бы им

корм перед дальней кочевкой... Надеялись выбраться за перевал?

Огромный мой водитель выскочил из кабины, подошел к маленькому сайгачонку, никуда от человека не убегающему. Да и остальные не очень встревожились, на тревогу у них было мало сил, это была храбрость равнодушных.

Леонид забрался в кузов, стал лопатой выбрасывать зерно. Я, прихватив его стеганку, тоже вышел наружу. Ветер свистел в ушах. Побросав, мы проехали немного, еще немного. «Их не накормишь этим, Леня, у меня ведь тоже — для зверей...» — «Да-а, черт возьми, какого дьявола их сюда занесло?!» — «В этом году засуха пала, теперь снег, бураны, везде так, они даже в поселки заходить стали...»

Ссыпав еще немного — «кому-то, глядишь, и поможет выкарабкаться!» — мы осторожно поехали дальше.

Мы ехали, и везде у дороги отдыхали или гибли истощенные антилопы; перебегали, перепрыгивали, переходили, скрывались в вихрящемся вокруг них снегу более сильные. Впереди засветились четыре красные точки, обогнавший нас «газик»-самосвал не ехал, стоял. «Ах ты, скотина», — пробормотал Леонид.

Я удивительно глянул не него. Он так же смотрел вперед и не мог видеть больше моего, а впереди был только незнакомый «газик». Что-то почуял? Но здесь увидел уже и я: на укатанном, вбитом снегу дороги видны розовые в свет фар пятна — кровь. Ну, конечно же, ах, скотина...

Мы подъехали. Свернув левее, встали рядом. Теперь было видно, что мой великан не спорил напраслину: водитель самосвала забрасывал в кузов крупного рогача, два других сайгака, вернее — то, что от них осталось, валялись в стороне. «Мар-родер-р», — клокотало у Леонида в горле.

Мы выскочили с ним одновременно. Водитель, крепкий парень лет двадцати семи с торчащими возбужденно ушами шапки-ушанки, улыбнулся нам понимающе, «Здесь всем хва...» Леонид молча поднял то, что недавно еще было крупным сайгаком, а теперь превратилось в изломанное ударом стерво. Этим месивом он и сбил «охотника» с борта.

Судя по всему, тот оказался крепким парнем, он даже, до конца еще не понимая происшедшего, вскочил... Но где

же ему было устоять против такого великана, да еще и разъяренного. «Большой» буквально вбивал это сырое антилопье мясо в упавшего на дорогу добытчика. Мне стало жутковато, я попытался остановить расправу.

— Уйди! Жив будет, скотина...

Потом отбросил свое необычное орудие, поднял за ворот перепуганного до синевы и что-то невнятно бормочущего парня. Отрезанная голова рогатого сайгака лежала впереди «газика». Рядом — цельная, со сломанной ногой туша. На буфере, на радиаторе была кровь, следы коричневой шерсти. Нет, мы ошиблись: машина оказалась не сельской, номер городской, а что бы это меняло? В кузове уже лежало пятнадцать туш.

Парень стал садиться в кабину, потом, вспомнив, полез опять в кузов — выбрасывать. «Пойду, возьму акты...» — сказал я. «Ни к чему, актами их не научишь... ничем, пожалуй, уже не научишь. Этот хоть так теперь запомнит, подавился бы он тем мясом», — Леонид отмывал сухим снегом руки и ежился под ветром. Ярость его потухла, он даже как-то сник. Но здесь еж и вскинулся.

— Ты куда это выбрасываешь?! Нет, ты, гад, вези и жри, раз убил. Все, до последнего ошметка собирай и вези. Вот эти, нормальные которые, сколько там... вот и сдашь в первую же столовую, а ошметки все — себе. И не вздумай выбросить по дороге, сырыми накормлю. Я тебя, сам понимаешь, везде найду, еще и ребятам в автобазе скажу... не все же у вас там такие... быстрые. Разворачивайся и езжай, — помолчав, он тихо добавил. — Я скоро следом поеду...

Парень загрузил все в машину, потом, уже садясь в кабину, вдруг выгнулся, и его вырвало. И он долго еще, хрипя и всхлипывая от запоздалого ли страха, отвращения или жалости к себе, тер снегом лицо.

— Прорвало-таки... ну, теперь езжай осторожнее, — отвернулся, но продолжал стоять рядом Леонид. Впрочем, голос его, или мне так показалось, немного помягчел.

Почувствовал ли это наш «добытчик», но он подошел к гиганту, хотел что-то сказать, протянуть руку. «Езжай, езжай, гад такой», — вовсе беззлобно сказал на прощанье Леонид и пошел к машине.

«Газик» развернулся прямо в поле, осторожно пропускающая мимо сайгаков, отставших от основной массы. Медленно пошел назад, габаритные огни вскоре растворились, шум двигателя пропал в ветре. Холод теперь и нам напомнил о дороге, мы заторопились.

— «Вот черт! Голову оставил, зараза... свою бы лучше! — сказал Леонид, уже стоя у кабины. У самых наших колес лежала еще одна отрезанная рогатая голова. — Ты умеешь чучело делать? Не пропадать же рогам... хоть память не шибко приятная.

Остаток пути мы проехали молча. И, если не считать одной остановки — «Подожди, давай по сто грамм примем!» — быстро доехали. «Не думай, этому сайгатины не скоро в рот ползет...»

Доехав, сразу разгрузившись и выпив чаю, Леонид уехал. И больше нам не довелось встретиться.

Прошел год. Я и думать позабыл об этой поездке, да и великана водителя не было повода вспомнить. Заботы, дела, новые встречи часто вытесняют из памяти ушедшее или отодвигают в такие глубины, из которых всплывет лишь случайным промельком не сам человек даже, а случай, с ним связанный. Нет-нет, а, проезжая пустынную долину, вспоминался мне гибельный переход сайгаков и мутное чувство своей человеческой вины перед их гибелью...

Только однажды мой приятель, что доставал мне тогда машину под зерно, привез охотничий нож. Красный нож привез мне приятель.

— Совсем забыл было. Давно еще Ленька Большой велел тебе передать на память, да закрутился я тогда. А он уволился вскоре. Подожди... говорил он тогда, что не мог того чучела видеть... какого, кстати, чучела-то? Противное, говорил, зрелище, а мародеров, мол, всех с борта не собьешь. Из тех рогов он ручку сделал. Красивая ручка, между прочим. Ты с ним поохотился на сайгу? Он-то, — продолжал приятель, — он зарвался, дурак, все, доказывал что-то... из правдоискателей, знаешь. Вот и доискался: выехали они как-то с начальником колонны на охоту, тот еще из гаишников чина прихватил. Так Ленька их обоих за что-то высадил в поле и оставил, представляешь? Год получил, условно, прав-

да, но права у него отобрали. Видел как-то — грузчиком на табачке работает, самое его дело при такой силище... пьет, наверное. А нож знатный он тебе соорудил!

Вот так и оказался у меня этот охотничий нож. Такого красивого, настоящего охотничьего ножа у меня никогда не было. Лезвие его тщательно, до зеркала, отшлифовано, стремительно выдвинут острый, чуть изогнутый нос клинка. Хорошо и плавно лежит в руке ручка из янтарного рога (и как угадал, ведь не по своей же громадной ручище делал!), каждое выпуклое кольцо рукоятки на месте. Прямо вливается в руку каждое кольцо... того рога, что оставил себе Леонид на память о ночной поездке и поземке, о том пронзительном ветре долины Иссущающая, о том снеге, что заметал свежие, розовые в свете фар пятна крови на утрамбованном насте дороги...

### *Призрак*

*Глашке, дочери*

Только уехав из города в горы и став егерем, я понял, как много у меня друзей и знакомых, страдающих всякими недугами.

В моду вновь входила «народная медицина», во всех аптечных киосках разбирались травы, всякий уважающий себя «интеллигентный» человек старательно записывал новые рецепты целительных чаев, что заменят всю аптечную «химию». А на рынке городские бабки шаманского обличья бойко распределяли кучки разлохмаченных корешков... Так что, «приблизившись к истокам», а то даже и к «корням», по убеждению друзей от большинства, если не от всех, болезней исцеление мог принести лишь я.

Летом с переменным успехом, срываясь со скал и пугая кекличьи выводки, разыскивал я мумие. Ближе к осени — под оживленную сорочью трескотню перекапывал землю в забытых людьми и скотом местах в поисках родиолы-розовой, то бишь «золотого корня».

Но главные заказы приходились на сентябрь. К этому времени барсук уже успевал набрать жир, и на него открывалась охота.



В первые два года работы мне (а больше моим страждущим друзьям) повезло несколько раз. Впрочем, «везение» — слово в данном случае не совсем уместное, потому что успешной охоте обязан я был двум привезенным с собой собакам. Они, на первый взгляд, мало приспособленные к вольной жизни, быстрее всего освоились именно в травле барсука.

Собаки эти: громадный пятнистый дог, добродушный и не любивший драк без особой к тому нужды; и двухлетний задиристый доберман-пинчер, нередко получавший хорошую взбучку от своего рослого терпеливого приятеля, которого доберман умудрялся-таки порой довести до бешенства своим постоянным приставанием.

Однако никакая выволочка не делала добермана терпеливее или покладистей. Разве что — хитрее: когда приятели попадали в свору чабанских собак, доберман обязательно доводил дело до драки, не без основания ощущая защитой своей спины и тонкой шкуры массивную фигуру и мощные челюсти дога.

А чтобы еще больше подзавести хладнокровного великана, которому даже самые крупные разношерстные аборигены едва доходили ушами до лопаток, на которого они, уж конечно, сами никогда не решились бы напасть, лукавый, с лисьей улыбкой на морде доберман попросту исподтишка хватал своего надежного приятеля клыками за ляжку или хвост (у самого задиры хвоста не было с детства!) — как удастся, лишь бы незаметно. И ведь всегда получалось!

Правда, надо отдать ему должное: когда начиналась свалка, им спровоцированная, хилый рядом с догом, но зато стремительный и упругий, словно хлыст, умудрялся он нанести ударов больше всех. И везде успевал. Клыки же у него не меньше договых. И никогда доберман не поворачивался задом, Впрочем, как ни странно, ему всегда доставалось меньше всех, особенно в той «куче-мале», что любил он устраивать.

Виделся только сплошной клубок лохматых тел вокруг дога, над которым изредка с визгом взлетала на воздух собачонка, да мечущееся змеевидное тело черного пинчера.

Потом клубок распался. Черный вертлявый бес на горле какой-нибудь особо невезучей шавки разжимал челюсти в ответ на пренебрежительное рычание дога, уже отправлявшегося домой. Справедливости ради надо добавить, что великан никогда не доводил в таких свалках дела до крайностей.

Зато не так произошло с первым нашим барсуком, за которым я и не думал охотиться. И которого оба моих пса-горожанина до той поры не видели даже на картинке.

Странную ненависть питают все собаки — абсолютно все, до самой последней дворняжки, — к барсучьему племени. Почему? Сталкиваясь в природе им приходилось очень редко: барсук зверь угрюмый, одинокий, ночной. Очень осторожный зверь, вблизи поселка его никогда не встретишь. И нельзя сказать, что зверь беззащитный, слабый, что он легкая добыча для собак: не однажды даже и звероватые лайки в своре получали жестокий отпор. От ночного столкновения с ним многие мои знакомые собаки и сейчас носят на память такие шрамы, которые невольно внушают уважение к противнику, их оставившему.

При подобной ненависти беспричинность ее еще более удивительна потому, что ни одна из собак, будь она трижды голодна, не станет есть барсучьего мяса. Может быть, думал я, они — родственники? — Но нет: барсука по характерным признакам отнесли к семейству куньих.

Вот разве что, вопреки установленной людьми (не барсуками ведь и не псами!) традиции, барсук хоть каким-то боком, пусть «троюродным», породнен с нашими шавками? И они злы на него за какую-то прошлую измену своим «родичам»? И поедание его мяса считается у собак каннибализмом?..

Как бы там ни было, но что было — то было: пришлось мне однажды ночью ехать по горной тропе, которая виляла между холмами, просачивалась в узкие осыпающиеся щели, карабкалась по каменистым склонам. Торопиться было некуда, осенняя ночь достаточно долго для спокойного пути, а полная луна сообщает дороге сказочно-серебристую умиротворенность. И я отдал повод и всю волю своему молодому, но осторожному в горах коню.

Собаки бегут впереди. Белый мой великан изредка вспыхивает в лунном свете на темных склонах; черного же пинчера можно лишь слышать, когда он, спугнув зайца, с довольным лаем и восторженным повизгиванием гонится за косым.

Но вот впереди слышатся совсем другие звуки, идут они из черной щели, в которую не добрался еще лунный свет. Низкое рычание дога разрывает нервическое сопрано добермана, и в эти знакомые возбужденные голоса вмешивается чужое хрипение, почти хрюканье.

Взяв повод, я подскочил с конем ближе, но увидел лишь смутный клубок сомкнувшихся тел. Вот тот, на кого напали мои псы, вывернулся, несколько кособоких шагов — и он ныряет в ближайшую нору. На его несчастье — я уже понял, что это барсук, — нора оказывается сурочьей, да еще и не очень взрослого сурка.

И тонкий пинчер, не обращая внимания на мои призывы-приказы, умудряется-таки схватить новоявленного врага за шиворот и вытащить из норы. Вовсе немного вытащить, но все достаточно, чтобы ухватился дог. И вот невезучий барсук, уж никак не ждавший нападения здесь, вдали отар или пасущихся табунов, взлетает вверх.

Рычат собаки, молча пытается в последнем усилии отбиться зверь, у которого на шее снова висит пинчер, теперь уже не разжимающий челюстей. Приходится прекратить бесполезную борьбу. Но лишь убедившись в неподвижности барсука, собаки мои отходят, не переставая, впрочем, глухо рычать.

Доехав до елей, я расседлал коня, которому необходимо до утра хоть немного попасться. Сам залез в спальный мешок. Как обычно, рядом со мной привалился к боку дог, на ногах клубком свернулся доберман. Их смутное ворчанье изредка разбуживало меня: оба во сне продолжали переживать прошедший бой, или ветер наносил на них запах поверженного врага, мешок с которым висел на дереве...

Так был привязан к седлу наш первый барсук, и первые страждущие мои знакомые получили спасительный «эликсир» — топленое барсучье сало. Прошло еще два года.

Честно говоря, мне вовсе не нравится травля барсука. Не потому, что я противник охоты, не только, нет — мне неприятна предрешенная охота. Мне вовсе не по душе видеть увешанного псами кабана, которого дорезают, словно на бойне, рискуя разве что одной-другой дворняжкой из своры, случайно набранной по околицам.

Само слово — травля, тр-р-равить — кажется, вобрало в себя все неестественное и противное природе, что внес в свои с ней отношения самоуверенный человек, расстреливающий с зависшего над степью вертолета уже никуда не убегающего волка. До кого не доходит злоеший смысл этого слова, пусть представит себе выхваченные пронзительной фарой из темноты сотни доверчивых, растерянно фосфоресцирующих глаз сайгаков, по которым палят из автоматических ружей заготовители. Да, соглашусь, надо «заготавливать». Но мне это не нравится. Как слышится за словом «травля» запаленное дыхание преследуемого, которого сейчас начнут топтать ногами преследователи, объединенные в толпу собственной своей слабостью и круговой безответственной жестокостью...

Впрочем, прошло два года, в которые не однажды приходилось приторачивать к седлу добычу, найденную уже совсем освоившимися с охотой и горами догом и доберманом, на шкурах у которых барсук порой оставлял свои следы. И на эту осень мне вновь нужно было добыть хоть одного барсука с его целительным жиром...

Но моих помощников уже не было.

Почти год, как таинственно исчез доберман. Весной, чуть не дожив до семи лет, в пять дней от воспаления легких сгорел дог.

Их весьма условно заменила молоденькая собачонка, обещавшая стать овчаркой, но этого обещания не выполнившая. Она была взята для ночного лая, чтобы давать знать о присутствии «сторожа» лисам и чужим бродячим псам, которые прежде и близко не решались подходить к кордону.

Но собачонка та ночью забивалась в конуру и притихала до утра. В это время голодные пришлые собаки со всей округи могли спокойно пожирать в роднике хозяйский суп, съедать запасы масла, привезенные хозяином из го-

рода, вытаскивать из вкопанного для холода бидона мясо... Бродяги были осторожными: хозяин, если не отсутствовал, спокойно спал, надеясь на сигнальный лай; а собачонка молча ждала вмешательства в этот ночной пир хозяина. Или — также молча — доедали остатки, что не успевали проглотить ночные пираты.

Шел конец октября. Было новолуние. Так темно было, что нельзя увидеть пальцев собственной вытянутой руки. Наверное, только в горах на юге и бывает такая темень. На «барсучьем заказе» этого года я поставил крест: несколько попыток, еще в светлые ночи, выехать на барсука с новой собакой, кончились ничем. У этой дворняжки никаких претензий и счетов к барсукам не было.

Меня не столько огорчала неудача охоты со жмущейся к ногам коня шавкой, сколько бередило невольное воспоминание об утраченных друзьях — доберман-пинчере и, конечно, особенно о доге, на которого во всем можно было положиться и которому можно было смотреть в глаза, как человеку. Утрата всего острее колет в такие вот черные безлунные ночи, когда тишину лишь чуть колеблет звон подков...

И ко всему еще появился призрак.

Нет, он появился не в доме — откуда в жилом доме взяться призраку? И он не был страшным — время страшных привидений давно прошло. Скорее — огорчительным. И — как и положено призракам всех времен — непонятным.

Правда, призрак тот не посчитался поначалу ни мной, ни четырехлетней моей дочкой привидением. А жена оказалась в отпуске.

— Лиса, — сказал я.

— Ты мне поймаешь ее? — утвердила догадку дочь.

Дело в том, что по утрам мы с ней вместе кормили свою живность: дочь потчевала кур, индюшек и кроликов, заодно собирая яйца и пересчитывая новых крольчат, я обихаживал коня и собак. Порой бывало, что нас никого не оставалось дома дня по три, тогда вся живность ходила на воле, грызла и клевала засыпанный впрок корм. И ничего не случалось неожиданного.

Нынче же, при закрытом с вечера курятнике, произошел форменный погром. Словно кто-то распустил несколь-

ко пуховых подушек, только теперь... ведь в подушках не бывает зарезанных и еще теплых кур. А они — ровно десять и еще молодой петух с ними — беспорядочно валялись под насестами, на которых, нахохлившись и не желая вылетать, сидели их более счастливые подруги. Лишь наседка суетливо квохтала: видимо, пыталась объяснить нам и себе, куда же делись ее двенадцать уже взрослых цыплят.

В углу курятника, почти у самого входа, мы увидели нору. «Лиса, — решил я, — хорей у нас не водится». И заседлав коня, проехал по пути стелющихся на земле перьев, но уже метров через пятьсот ни перьев, ни иных следов не осталось.

— Ты поймашь мне лисичку? — снова спросила меня дочь, когда мы с конем вернулись. — Я за курочек поставлю ее в угол!..

На следующую ночь я оставил все, как было. И поставил две стальные петли в сарае у норы. Лиса не пришла в эту ночь. Пришла в следующую. Только это была не лиса.

— Жок тульке\*, — сказал подъехавший ко мне чабан, осматривая новый десяток жертв, валяющихся с новым петухом рядом с прежними. — Жок тульке. Ит...»

Я и сам понимал, что не лиса: петли порваны, что рыжей уж никак не под силу, но и они не остановили грабителя, не заставили повернуть, больше того — одна из кур наполовину съедена прямо здесь же, в сарае. Действительно, собака? Тогда понятно, почему не тронутыми ни в первое, ни во второе нападение оказались четыре индюшки: в ближнем поселке держали индюков, могло сработать хозяйское табу. Но... что ж, собака, так собака. И я убрал порванные петли. И целый день катал валуны, укрепляя ими основание сарая во избежание нового подкопа. И убрал следы разбойных налетов, потому что оставшиеся птицы все эти дни не желали сходить с насестов...

Ночь следующая прошла без следов и происшествий. Последний петух важно водил оставшуюся дюжину кур; видимо чрезвычайно довольный исчезновением конкурентов.

---

\* Не лиса — собака (каз.)

Однако и петух, и его хозяин успокоились рановато: с педантичностью бюрократа Оно появилось все так же через ночь. И так же вновь пересчитало кур до десяти, прихватив и преждевременно заважничавшего петьку. Нора оказалась вырытой, словно в насмешку, под новеньким, самым огромным валуном, который я катил с помощью лома...

Вот теперь-то я осознал, что Оно — привидение. Призрак! И мне для борьбы с ним надо придумывать особые средства. Ни святой воды, ни знакомой бабки-ворожеи у меня не нашлось. Лучшее, что я мог придумать — самому превратиться в подобие призрака. Затаиться. Устеречь!..

Дело было уже не в тех двух оставшихся, жалких и навечно напуганных, курах. Дело в принципе. И в естественном любопытстве — прежде мне призраки никогда не встречались. У нашей собачонки, по всему, такого любопытства не было: ничем иным нельзя было объяснить упорное молчание во все предыдущие ночи. Не чуют призрака, или хоть шум всполошенного курятника собака не могла — нора рылась и куры давились в каких-то двадцати метрах от будки! Разве что под сильным снотворным...

— Кто же это может быть? — рассуждала дочка, усаживая в ряд своих кукол. — Лисичку папа нам не поймал, а курочки яичек носить теперь не будут... что мама скажет?

Последний дочкин вопрос, еще не до конца принятый, начинал и меня беспокоить. Пока же меня интересовал призрак. Понадеявшись на его педантичность, пропустил я одну ночь и приготовился ко второй. Единственно, что теперь меня занимало: а вдруг Оно уже закончило свои проверки, или как это еще назвать, ведь в курятнике больше не оставалось десяти живых кур, как не было и петуха...

Уложив дочь, надев полушубок и взяв ружье, я растворился в кусте неподалеку от сарая. Еще днем на нетронутую нору положил кусок шифера, теперь несколько не заботясь о запахах — если уж петли его не остановили...

По-прежнему текло новолуние. Странно, однако мне всегда кажется, что новолуние тянется намного дольше светлых ночей, хотя, конечно, это не так.

Зато каким волшебством является вдруг вынырнувший однажды тоненький серпик на бархатном небе, как растет он с каждой ночью, все серебристей обливая светом своим

холмы. Итак, лежал я в темной темени куста барбариса, стараясь собирать на себя поменьше колючек (ягоды успели обобрать птицы), и подсчитывал, сколько же еще ждать луны.

Черным-черно вокруг, и напрасно всматриваюсь я туда: где должен находиться сарай, убеждая себя, будто вижу белеющий кусок шифера. Тишину всегда интересно слушать, но если долго вовсе не двигаться, не помогут и противоречивые мысли — тишина успокоит, укачает, убаюкает...

Разбуживает меня все же именно шелест шифера. Напрасно я потихоньку открываю глаза: с открытыми так же темно. Настолько темно, что становится завидно, когда смотрю вверх — кажется, что там кто-то курит сигарету, далеко-далеко, ту самую сигарету, в которой я себе отказывал, чтобы не порушить эту темень.

А мой призрак уже хозяйски шуршал в сарае. Встревожился он лишь, когда завалил я нору тяжелым ящиком и чуть приоткрыл дверь. И мы начали играть с призраком в жмурки. На слух. Правда, разница была та, что оно, привидение, сразу поняло себя в ловушке. Кем бы он ни был, призрак, он попался. И что игра стала вовсе серьезной, тоже понял.

И, честное слово, мне уже не очень хотелось воспользоваться тем преимуществом, которое подсунул шуршащий шифер и подвластная моей руке дверь. «Курица — птица неодушевленная», а здесь сидело нечто, уже сознающее результаты своего действия... Вот только — кто же там все-таки? Да, а еще ведь: «Что мама скажет?..»

Призрак метался молча и грузно. Трещали ящики-гнезда, они подвешены довольно высоко, и возможности призрака настораживают. В зависимости от места, откуда слышится шум, мне приходится то приоткрывать, то вновь захлопывать дверь. Что там, за дверью, зверь, сомнений не оставалось, но — какой?.. Зверь казался не из слабых, да еще и загнанный в угол: ему предстояло потерять... все. И, в отличие от меня, он видел в темноте: едва пробовал я приоткрыть дверь, призрак бросался ко мне, ко входу, а затем вновь царапался к самому потолку, за толевую прочность которого приходилось опасаться.

Не выдержав и слыша настойчивое карябанье под крышей, я обегаю несколько раз вокруг, торопясь и чертыхаясь



в темноте. Наконец, приоткрыв дверь и поймав невидимку на шуме у норы в каком-нибудь метре от ружья, оглушаю себя выстрелом. Беспольным выстрелом — мой пират уже настырно дерет крышу в противоположном углу. Туда, на звук раздираемого толя, летит дробь из второго ствола.

Теперь только слышится хрип невидимки. И падение. И новое царапанье, но уже бесполезное, судорожное. Последнее.

Я зажигаю спичку. Нет больше призрака, исчезло привидение. Но в того, кого вижу, не верится.

Все более безразличнееющими глазами на меня смотрел барсук. И было три часа черной безлунной октябрьской ночи. И не было со мной задиристого доbermana, таинственно исчезнувшего год назад; не было и добродушного пятнистого громадины-дога, не терпевшего драк и все же вынужденного драться, чтобы выручать друга — дога, сгоревшего весной от воспаления легких, потому что он не мог есть лечебного барсучьего сала...

Было три часа черной безлунной октябрьской ночи. Я листал всю имеющуюся литературу о животных, но не находил объяснения подобному барсучьему поведению. А позже охотоведы пожимали плечами: не должно бы. Наверное, примирился я, исключение. Как и моя собачонка, что не чуяла призраков, и которую я, вместе с невольным выполненным заказом на жир, подарил горожанам — она была, в общем, симпатичной и общительной, а что в городе охранять?..

Сейчас у меня другие собаки. И они не молчат ночью, даже если просто трещит на речке лед. И не подпустят к дому чужих. Они непонятно терпеть не могут барсуков. Когда я забываю их вовремя привязать на ночь, убегают порой, чтобы вернуться под утро с высунутыми языками, а то и потрепанными изрядно. Зимой они спокойно сидят дома — это лучшее, чем подранная шкура, подтверждение, что бегают они по барсуку. Ведь и зимой дичь есть — другая, зайцы хотя бы... Но зимой я за барсука спокоен — он спит в уютной чистой норе и сам тратит свой знаменитый жир по прямому назначению.

Охотиться же на него я по-прежнему не люблю. Даже когда полная луна сообщает дороге сказочно-серебристую

умиротворенность. Или — именно потому, что полная луна сообщает дороге сказочно-серебристую умиротворенность, а дорога ночью виляет меж холмами, просачивается в узкие осыпающиеся щели, карабкается каменистыми склонами.

Не люблю я на него охотиться, хоть и необходим тот барсучий жир моим страждущим друзьям. Не люблю по-прежнему, несмотря даже на то, что и барсуки порой становятся призраками. Или — именно поэтому?..

### *Там, за морозным окном*

*Олжасу.*

КОБЫЛА умирала четвертый день.

...Всего десять дней, как привел я лошадь от табунщиков с зимнего пастбища, где она ходила с начала осени. Я купил ее прошедшим летом, соблазнившись большим ростом и малой ценой, да еще, пожалуй редкой по этим краям мастью — светло-серой в темных яблоках.

Очень большая это была кобыла, с широкой спиной в чуть заживших потертостях, с грустным, каким-то даже отрешенным, взглядом; в крови ее еще чувствовалась струя орловских рысаков, но на ноги уже была слаба, хотя двенадцать лет — не старость для лошади. Кобыла была загнана, опоена, «села» на ноги, и горы ей были непривычны — все это я узнал только, когда уже купил ее, а довольный продавец откочевал за сотню километров.

Все же я решил, что высоконогая моя кобыла поправится, если освободить ее на несколько месяцев от всех обязанностей... Месяца четыре она ходила в табуне на хороших травах, пока не выпал совсем уже большой снег и не ударили настоящие декабрьские морозы. Табунщики знали, что тебеневку\* она не вынесет, и попросили забрать ее на стойло. Кобыла нисколько не поправилась, она трудно и с одышкой пронесла меня те полтора десятка километров, которые лежали между пастбищем и домом; и пришлось поставить ее в сарай, благо, сена и фуража было в достатке.

---

\* Тебеневка — зимний вольный выпас, добывание корма лошадьми из-под снега (*снец*.)

Я всю жизнь мечтал о собственной лошади.

Я представлял себе ее жеребенка, которого получу из-под черного громадного Паровоза — племенного жеребца в табуне моего друга Кадыра.

Но серая кобыла через десять дней по возвращении с пастбища легла во дворе и больше не смогла подняться. Вначале она боролась за жизнь, прилагая все усилия, чтобы встать; мы оба еще надеялись выкарабкаться из беды, но как я ни помогал, как ни тянул за повод, как ни подпирал плечом, ноги у лошади подламывались в самый последний момент, а она со стоном откидывала тяжелую голову и валилась на бок.

Я привел к ней лекаря, семидесятилетнего важного Аль-Рахима, который, покачав головой и понимающе почмокав, проколол шилом набухшие узлы у нее на шее и вырезал хрящевидные образования в носоглотке. По диагнозу «дохтура» Аль-Рахима, как он сам удовлетворенно называл себя, все это мешало кобыле дышать и отнимало силы жить. «Встанет», — махнул старик рукой и пошел пить чай.

Кобыла не встала ни на второй, ни на третий день.

Я забросил многочисленные дела свои и несколько раз на дню ходил к ней, подтыкал со всех сторон сено, обкладывая одеялами и плащами, с тревогой смотрел на градусник: мороз пока держался небольшой, но тучи предвещали снег, за которым холод придет всерьез... Несколько раз в день я помогал кобыле поднять голову, вводил биомидин и глюкозу и держал ослабевшую шею, пока животное медленно перебирала губами теплый комбикорм или мягкое зеленое сено. Она постанывала и ела, и аппетит ее не позволял отчаиваться. Потом она отбрасывала голову на подбитую сенную подушку, смотрела на меня отрешенными глазами и стонала так громко, что эти стоны потом доносились до меня в дом.

Ночью я тоже выходил, потому что и без меня кобыла делала попытки подняться или перевернуться, но лишь сбивала с себя все одеяла и сползала на подтаявшую оголенную землю. Все начиналось сызнова: кое-как я приподнимал ее, подтыкал со всех сторон сено, укрывал, подкармливал. На третьи сутки я остановил три лесовоза, попросил водителей и грузчика помочь мне. И мы впятером

попытались поднять ее, поставить на ноги — все было бесполезно, кобыла больше даже не старалась мне помочь. И стон снова не давал мне уснуть, и мне слышались в нем уже не жалобы и призывы, а усталое нетерпение.

Пятое утро она не встретила. И ударил мороз, и стон больше не доносился до меня, и только каркали вороны да трещали сороки.

Я всю жизнь мечтал о собственной лошади. Мне так хотелось самому воспитывать жеребенка...

Животные, с которыми мне приходилось общаться, быстро и прочно привыкают ко мне, и я представлял, как жеребенок бежит за мной, «эгегекая» и взбрыкивая в избытке прибывающих сил... И я понял, как трудно умирает лошадь, а застрелить ее мешает надежда, мелькающая в ее глазах и моем сердце. Но я устал, когда она медленно умирала. Потому что, в сущности, она так и осталась мне чужой: я и проехал с нею только один раз, и был близок лишь последние, уже некрасивые десять дней. Даже имени у нее еще не было, и голос мой оставался для нее чужим. Я устал и почти ждал этого конца, хотя сердце щемила утрата — щемила той самой неосуществленной грезой.

Когда все кончилось, я вернулся домой и сел у горящего камина. Вот и камин... Если уж признаться самому себе: вся жизнь, здесь, на этом дальнем кордоне, была для меня все той же детской игрой в «казаки-разбойники». И если кто заставил меня поверить в серьезность жизни и работы здесь — так это Балт.

...Потрескивающий огонь отбрасывает блики на стену, где висят рога. Неуверенно просыпается декабрьское туманное утро, мороз скрипит стенами дома и на глазах наносит новые узоры, на чуть побледневшее окно. Рога на стене старые, белесые и от бликов кажутся еще больше, хотя и так — каждый рог длиннее моей руки, на каждом роге по шесть отростков. Рога большого марала, их мы с Балтом нашли в горах. Блики огня из камина высвечивают белизну рогов, играют на желтых медалях, что тонкой цепочкой подвешены на двух отростках. Медалей восемь, все они когда-то заработаны Балтом на выставках и соревнованиях, пока мы не уехали с ним из города в горы.

Мы прожили с ним здесь три года. При встречах в горах с чужаками я никогда не ощущал своего одиночества — один вид громадины-пса заставлял нарушителей лесного покоя отказываться от оружия, а уж коль скоро доходило до крайностей, Балт, хотя и был в обычных условиях добродушнейшего характера, мог стащить браконьера с седла или загнать в кабину вместе с заводной ручкой, поднятой для угрозы. Весил Балт шестьдесят пять килограммов, и это был вес пружинных мускулов.

Балт был догом — «арлекином» с голубыми глазами, он был очень городской, «очеловеченной» и «домашней» собакой; но сейчас, после замолкшего лошадиного стога, когда я сижу у огня и гляжу на желтеющие в белых огромных рогах марала медали, мне приходит, наконец, в голову мысль и воспоминание, что по-настоящему счастлив и страстно несчастлив Балт стал, только уехав из города, забросив свои блестящие погремушки и вернувшись в естественную свою природу, от которой, оказывается, он не очень-то и отрывался. Покой без волнения — еще, оказывается, не счастье, просто спячка. В горах же непокоя хватило бы на десяток городских псов. А Балту нужно было только что-то довспомнить, что-то допонять, с чем-то допримириться...

И когда он, вспомнив, как надо искать, остановил матерого рогача-марала весом в полтонны, способного одним легким ударом копыта раздробить Балту череп; когда голубоглазый пес, ощутив возможности своего гибкого тела, не обращая внимания на распоротое рогом бедро, в котором багрово пульсировала мышца, удерживал этого оленя в семи метрах от моего объектива — разве не было мгновения веселее, упоительней всей его предыдущей сонной жизни, несмотря на боль, несмотря на незнакомый прежде голод, несмотря на холодные ночи, в которые приходилось собственным дыханием отогревать израненные камнями или острым настом лапы? А когда он приносил мне подстреленного зайца, разве не светился в глазах его огонь удовлетворенной и прежде забытой страсти — погони и достижения, страсти, без которой немислима жизнь, как немислимо и счастье?..

Он — пес, как тысячи псов тысячи лет, — знал, что такое дружба; он забывал о собственной боли, собственном пустом желудке и промерзшей короткошерстной

шкуре, когда надо было встать на пути чужого выстрела, назначенного его хозяину-другу, а позже лечь рядом со спальным мешком, чтобы обменяться теплом прижавшихся боков, теплом, которое не разберешь где чье и которое не разделишь на части, — разве на это не променяешь все годы регулярной похлебки на цепочных ограничениях?..

Отблески потрескивающего огня играют на желтых медалях и жетонах. Награды остались. А Балта вот уже год как нет рядом.

Его отравили мнимые друзья, которым оставил я на попечение дом и всех животных на кордоне. Об этом мне пришлось узнать позже: они опасались, что Балт может помешать, а один человек в горах — только один... Когда я через несколько дней вернулся, Балт лежал в закутке во дворе; не в силах подняться, он и не хотел заходить в дом, потому что боялся напачкать и потому что не желал показать своей слабости людям.

В свои последние дни животные всегда уходят от свидетелей, и это последнее достоинство жизни сохраняют в себе многие прирученные звери.

Три дня я делал ему уколы пенициллина, вливал сырые яйца и глюкозу в почти неразжимающиеся челюсти; три дня мы прощались взглядами и прикосновениями, и прощали друг другу мнимые и действительные обиды, неминуемые за семь лет жизни. Я устал, когда умирала лошадь, но она, в сущности, была мне чужая, как и я ей, нас соединяли только случайность и надежда. В три дня, которые умирал Балт, возвращались и вновь проживались годы нашей жизни вместе; и еще более ранние мои годы — те, что вели меня к этой угасающей на глазах собаке. У нас с Балтом было прошлое.

Не знаю, может ли животное вспоминать, — но мне кажется — Балт помнил все, он и прежде видел сны, в которых то догонял кого-то, кому-то радовался, на кого-то злился... В эти последние дни, на мое счастье, на кордон приехали сразу две машины с моими друзьями, но Балт видел только меня и трудно поднимал голову лишь навстречу моим шагам, больше его уже ничто не держало здесь.

Так уж случилось, что именно в эти три дня сломал я ногу, прыгнув с коня, который иначе не мог бы выбраться из ущелья во время короткого и вынужденного объезда. Операция и месяцы на костылях — это потом. А тогда, в последние свои часы Балт, пока я делал ему укол, обнюхивал мои самодеятельные перевязки и забывал о собственных смертельных болях в сочувственном и слабом повизгивании — по мне.

А может быть, он не хотел и боялся оставить меня одного, справедливо полагая, что мне с ним было бы надежнее жить...

Он знал во мне многое — и плохое, и хорошее. Он знал мою доброту, впадающую в безотказную деликатность, как знал и мое безразличие, он терпел мои временные измены и бесславные зароки, словно понимая, что мне далеко до его умудренного спокойствия и молчаливого сочувствия. Он терпел мои внезапные отъезды в погоне за воображенной химерой, терпел случайных новых хозяев или хозяек и мои внезапные возвращения, будто понимая, что метания человека — всего лишь поиск дороги к... себе; но он-то знал при этом, разве что не умея сказать: что себя можно скорее растерять в расстояниях и встречах, если не обрел — в себе ж самом. Так же, как и винить за все ошибки и неудачи, которые для собственного успокоения позже можно назвать опытом, тоже нужно — лишь себя. Впрочем, у каждого своя судьба, и судьба эта зовется характером...

С Балтом начинали мы новую жизнь, когда он — трехмесячным щенком с необрезанными, до пола вислыми ушами — входил в новую, совсем пустую еще квартиру, оставляя свои детские метки на свежеекрашенном полу. Мы с ним начинали и другую новую жизнь, когда ехали за триста километров в незнакомые горы и в одиночество. Ехали на машине, беспорядочно заваленной вещами, настолько необходимыми вещами, которые обступают каждого из нас, что они здесь никогда потом не пригодились; мы жили с Балтом месяцы без окон, и дверей, и печей в развалине, называемой «кордоном», жили в ожидании ремонта, и чугунный Мефистофель каслинского литья по-прежнему горбился на письменном столе, заваленном седлами, гвоздями, и патронами, и фарфоровой, так легко и весело бью-

щейся здесь посудой. Наверное, главный черт с короткой своей шпагой знал, как нескоро закончится тот ремонт, после которого можно будет привезти остальных — жену с дочкой — и не напугать их этой глухоманью и неудобством; можно будет даже пригласить самых близких друзей — так, впрочем, и не собравшихся приехать ввиду городской деловитости и такой отдаленности... Но мы понимали с Балтом, что сетовать на жизнь грешно, так уж устроено: кто-то — сменяет лошадей, кто-то — кресла, жизни необходимо то и другое, разве что разная приходит к разным людям усталость, да по-другому оценивается близость человеческая, и времени человек себе не оставляет — взглянуть на себя со стороны. Некогда, а может — страшновато...

Еще в городе, когда Балт подросток и выдержал мои срывы, он мог терпеливо ждать у магазина, когда жена, уже не имея возможности поднимать мало-мальские тяжести, вынесет ему покупки, и пес понесет, к удовольствию прохожих, полную сумку картошки или чего там еще — домой за несколько кварталов. Позже он использовал это умение, когда подружился с моим конем и носил ему в ведре зерно, глазами словно выпрашивая у меня побольше. Это была бескорыстная просьба, поскольку он не ел зерна и не ездил верхом.

...Он с юности мог терпеливо сидеть в машине все триста километров, перебарывая тошноту бензиновых паров и не ревнуя к случайным попутчицам, когда мы с другом, обуреваемые тщеславием и жаждою новых ощущений, везли его в соседнюю республику на выставку. Неслись сломя голову внезапно среди ночи, само собой, придумав себе необходимость деловых встреч.

Балт любил моего друга, потому что тот был поэтом и у него был добрый голос, и он мог броситься на четвереньки в игре с Балтом, и еще потому, что поэт был хорошим шофером и умел вести машину, даже если пес укладывал свою большую голову ему на плечо, и еще при этом поэт читал стихи о пустыне и смеялся, смеялся.

Балт понимал, что поэты должны быть веселыми даже в грусти, однако, откуда мог он знать, что даже поэты взрослеют и становятся министрами, и это совсем невеселое занятие для поэтов и вовсе гиблое — для поэзии. Знать это мог разве что чугунный Мефистофель на письменном сто-



ле, но он многое знал молча, ежась от сквозняков под своим старым плащом. К этому времени Балта уже не было, и выюга в который раз заметала старую веселую дорожку...

Мы мчались по той дороге в другой город на выставку, нам с другом и легкими попутчицами было беспечно, как и должно быть в молодости — нас ждали еще друзья, и уже скворчали шашлыки к вину, которое старательно и бережно Балт приносил в сетке, удивляя незнакомые улицы. Его, голубоглазого пса, там ничего не ждало, кроме жары на площадке выставки. Больше того, его заставили плестись в конце вереницы собак, осудив его «нестандартный» окрас. И он мог позволить себе высокогордо держать голову, потому что все равно осуждение не могло зачеркнуть ни красоты, ни мощи его. Да и на соревнованиях по службе медаль он взял из первых — уж работать-то умел не по-комнатному и любил работать, а это вполне удовлетворило наше тщеславие и оправдало случайную поездку.

И как весело мы возвращались по чужому ночному городу назад, домой, как резко тормозили мы, увидев одиноко всхлипывающего мальчугана, и успокаивали его, и разыскивали интернат, из которого мальчишка сбежал в тоске по родителям; как пели мальчишке и знакомили с ласковым псом-громاديной, и дарили мальчишке что попадало под руки — ведь не может же поэт оставаться веселым, когда кто-то плачет в ночном спящем городе... Позже эта поездка тоже пригодилась Балту — наверное, тогда он научился отличать справедливость от лстивой похвалы, за которой скрывается неприязнь или корысть. Впрочем, и это умение не уберегло ни его, ни меня, ни поэта от излишней доверчивости, и, слава богу, никто из нас не жалел об этом...

Балт мог бы, если б умел, похвастаться, что играл в телеспектакле вторую роль вместе с известным актером, и черт меня побери, если играл хуже актера! Пес сделал красиво-безразличный проход по лестнице в подземелье, потом, лежа на сундуке, настораживаясь и поводя ушами, внимал монологу Скупого рыцаря, вовремя подавая реплики сдержанным рычанием. Гармония стиха всегда чем-то задевала его. Это было здорово, и режиссер с актером были в восторге, но это ему никогда потом не понадобилось, потому что на природе Балт мог играть и первые роли.

...Мы приехали с Балтом в горы. Тогда еще не было камина, бросающего отблески света на маральи рога. Тогда ничего еще не было, кроме остова дома, долгие годы бывшего прибежищем бродячих ишаков да кочующих мимо отар... И я оставлял сваленные в кучу вещи и книги на пса, уезжал. «Познакомимся, — говорил я ему, вскакивая в седло. — Надо знать, куда мы приехали, познакомимся. А ты жди, я вернусь скоро, Балт...»

Он ждал. Он знал теперь, что я обязательно вернусь к нему. Потом мы ездили вместе, оставляя на ухмыляющегося главного черта на письменном столе груды вещей и пожитков. Мы ехали вместе, и собаке было тяжело вначале, слишком грузен оказался Балт для горных троп: он возвращался и отлеживался, зализывая истертые до крови лапы, и ел заваренную кипятком муку, хотя прежде и не посмотрел бы на подобное хлебово, — ему нужны были силы, чтобы не отстать в горах от лошади, от меня.

Горы...

Горные тропы, по которым можно ехать день, неделю, десять дней; тропы безлюдные и всегда приводящие к юрте, где тебя напоят чаем, накормят и уложат ночевать. Где необходимость в общении превращает каждую встречу гостя, даже случайно завернувшего на дымок, в маленький праздник.

Здесь могут понадобиться лекарства, которые мы возим с собой, а позже Исса заедет к нам выпить чаю и сказать «эй, рахмет, кызымка здорова, курт вот возьми...», и погладит Балта с уважением и опаской — большой все же, не видал таких...

Перевалы и тропы, что никогда не наскучат, каким бы усталым ты ни был, что каждый день, как каждый год, готовы открыться тебе, а готовы и напугать, потому что живут своей жизнью, и время у них свое — вне тебя ведут свой счет камень, солнце, вода и ветер.

Тропа ныряет в щель, поросшую кустарником, карабкается по скалистым склонам, выходит на многоцветье альпийских волнистых лугов, где с непривычки трудно дышать от чистого воздуха и аромата трав. Луга окаймлены колками тяньшаньский ели, через которые тропа опускается к перекатным ручьям, что впадают в общую для участка речку Женишке — разнохарактерную, а весной

даже грозную речку, в которой водится вкуснейшая рыба осман — рыба без чешуи, отчего, верно, и называется «осман голый», а если повезет — попадется стремительная, зубастая, в пятнах на розовом упругом теле царица-форель...

Но осторожно: при самом восторженном интересе не забывай видеть копыта коня — красные гравийные осыпи, желтые глиняные потеки расщелин сулят опасность, а рядом с тропой и вниз — десять-пятнадцать-пятьдесят и больше метров — отвесные скалы и каменные зубья, в которых пробила себе дорогу река.

А тропа вьется выше, петляя в темноте двухсотлетних елей, прыгая через старые вырубки и гари, на которых поднялись уже смородина, можжевельник и рябина; тропа карабкается к густым островам вечнозеленого арчевника и кустам эфедры на каменистых выжженных склонах, добирается до замшелых мрачноватых скал, уходя к пикам за перевалом, с которых и летом не сходит снег. От тысячи восьмисот до трех тысяч метров над морем — перепад высот, как и перепад здесь климата: утром выехав по жаре почти сталкиваться, и мы были заранее обезоружены собственной доверчивостью, а Балт поплатился за нее жизнью.

Позже мне пришлось гоняться в гипсе за этими «благожелателями», которые оказались заурядными браконьерами и фарцовщиками, прикрывающимися бряцаньем красивых словес и демагогией, этим вонючим детищем приспособленцев любого времени и ранга. Они вывозили шкуры сурка, которого должны были исследовать, продавали и выменивали местным охотникам оружие с патронами, а я бесполезно гонялся, бессильно требовал, и оборонялся от гнуса анонимок, которыми ожиревший обыватель в любом обличье склонен оборонять свою наживу и свой покой. А черный чугунный Мефистофель каслинского литья стыдливо наклонял голову и прикрывался петушиным пером, забиваясь в теневую часть письменного стола, где стояла большая фотография пса с голубыми глазами. Я гонялся бесполезно — быть может, именно потому, что уже не было Балта, который очень не хотел оставлять меня одного в этой жизни и оттого

мучительно повизгивал, перед собственной кончиной обнюхивая самодельные перевязки моей сломанной ноги... Сейчас-то мне думается, что ему, как и многим моим друзьям, как многим наивным романтикам, ушедшим, как жалелось, раньше срока, — им повезло, быть может, с уходом во время... они покойны в земле, по которой ходили, которую обихаживали, на которой — просто жили. Они не думали, что возможно новое кочевье, бродяжное кочевье, которое начинается ниоткуда и не ведет никуда, в котором отменены все человеческие и природные законы, сама память о них, подмененная чужой мерцающей ложью... одной ложью. И не думал я тогда, что многожды придется пожалеть о большей продолженности моей жизни по сравнению с его — короткой и достойной. Он не зря боялся оставлять меня в грядущем хаосе...

Жизнь собаки и вообще короче человеческой — хочешь или нет, но ты должен быть готов к утрате. И мы с ним оба не дождались его семи лет, которые вот-вот должны были исполниться, а семь лет — это большой срок, если живешь вместе, если дружба проверена успехом, а еще надежнее — неудачами. На остающегося всегда падает бремя утраты и памяти.

Я давно мечтал о собственной лошади и хотел воспитать жеребенка... У меня даже была для будущего коня удобная попона, ее мне подарили на ипподроме. Красивая черная суконная попона с аппликацией и ремешками-пряжками.

Я завернул в нее Балта — это было все, что мог сделать для него на прощанье. Попона да выстрелы из ракетницы в солнечное предапрельское небо.

«Плохой конец...» — сказал мне приятель, прочитав новеллу.

Что такое — «плохой» или «хороший» конец, если за чертой остается жизнь? По мне «плохой» конец предпочтительнее, подумал я, когда огонь еще раз сверкнул на старых медалях, мой Балт согласился бы с этим. «Плохой» конец — значит, до него была жизнь наполненная, была то тропической, когда солнце выжигает все до камня, то полярной, — когда к вечеру можешь въехать прямо в метель.

И Балт шел этими тропами рядом со мной...

И гонялся по зайцу в тугих ветвях арчи, и пугал лисицу, затаившуюся в кустах шипички, и облаивал непривычно-тревожащий след кабана, совсем недавно прошедшего в ельнике, и оставлял возбужденные метки мочи на волчьих отметинах — Балт привыкал и радовался новым местам, осваивал новую жизнь, свободу. Свободу ведь тоже нужно — осваивать, чтобы не оказаться ею отравленным.

И он ждал меня, когда я на попутках носился в-город-из-города, торопя, убеждая, заискивая, требуя, преображаясь в выбивалу-просителя, снабженца, нищего и обещателя райских благ, потому что «несколько дней» ремонта нашего дома-кордона складывались в несколько месяцев, а осень уже грозила перекочевать в зиму. Сложностей на новом месте оказывалось больше, чем можно было предположить поначалу, и их надо было решать, раз уж взялся, решать при всей своей широкой неспособности к такого рода делам, удивляясь потом великой человеческой приспособляемостью и выживанию. А Балт ждал меня возле вещей по три дня, он знал, что теперь-то я обязательно вернусь к нему — к себе...

Еще в городе он научился принимать гостей, знакомых и незнакомых; пес всегда встречал их с достоинством и радушием, и гости всегда становились его друзьями и почитателями, если уж не были откровенными сволочами, но нам везло на людей; даже если они приезжали с разбитой машиной и благополучными шишками-синяками после аварии — с той самой, знакомой машиной любимого Балтом поэта — добрый мой арлекин заставлял огорошенных московских знаменитостей на время забыть от пережитого ужаса, который становится еще осязаемей задним числом, в таком случае Балт соглашался терпеть водочный дух, которого не переносил вовсе.

Здесь, в горах, любой путник нуждается в крыше, в тепле, в хлебе; и Балт без рычания разрешал входить в дом совсем незнакомому человеку, правда, сам оставаясь на пороге, лежал удобно, наблюдал с интересом за гостем, слушал его — если гость был склонен поговорить, и ждал меня — ведь и в самом деле, как отпустить гостя, который не повидался с хозяином...

Он ждал и в последний раз, слабел, не в силах подняться, и укрывался от чужих ему людей, но крепился и ждал, зная, что я приеду, ждал у самого края Большого Прощания.

Я сам пригласил их жить в доме — противочумную экспедицию, потому что здесь было удобнее, а работать в поле им предстояло все лето, да и кто в отдаленности устоит перед соблазном регулярного общения даже с полужнакомцами, кто устоит в горах перед надежностью попутного транспорта?.. Но потом оказалось, что начальник отряда был мелкой гадиной, а его помощник-зоолог гадиной покрупнее, и нам прежде не приходилось сталкиваться с такими, о чем стоит сожалеть, утрачивая; было здорово. «Хороший» конец — лишь избавление и ничего больше...

Ты взбираешься на гору. Пот струится по лицу, ты задыхаешься, нужно несколько раз грохнуться вниз, похолодеть от мысли неизбежности падения и мгновенно преоборенной слабости, в сопротивлении этой слабости выворачивать и рвать руки, хватаясь за камни и колючки опрокидывать на себя небо и землю, вспоминая все обиды, которые тебе причинили и которые — быть может, чаще! — причинил ты, скользить, прощаться и прощать; а уцепившись в последний момент черт знает за что — снова взбираться вверх, не растерывая в падении веры и надежды: потому что начинать с нуля жить полным дыханием нужно в любую минуту своего существования — даже если остается всего несколько дней или часов, эти мгновения не должны опустошиться бессмыслием и бесчувствием.

Вот тогда — через боль, усталость, головокружительную тошноту и отчаянье, и преодоление утрат — ты узнаешь радость близости неба и слиянности с ним человеческой силы духа; и ты поднимешься, преодолеешь и уйдешь за перевал, где твоей помощи или просто участия кто-то ждет; когда выкуришь измятую на подъеме сигарету, и поймешь, как может пьянить обычный чистый воздух, и прокричишь, пусть тебя и не услышит никто сейчас... Можно, конечно, подняться вертолетом, обойти какие-то препятствия хитроумием — если успеешь, но найдешь ли ты при таком подъеме то, что станет — памятью? Потому что без потерь, какая цена — приобретениям? И разве за радость и

горечь сознания, за понимание, сомнение и любовь не расплачиваешься — жизнью?..

Я всю жизнь мечтал о собственной лошади... И я понял, как трудно умирает лошадь, а застрелить ее мешает надежда, мелькающая в ее глазах и моем сердце. Но я устал, потому что, в сущности, она так и осталась мне чужой: большая, серая, с отрешенным взглядом кобыла, в крови которой еще билась струя орловских рысаков, но которая загнана и опоена, и горы оказались ей непривычны.

Но вот что удивительно: прошла неделя, даже чуть больше, как она легла, стонала, мучительно беря из моих рук сено, как остыла, не дождавшись пятого утра. А сегодня проехал я по дороге и увидел след лошади — ее след, таких больших копыт здесь у лошадей нет, ее четкий след, отпечатанный на снегу.

Конечно, снег растает. Или выпадет новый, а потом растает совсем. Но ведь что-то, какие-то изменения и она, эта старая загнанная кобыла, внесла в мир? Она жила, дышала, кого-то возила и кто-то срывал на ней зло, у какого-то мальчишки она слизывала хлебные крошки с ладони и где-то растут ее жеребята... И этот след на снегу, оставленный ею, породнил наконец меня с ней и приблизил ко мне того крестьянина, который мог рыдать сто лет назад над павшей лошадью, припоминая все доброе, что она, его лошадь, еще должна была сделать, и крестьянин тот понуждался теперь оставить недопаханный клин земли, уйти для прокормления в город, и только там родить моего деда, который уже не будет знать ни лошади, ни земли... Странно, что человек склонен задумываться над жизнью своей при утратах; что именно утрата дает видеть, сколькими нитями связан ты с миром.

Ранним декабрьским утром скрипит стенами дома мороз и на глазах наносит новые узоры на чуть бледнеющие окна. Неверный еще свет из окна и сполохи от нового полена оживляют сомнения на черном длинном лице чугунного Мефистофеля, придуманного одним мастером и отлитого другим на старом каслинском заводе, хотя они и не знали друг друга. А сейчас чугунная фигура на моем письменном столе будто оживает и тоже смотрит, как потрескивающий в камине огонь отбрасывает блики на стену, где висят рога,

старые белесые рога большого марала, который тоже прожил нужную жизнь. Мы с Балтом нашли в горах эти рога, я увезу их отсюда — памятью, а в горах осенью по-прежнему будет слышен трубный рев других оленей, продолжающих его жизнь. Я отдам старые олени рога поэту, и мы вместе вспомним нашего друга, и молодость, и утраты на старой веселой дороге, заметенной вьюгой.

Блики огня высвечивают белизну рогов, играют на желтых медалях и жетонах, оставленных мне Балтом, который согревал меня на привалах и мог стать на пути чужого выстрела, предназначенного мне.

И я живу дальше. И делаю свое дело, неважно какое дело, потому что любое дело, если оно не мешает другой жизни, созидательно: коня ль кую, чищу ли клозет за сараем, или кормлю обессилевших и оставшихся на зиму уток, пишу ли книгу или копаю колодец — я живу. И камин — благодаря Балту — уже перестает быть прихотью: живой огонь и живая память, как и ухмыляющийся чугунный Мефистофель каслинского литья. Ну, он-то многое молча знает наперед и ему вовсе невесело сознавать, что все собственные подлости и пакости в недалеком будущем люди опять припишут ему...

И живет дерево на могиле Балта, приехавшего со мной из города дога, «арлекина» с голубыми глазами; городского массивного пса, которому нужно лишь было что-то до-вспомнить, что-то допонять, с чем-то допримириться, чтобы не обращать внимания на распоротое рогом бедро с багрово пульсирующей мышцей и удерживать огромного рогача-марала в семи метрах от объектива моего аппарата. Чтобы помогать мне делать дела человеческие и чтобы — обрести жизнь, счастье и смерть в горах.

Дерево на том холмике на обрыве сейчас занесено снегом, оно еще небольшое, но оно проснется весной. И частица Балта, его большое тело, поможет тому дереву тоже стать большим. И мальчишки будут рвать зеленый еще урюк и не будут знать, что силы та урючина взяла — у моего Балта. И птицы будут клевать перезрелые ягоды у корней дерева, уходящих в каменистую землю, удобренную голубоглазым псом.

А люди... что ж люди? — Что они вне памяти, вне земли и могил на ней?.. Однодневки, пыль с крылышка мотылька, несомого ветром. Прах.





## Рассказы

### *Рыба была большая*

*Памяти Володи Безелюка, художника*

День угасал, и порозовевшее на вечер солнце скатывалось за недалёкий склон холма. А я сидел на берегу небольшой и негромкой в этом предхолмии горной речушки. Сидел, все еще не в силах оторваться от суматошной недели, от работы, которая не отпускает мысли даже сейчас, когда в кои-то времена вырвался из города.

Я приехал сюда не рыбачить, хотя удочки и лежали рядом. Добротные удочки с добротной японской леской на блестящей катушке. И коробка с набором крючков да блёсен оттопыривает карман. А я даже не знал — есть ли в этой речушке рыба, хотелось просто окунуться в тишину и безлюдье. Древние считали, что каждый человек рождается под каким-то знаком Зодиака, и его характер, как и судьба, определяется этим знаком. Во всяком случае, судьба-то уж характером определяется... И каждый лучше чувствует себя в своей стихии. А почему бы нет? Во всяком случае, думал я под однообразный рокот медленного водопада, образованного упавшим поперек стволом подмытой при разливе ольхи и наносами сверху старых сучьев, камней да глины с песком, — во всяком случае, мне всегда было хорошо близ воды, как сулит гороскоп: ведь родился-то я под знаком Рыбы, недаром большая вода всегда манила меня. Манила и приносила перемены в жизни, порой обесценивающие и разочаровывающие, но потом звала опять и успокаивала...

Мне захотелось закинуть удочку. Лениво и бездумно начал я разматывать леску, как вдруг... На поверхность омутка у водопада, всего-то метрах в трех, выскочила рыбина. Она поднялась на мгновение, розовая в лучах вечернего солнца и стремительная, как проблеск фотовспышки. Совсем чуть, совсем коротко зависла она над водой, словно приглашая запомнить себя. Шлепок ее хвоста, когда рыба вошла в струю навстречу течению, когда вновь вынырнула в точном броске через завал и летела, сверкая, в радуге поднятых с собой струй воды, — свободный полет форели словно смахнул с меня все привезенные с собою из города заботы, смысл сам этот большой и шумный город.

Смысл целые годы целой жизни, чтобы вернуть — лишь звуком одним, лишь посверком серебряным — на берег другой речки, которая впадала в большое озеро... давно впадала, раньше, совсем-совсем раньше...

... — Вадька, давай быстрее! Мы на Старой Течи будем, — Юрка побежал вослед остальным пацанам.

А я остановился перед своей калиткой, придумывая, куда сплавить Нельку.

Старая Течь, куда мы попали по эвакуации в войну, — невеликая речка на Урале вблизи Кыштыма, вся заросшая по берегам осокой. Впадает она в озеро, противоположный берег которого еле виден в дрожащем над водой воздухе. Кажется, что на горизонте уходит вдаль шхуна, ее паруса золотятся напряженным сентябрьским солнцем. Жара днем стоит совсем июльская, хотя утром в росной траве уже мерзнут босые ноги.

Шхуна та на горизонте — далекий, километрах в двенадцати, остров, словно прибитый водой к противоположному берегу. На острове белеют оплавленные солнцем стены церквушки, один купол ее светится золотом в солнечных лучах и делает весь остров подобным паруснику, несущемуся куда-то под ветром.

Так и несется этот остров-парусник через все мое детство, никуда не исчезая, но и не приближаясь...

Да, мне надо куда-то сплавить Нельку и взять удочку. На речку мне надо позарез, потому что лето все равно

кончится, а я еще не поймал рыбу, которую мы с Юркой увидели в Старой Течи.

Рыба была большая. Она поднялась однажды из того омутка, возле которого мы ныряли. Увидали мы с Юркой ее одновременно, у нее была тупая морда, а серое в прозелени тело походило на небольшое полено. Всё лето она, эта рыба, росла в наших рассказах и снах, но поймать мы ее так и не смогли.

А недавно Франц подарил мне отлично полированную блесну с серьезным крючком, на котором была острая заусеница. Это не булавочные «заглотиши», с которых и пескари-то срывались.

Блесна крутилась и сверкала в струях воды, убегающих в озеро, просмоленная двойная суровая нитка лески приятно напрягала руку. Мы сразу после уроков, к которым все еще не могли привыкнуть после безоглядного лета, убежали на речку.

Если мне не удавалось пристроить Нельку, иногда я брал ее с собой, но сестра отвлекала, за ней надо было все время приглядывать, она надоедала ребятам, которые уходили от нас. А без них становилось скучно, и рыбачить без свидетелей клёва не хотелось.

На время моих занятий в школе мать договорилась оставлять Нельку у соседки, но раз и навсегда наказала сразу забирать ее оттуда, зло выпоров меня в первый же день, когда я этого не сделал. Порка меня пугала не очень, но зависит от чужих людей в чем-либо я и сам уже, подобно матери, не любил: поэтому делал у соседки всю мелкую работу в огороде безропотно — поливал, рыхлил, полол.

...Из калитки навстречу мне вышел Франц, и я вспомнил, что мать посулила отдать ему папиросы за наколотые к зиме дрова. Франц сутулился и загребал своей негнущейся ногой пыль больше обычного, он лишь неловко кивнул мне и сразу отвел глаза, как-то слишком поспешно заковылял прочь. Мне было не до него, я только пожалел, что он не поработал у нас подольше: на него спокойно можно было оставить Нельку, он бы не отказал и уж не дал бы ей ходить чумазой. Франц был военнопленный: рядом шла стройка, на которой он работал.

Мы часто бегали к пленным с Юркой, Франц по очереди давал нам отбойный молоток, удерживать который было трудно, молоток заставлял тебя всего трястись вместе с ним, но все равно нас туда тянуло. Еще Франц делал зажигалки, которые обменивал на картошку, чинил он часы и паял, пилил лучковой пилой дрова по дворам и складывал их в аккуратные поленницы. Помогал он всем охотно, даже нам, мальчишкам, когда мы собирали «калачики» в потрепанные противогазные сумки — мы набивали этими травяными лепешками свои животы.

Всё еще соображая, что делать с Нелькой, я заторопился по двору.

И понял, что мать дома.

Из открытой двери нашей половины дома слышалось распевно-жалобное причитание соседки, тети Нади. Я остановился, вспоминая, на что могла тетя Надя жаловаться матери, хотя таким голосом она говорила всегда и со всеми. Может быть потому, что она была толстая и страдала астмой. Ревела Нелька.

Я пожалел, что не оставил удочку в сарае: сейчас можно бы уйти незаметно, хотя неплохо бы еще успеть чего-нибудь перехватить, хоть хлеба...

Мать сидела на стуле очень прямо. Руки ее лежали на столе рядом с распечатанным конвертом.

Она сидела очень прямо, смотрела на меня и будто сквозь, мне стало холодно от ее взгляда, такого не видел я даже в самые гневные ее минуты.

— Ох ты, сиротинка наша... — запричитала все тем же ровным с придыханием голосом тетя Надя, обернувшись ко мне. «Не надо», — тихо сказала мать.

И я сразу понял, что у матери под рукой, почему она не на работе. Я уклонился от жалостливой руки тети Нади и не знал, как же мне теперь быть. У Старой Течи меня все же ждал Юрка с ребятами.

Отца я не представлял себе. Я только знал — он есть. А лица его не помнил, и небольшая фотография, где он с матерью, не вызывала во мне никакого отклика.

Запомнились разноцветные нашивки на груди, я и тогда, в последний короткий приезд отца, знал, что нашивки

эти обозначали ранения. Их было больше, чем медалей, — пять штук.

А отец был сапер, кадровый: войну он встретил уже старшим лейтенантом. В похоронке он назывался майором, она сейчас прибавила мне гордости за отца, и мне хотелось быстрее бежать к ребятам на Старую Течь: на японской войне ни у кого из наших пацанов отца не было. Шла та война недолго и совсем недавно закончилась, конечно же, нашей победой, радость от которой все еще поглощал День Победы в мае.

Тот день врезался в память и был единственным настоящим победным, тогда женщины даже Францу наливали выпить водки, и встречные добродушно хлопали свойски его по плечу, когда Франц неловко ковылял в свой барак. «Да, да, енде-конец, конец-капут», — бормотал Франц, и улыбался, и руки поднимал к небу, хотя мы знали, что его родной город Кенигсберг дотла разбомблен, что он переживает за свою дочку, Нелькину ровесницу...

Он нам, пацанам, когда ловил с нами раков, соорудив для этого проволочные сетки, говорил, что на войне страшно, что лучше держать отбойный молоток, чем пулемет, хотя они и кажутся нам похожими. Что ранения — это больно и никому не нужно.

А я гордился нашивками отца. И пробовал сбежать на фронт, правда, меня сняли на первой же станции, а мать порола остервенело, рыдая и отбивая собственную руку, но я хотел бы получить хоть одну такую нашивку...

И лишь позже, много позже, смог осознать, что такое пять ранений — пять ран в живом теле, пять падений, пять болей, которые отмечала красная или желтая нашивка на гимнастерке. Хотя до конца и теперь, наверное, не дано мне понять этого. Не дано понять отцом, оставшемся в памяти больше всего этими нашивками...

Я увернулся от мягкой руки тети Нади, схватил ведро, которое еще утром надо было вынести, и благодаря ему выскользнул из-под застывшего взгляда матери. Осторожно прикрыв за собой дверь, схватил другой рукой удочку в сенях и, оставив ведро за углом, припустил на речку.

Мне было восемь лет, когда кончилась в мае война.

И матери было не до меня, тем более, что и с Нелькой-то она не успевала справляться. И, как все мальчишки в то время, я радовался этому, хотя приходилось многое делать и решать по-взрослому. Уходила мать на работу рано, оставив нам с Нелькой, бывшей на пять лет младше, омлет из надоевшего яичного порошка, по кусочку хлеба.

Как часто мне приходилось пересиливать себя, чтобы не съесть порцию сестренки! Чтобы преодолеть преступное желание, я отдавал ей еще половину своей, когда отводил сестру к соседке. Из школы я всегда приносил Нельке осколки жмыха-макухи, который кто-нибудь обязательно в классе разбивал на части для всех.

Я уже пытался курить, хотя находил удовольствие не столько в дыме, сколько в почтении приятелей, которых я снабжал папиросами «Пушка». Добывал я те папиросы регулярно не очень красивым способом: мать откладывала про запас, отоварив командирские карточкИ, чтобы обменять «на толкучке» на картошку, ряженку или яйца, которых иначе эвакуированным взять было негде. Можно только представить, сколько проклятий несло в адрес матери, когда распечатывалась пачка: несколько папирос в ней были подменены мною на туго свернутые трубочки из обычной газеты...

Юрка и еще три пацана помладше валялись на прогретой гальке у самого впадения Течи в озеро.

Было жарко, и вдалеке в надводном мареве дрожала от напряжения шхуна-остров. Сердце колотилось от бега, от памяти, задержавшей в себе руки матери, прижимающие листок похоронки к столу, колотилось от непривычных ее глаз, таких опустошенно-далеких и холодных. Я с разбегу, бросив удочку, прыгнул в воду.

— Опять ты со своей Нелькой провозился, — сказал Юрка, отряхивая песок с длинных мокрых трусов. — Давай быстрее, на наш омут доковские пошли!..

С доковскими мы враждовали постоянно, война шла с переменным успехом: кто кого застанет в меньшем количестве.

— Сколько? — спросил я.

— Трое! Побежали, пока больше не стало... — и хотя малышня не была надежной подмогой, мы впятером побежали на омут.

Двое доковских были нашими ровесниками, третий, худой и длинный, что строгал длинное удилище, был Левшак. Он с нами и один спокойно разделяется. Мне стало жалко Францевой блесны, Юрка, зараза, мог бы и сразу сказать, кто — «трое», плакала моя блесна...

— Прибежали, шкеты городские?! — ухмыльнулся беловолосый пацан, так обгоревший на солнце, что кожа даже на носу сходила лоскутьями. Он ехидно ухмыльнулся и толкнул пяткой Левшака.

— Ну их... — совсем неожиданно миролюбиво протянул тот и продолжал строгать.

«Городские» звучало почему-то обидно, хотя город рядом с деревней уже строился, и мы даже знали, что он будет «закрыткой» — с военным заводом. Но все равно за такую обиду следовало белобрысому врезать, а рядом был Левшак. Как бы хотел я сейчас хоть чуточку походить на отца!

... А отца я не представлял себе. И вряд ли узнал бы его, столкнувшись, например, на улице. Я только помнил и знал — он есть. Далеко. И небольшая фотография, где они сняты с матерью еще до моего рождения, его ко мне не приближала.

Но странно — я почему-то помнил ладони, да, это были именно его ладони! Широкие и жесткие, они легко подбрасывали меня кверху — высоко, так, что я зависал в воздухе и в подвздохе у меня холодело — а потом ловили без усилия, как в люльку, и потому я решил, что отец был очень высоким. Во сне я видел себя тоже высоким и сильным, как он... Это было здорово — знать, что у тебя есть отец, который много раз ранен, и все время, разумеется, в грудь, хотя потом я узнал: и в руку, и осколками мины в спину, хотя потом-то я понял, что это ничего не меняет. Потому что он сапер, это было здорово — рассказывать, что он сапер. А значит — впереди всех при наступлении и «ошибается лишь один раз» (разведчик, правда, значил больше!). Но и так признавалось, что он очень большой и сильный...

Позже мать мне рассказала, что он был, пожалуй, даже чуть ниже среднего роста, так что нечего мне огорчаться, когда на уроке физкультуры приходится переходить в самый конец класса. Он, говорила мать, казался еще ниже из-за широких плеч, но так же легко мог подбросить к потолку и ее...

А я даже этим не был похож на отца, разве что ростом не выдался. Ничем. Шкет, одним словом. И — «оторва».

Это не я придумал — мать определила. Прежде всего тем не похож якобы, что «отец никогда не оставался без дела, не старался убежать на улицу и не дрался, и штанов единственных не драл, и друзья у него были всегда самостоятельные, а не разгильдяи, которыми легко командовать»... Мне бывало холодно в груди от подобных сопоставлений, которые всегда заканчивались одинаково и привычно-торопливо: «Вот вернется отец, посмотрит, каким сыночком его Бог наградил».

... — Давай забросим, — прошептал мне Юрка.

Мне и самому хотелось забросить, испытать францеву блесну, черт с ним, с Левшаком, может, кто из наших постарше подойдет...

— Класс удочка, — с подковыркой толкнул Левшака обгорелый.

— Пусть рыбалит, — вдруг совсем уж мирно сказал Левшак. Такого я вовсе не ждал, тем более, что мы с Юркой и сами б не пропустили случая «рее-ви-зи-рывать», будь у нас перевес в силах. Я покосился на Левшака, он почему-то отвел глаза и деланно-небрежно сплюнул.

— Рыбаль... паря.

Я закусил губу и закинул блесну в самую пену, вырывающуюся из омута. Юрка незаметно крутил головой: наверняка выглядывал подмогу повзрослее.

— Ты выше бросай, к яме чтоб тянуло, — сказал, все так же не глядя на меня, Левшак.

— За коряги уцепит, — пискнул Юрка.

Я бросил выше. Блесна заиграла в потоке, я держал леску втугую. Блесна крутилась и сверкала у самой поверхности, вода пузырилась вокруг нее и журчала.



... Вернется отец. Вернется? Я так и не сказал еще Юрке, что случилось и почему я задержался дома, вовсе не из-за сестренки. И мне сейчас не хотелось говорить, не хотелось вспоминать глаза матери, видевшие что-то — или... кого-то? — сквозь меня. Грудь медленно заполнял холодный страх при мысли о возвращении в дом.

— Тяни же! Вадька, тащи! — с хрипом выдохнул Юрка.

Я и сам почувствовал сильный потяг, хорошо, что не было резкого рывка — нитяная моя леска, пусть просмоленная и пущенная вдвое, вряд ли выдержала бы. Шлепок хвоста заставил меня схватиться за удилище второй рукой. «Рыба-а...» — зашипел кто-то за спиной.

Конечно же, это была та самая рыба!

Да — та самая, которую мы с Юркой видели в начале лета. Ее тупая морда на мгновение показалась из воды, закипела вода вокруг нее, и снова был виден хлопок зеленоватого хвоста. Странно, однако я именно видел этот хлопок, а уши словно ватой заложило. «Сом!» — прорвался прямо в ухо хрип Левшака, он ухватил мое удилище. Я попытался оттолкнуть его локтем, удилище согнулось почти до воды. «Не бойсь... вместе...» — выдыхал доковец. Леска пошла плавно из омота, на воздух показалась усатая голова, поленное зеленое тело. «Тиш-ша... потягай...». Рыба изогнулась, казалось, она взлетела вверх вся, полностью, большая и темно-медная в уже побуревшем на вечер солнце.

Мгновение висела рыба над водой, над вращающимися струями воды, над красным отблеском сентябрьского закатного солнца — зависла рыба в воздухе, словно показывая себя, словно не желая быть забытой...

И — ухнула в воду, в свой омут, сразу и сомкнувшийся над ней, без брызг и кругов.

Легковесно повисла оборванная нитяная смоленая леска.

Мы стояли с Левшаком, держа ненужную уже палку, только что бывшую удилищем с редкой блесной. Стояли, еще не понимая, что рыбы, этой Большой рыбы — нет.

— Сорвалась-сорвалась-шкету-в-руки-не-далась! — затанцевал возле меня кто-то из доковских.

Я оттолкнул его, в глазах туманилось, стало трудно, невозможно дышать, И, чтобы глотнуть воздуха, я заорал,

завопил... Нет рыбы, ушла. Была: вот только что билась в глазах, напрягала мои руки, все видели... И нет. Навсегда — нет. Ни рыбы, ни французой замечательной блесны, не будет, не...

Острая, режущая все нутро жалость к себе и обида превали дыхание и выдавили судороги, бросившие меня на песок. Рыдание не облегчало, потому что проснулся страх возвращения домой... без рыбы, без Большой рыбы, что могла бы стать оправданием... чему? «Вот вернется...» Он не вернется... никогда... ни-ко-гда: слово застряло комом, жгло внутри и не находило выхода в дыхании.

— Сорвалась-шкет-соплями-изошлась... — прорвалась вдруг ко мне нескладуха. Кажется, того белесого... И еще, следом: «Ну ты чо, Левшак, ты чо-о?..»

— Пошли все отсюда. Не трог его: отца у него убили только что. Я на почте был... Рыба — херня, пусть себе плавает...

Я катался по прибрежному песку, рыдая, швыряя этот песок в омут, орал, грозился кому-то... «Эта рыба... большая рыба... ты не должна, не можешь...» Я бил своими маленькими и слабыми кулачками по земле, маленькими и слабыми, совсем не похожими на могучие отцовские руки. Меня колотило и колобродило одинокое сознание непоправимости этой потери, которую я ощущал, утрачивая тяжесть натянутой рыбою лески.

Я орал и катался по песку, и песок сушил мне губы. И не помню, как оказался на берегу озера, в которое скатывалась речка Старая Течь. И опять в последнем красно-медном солнце уплывала куда-то шхуна — далекий остров, словно прибитый водой к противоположному берегу...

Я горжусь нашивками отца и нынче. И еще ясно помню ту большую рыбу, что ушла от меня. Уплыла Большая рыба... И вдруг — вот, опять! — всплыли в памяти: красные, желтые нашивки на гимнастерке с правой стороны твердой мужской груди: отметины пяти ран отца, тяжелых и не очень. Сейчас-то я уже представляю их боль. Но еще не знаю — того, дальше, за тем гаснущим закатом, хоть сейчас я уже намного старше отца...

Наверное, я увидел и — надо же! — запомнил эти разноцветные солнечные нашивки, когда его широкие ладо-

ни подбрасывали меня под низкий бревенчатый потолок домика на берегу Старой Течи. Он и заехал-то на один день, и мне было тогда обидно: я понимал, что видит он только мать. Его лицо так и осталось словно затуманенное слезами моей обиды, когда он подбросил меня к потолку и наскоро прижал мое напрягшееся в обиде лицо к этим нашивкам.

Уплывала та шхуна... Косыми парусами и сейчас, наверное, белеют на острове растворенные в мареве заходящего солнца стены церквушки, над которыми золотом отлиывает купол и обращает весь остров в подобие парусника, несущегося под ветром.

...Добротные удочки лежали рядом со мной. Падала вода горной речушки со случайной преграды, над которой, казалось, еще виден серебристо-розовый след летящей форели, вернувшей меня свободным своим полетом на берег озера при впадении Старой Течи, речки моего детства, откуда виделся мне далекий остров. Отчая земля.

Так и несется тот остров через все детство мое... и через жизнь мою, никуда не исчезая, но и не приближаясь. Так и несется.



## Рядом с тобой («Яблоки»)

Посвящено Юрию Казакову

*«Случай забросил меня сюда ненадолго, скоро уеду и никогда, быть может, не увижу ни моря, ни этих высоких черных осенью изб, ни этой древней поморки. Отчего же так таинственно близка и важна мне ее жизнь, почему так неотступно слежу я за ней, думаю о ней, расспрашиваю ее? А она не любит рассказывать...»*

(Ю. Казаков. «Поморка»)

— С десяток яблочек не продадите?

— Не-ет...

— Так неожиданно: здесь яблоки. Я три рубля дам...

— Непродажные оне...

Путник удивленно всмотрелся в женщину. Не то чтобы его очень удивил отказ, голос его изумил. Женщине было далеко за пятьдесят. Волосы седые. Морщины у глаз и губ... Но голос... голос был молодой. Очень. И нежный. Таким-то напевным голосом не отказные слова говорят. Путнику захотелось закрыть глаза, чтобы только слышать. Ему почудилось, что голос пахнет разломленным яблоком... вот тем... в котором только что отказано.

Собственно, это было блажью — попросить яблоки. Да и три рубля, что завалились в кармане, ему еще понадобятся...

Он хотел пить. Несколько часов шел он этой пыльной грунтовкой, петляющей среди горелого леса. По его расчетам оставалось еще километров двадцать до той просеки, что выведет потом к топографическому отряду. Он шел, ремни ящика с теодолитом все большее врезались в плечи, а колодца или ручейка не попадалось. И он клял ту мину-

ту, когда отказался от измученной лошади, предложенной в конторе. Изредка топограф присаживался на краю грунтовок, надеясь на попутную машину. Но машин не было. И сидеть неловко: кололись звенящие, иссохшие бодылья травы. И курить было горько, поэтому он поднимался и шел дальше, лишь мысленно проклиная все на свете.

— Как село-то ваше зовется? — спросил путник.

— Велва прозвание ему, — ответила распевно женщина.

— Чудное название...

— Речка здесь Велва недалеко, от нее и пошло, нарядный мой.

«Ишь, нарядный...» — он повел плечами, поправляя ящик на спине. Это было блажью — просить яблоки.

Просто очень неожиданным был этот сад, вдруг поднявшийся из-за поворота. Это был и не сад вовсе, а маленькая яблонева рощица, возле которой осела в землю старая бревенчатая изба.

С ветвей свешивались настоящий ранет, настоящая антоновка. Найти их здесь, среди сосновых шишек звенящих и колких... А сад был ухоженный. И в саду возилась эта старая женщина с удивительным голосом и выцветшими глазами. Жалко ей...

Конечно, это было блажью — спрашивать яблоки.

Он принес бы их своим ребятам, ожидающим его с исправленным теодолитом там, на таежной точке. Топограф облизнул губы.

— Водички хоть не найдется, хозяйка? — сипло спросил он, прикрывая глаза.

— Непродажные оне... — повторила нараспев женщина, — так берите сколь надоть. Коленька мой очень их любит.

...Дом был старый, рубленый, строенный надолго, с затейливой потемневшей резьбой по окнам. Внутри было тихо, чисто, а главное — прохладно. Топограф с наслаждением, задыхаясь, пил из кувшина воду. Сводило зубы. И только почувствовав, что вода стоит в горле, он сел прямо на пороге. Достал примятые сигареты и взглянул на хозяйку, нарезавшую хлеб.

— Курите, давно никто не курил... Двадцать с лишком уж табаком не пахло. И сын не успел научиться.

Топографу снова захотелось закрыть глаза. «Хоть петь ее попроси... — зачем-то выплыла мысль. — И еще одна блажь. А мне еще тащиться. Надоело... сидел бы себе в управлении... таким бы голосом да песню подслушать...» — медленно подумалось ему.

Последний раз пела Татьяна летом сорок четвертого.

Василий ушел на фронт по второму году войны, не выдержал — сам ушел. Это позже, через год почти его годовиков призвали, звон сколько еще могли бы вместе побыть... А жили они неплохо до напасти той. Василий был мужиком степенным, даже в двадцать лет, когда он поймал ее вечером на покосе и, горячий, потный, одуряя запахом травы и самосада, выдохнул: «Пойдешь за меня?!» — даже тогда гляделся он степенным мужиком.

Ей было шестнадцать лет, и хотелось ей быть хозяйкой.

Жила она у бабки: мать умерла за нее от родов, а отец ушел на сплав в заработки, да и пропал навовси.

Бабка была не то чтобы скупая, но женщина властная и — «самостоятельная», как любили повторять.

И считала себя благодетельницей. И подчеркивала это, ждала, чтобы близкие помнили и ощущали, любила, когда благодарили ее. Деда она не ставила ни во что, в минуты раздражения звала его «пришляком» и «приблудным» — дом был ее, а дед действительно пришел сюда, в затерянную среди тайги деревушку, после войны с германцем.

Дед волок выбитую близким разрывом снаряда ногу. По России было голодно, а здесь жили хоть глухо, да сытно. Был он кузнецом, мог даже ружья чинить. Пришел переждать голодное время, да так и присох возле бабки, овдовевшей года за два до его появления.

Чуть не каждый день бабка напоминала деду о своей семье, которая «держалась веры истинной и двумя перстами крестилась». А дед — Татьяна поняла это скоро — не верил в Бога вообще...

Он видел истерзанные снарядами животы с вывалившимися кишками, слышал прощальное хрипенье людей, здоровых еще минуту назад, просыпался в лазарете от натужного кашля напоенного газом соседа, молящего деда «хоть додушить, раз пристрелить нечем...»

Дед в Бога не верил, но отчего-то не перечил бабке: видно, привык, а теперь, чего уж, — и помирать скоро. Потому он каждый раз сидел над едой и покорно ждал, прикрыв глаза и вздернув сероватый скобленный подбородок, пока бабка дочитывала молитву. И терпеливо молчал на попреки бабкины. А пенять ему, причины искать нужды не было, корила хоть вот за тот же скобленный подбородок, оголять который серьезному мужику здесь не уважалось.

А в одном бабка была прекрасна. Но и — страшна, до холода под сердцем страшна... да истова.

В песне, в распеве причитанном, обрядном.

Ее приглашали на свадьбы с поклонами. На похороны за ней присылали из других сел, за пятнадцать, двадцать и далее верст. Там стояли такие же небольшие деревушки, в которых сберегали жуть старинного причитания над покойником, в которых трудно расставались с уходящим навсегда из жизни человеком, в которых человек по смерти своей обретал наконец лучшие свои черты в памяти живущих дальше на земле отчей...

Татьяна несколько раз ходила с бабкой и никак не могла привыкнуть к ее голошению.

Да и никто не смог бы остаться спокойным под этим голосом, который рыдал, истекал воем, дрожал болями и страстной тоской, рвался из земли. И снова уходил — в землю. Бабкой овладевало дикое, темно-зеленое, кликушеское — вечное провиденье начала и конца.

...О-ой-ей, уже куда-то я

не погляжу,

О-ой-е-ей, да ведь нигде-то его

нетутка!!!

Это не было уже только игрой, только обрядом не было. Песня становилась укором живым, к доброте звала и прощению. Стоном рухнувшего дерева, воплем овдовевшего лебедя — была она, ее песня...

А-а-а-И-их... Отходил-то резвы ноженьки,

Отгоптал траву муравую,

Отмахал своим белым рученькам,

Отглядел очам ясными...

Прощанием и прощением были песни те. А может быть — болью тех гонимых крестьян, что сгорали огнем, уходили в неведомые и моровые леса, но верили в своего Бога. Потому что ни во что уже верить было невмочь... и жить-то было невмочь. Потому что земля-то рождает, да ближний отбирает: и лешего болотного назовет человек богом, чтобы скрыться от несправедливости жизни да род свой все ж продлить, как то природой заказано.

В такие дни бабка казалась тенью, двигалась на ощупь. И не молилась...

Она садилась рядом с дедом, и дед гладил ее волосы, и слезы стояли в льдистых дедовых глазах. И Татьяна понимала, отчего дед уже давно не подался прочь, отчего от так терпелив и покорлив. Он любил бабку, он видел ее сквозь попреки; знал он, ей благодаря, истинного Бога — несломленного, хоть и истерзанного, гордыней человеческой истерзанного, гордыней и властолюбием... Человека он при бабке познал корневого, природного, оплаканного многожды и вновь живого в корне неистребимом...

Но бабка опять становилась властной и «самостоятельной» — обычной, вседневной. И тогда особо не было житья с Татьяной от попреков ее. Как же не хотелось Татьяне быть хозяйкой в своем доме?

Василий тоже был чужаком, из другого села, где жили «одни нехристи» по бабкиному выражению. Был он плотником, да каким! «С живинкой — Ма-астер» — бурчал о нем дед, сам не без рук проживший.

Когда Василий ставил кому избу, на резные наличники да на крыльцо «с затеей» посмотреть всегда сходились, а стены внутри медово желтели и ровны были — рукой води детской, не занозишь. И не было дома, который он отделал бы под прежний: «Скушно в похожих-то домах жить, так потом человека не различишь — все дома под один вместе с душами стешут!» — говаривал после Татьяне мудро, да она и не вникала: то его дело, он мастер — ему знать лучше...

Бабка сразу его невзлюбила — за табак. И крестилась, говоря, что уменье парню нечистым дано. Это ей не помешало, однако, принять, чтобы Василий срубил новое



крыльцо да ставни подправил. И на свадьбу она согласилась сразу, видя Васю всегда при деле: «И рот лишний мне ни к чему на старости. А ты в гости не ходи: я приходиться буду, когда надоть. Да избу сруби себе людскую — другим-то ладишь, а сам в бане живешь, нехристь!..»

Непривычно и ладно жилось Татьяне с Василием с первых самых денечков, как принес он ее, телом горячую, а холодом от счастливого страха продроглую, в избу с запахами смоляными.

На деревне бабкиной считали Василия чуточку не в себе: мог он сам стирать, когда Татьяне не управиться было, да не в избе, а прямо во дворе, что мужику совсем-вовсе не пристало. И добр был слишком — и не обидишь ничем, и отдаст, что имеет, коль попросить. Безотказно на добро жил. А то, еще чище, мог схватить Татьяну на руки — силен ведь как: шея, что твой столб, надежно подымалась! — и нести, улыбаясь, через все село, она только лицо прятала покрасневшее. Не вырваться же на людях, не срамить мужа...

Не принято, не в обычае такое здесь у них, других нравов люди здесь жили: в себе больше таить привыкли. Исстари отучили доброту выказывать, старались долго — и отучили. Доброта опасна ведь: ее не сдвинешь, да и что ждаты от нее — неведомо...

Вот разве дед один понимал и всякого принимал Василия. «Оба пришлаки, да бить их некому», — определяла теперь бабка. Татьяне же сладко-хорошо становилось, когда подхватывал ее Василий на руки, носил по избе, а половицы скрипели и тоже радовались. Потом садился на кровать, им же выстроенную, держал Татьяну на коленях и шептал в ухо жарко да боязно, так шептал, что огнем плескалось у Татьяны внутри: «Вот скоро сын будет у нас... сын!..»

А в остальном был он степенный мужик, Василий ее. И заработать умел, и по хозяйству что, и пил редко — больше для компании с дедом. Она ж и не попрекала — мужское дело, после бани и нищий пьет, как квасом на камни льет.

Ладной была кровать, выстроенная Василием, широкой да прочной, плыла и пылала кровать их любовью и холила Татьяну, детей принимая.

Вот только сына все не было, а ей так хотелось угодить мужу.

Уж пятая дочка родилась, все погодки почти, а сына — как заговорили. Дочери-то на сторону пойдут, как в крестьянстве без сына? Кому Василий свою «живинку»-то мастеровую передаст? Татьяна и бабушку просила — пусть помолится, и к знахарке-ведунье бегала, хоть не вовсе верила наговору, а вдруг и поможет. И пила траву какую-то, противная трава, горькая, а все же — как знать... «Брось ерундовину эту, — говорил тогда Василий, глядя Татьянин вновь круглившийся живот, — дочки чем плохи, на тебя похожи будут! А дрянью этой еще опьешься, куды я без тебя-то?..»

Коленька родился седьмым, за два года до войны. Недаром ведется: счастливое число — семь-то. Уж осень стояла, слякотно. Муж в сенцах ждал — скребся в двери. Бабка пыхала на него. Легко родился сын, куда легче дочек, хоть и покрупнее был: видно, жданность облегчила, опростала, кричать и не пришлось почти. Вот тогда Вася ее напился первый раз, но он и в сильном хмеле тихим оказался.

Как сын родился, и бабка Василию буркнула о том в шелку, так тот сорвался — к деду. Взял лошадь — бабка-то с Татьяной возилась, не дала бы — да и рысканул в город за водкой. Два ящика привез, ничего боле: чуть не вся деревня дурной ходила. И самогон нашелся — до утра не утихали мужики. Им что — был бы повод, а Василий ее счастьем дышал. Утром подполз к кровати, бабка шипит на него, а не остановить уж — слезы у мужика не пьяные, да руку Татьянину целует, что свесилась к полу. Здесь и уснул: к сыну его не допустили, издали показали. Татьяна и не сердилась: тоже ведь счастливой себя знала...

Да и навторы не сердилась, как напился: горе пришло великое, горше водки перечной. Второй раз оглушил себя Василий, как умер дед. Только смерть дедова — те полгоря, что большому горяшку по следу шли...

Война началась. Поперву-то она их села никак не коснулась, далеко была. Потом ребята молодые уходить стали, с каждого двора, почитай, отправляли. Татьяна радовалась,

что Коленька их маленький совсем, его-то уж никак коснуться не должно, не век же войне той, будь она неладна. Василия тоже пока не тревожили, при такой-то ораве малолетней. Работы ему меньше стало плотницкой, в бригаду пошел: кому строиться забота, когда напасть такая — до самой Москвы докатилось...

Тут и пришла похоронная на Сергуню — соседей бабкиных, Клуновых, сына. Первая смерть пришла от войны, все еще помнили, как бабка уши драла Сергуне, когда тот вечером в трубу гудел да урчал и чуть не до смерти напугал бабку, но не выдержал — засмеялся, тут бабка отошла от испуга и скараулила баловника; Клуновы-то, соседи, не сердились — за дело драла, у детей почтение всем миром насаждать надо.

А вот теперь и нет Сергуни...

Целый день над избой рвался бабкин голос:

...О-ох! Я бы знала, горемычная,

Где лежит да мое дитятко...

О-о! Я ходила бы частешенько

На кругу гору высокую-ую...

Песня не должна была еще кончиться, голос еще над избой польхал, а уж тихим-тихо вдруг стало. Люди, что во дворе собрались, будто перед выносом покойного, песней оглушенные, тишиной такой вовсе содрогнулись, оторопели. Потом — вой хриплый, нелюдской: то дед опомнился, холод бабкин в руках почувал, нежилой она к деду приклонилась. Он всегда с бабкой ходил, где бы она ни пела. А в этот раз не выдержала бабка напряги собственной песни, задохнулась... насовсем умолкла. Вот куда война сразу достала, считай, от нее и бабка за Сергуней ушла. Деда еле оторвали от холма свежего, только не жилец он уже был, неделю продержался и угас тихонько, никого не обременя. Рядом с бабкой его Вася уложил в землю...

Ушел Василий на фронт сразу после смерти деда. «Не могу я больше, здоровее ведь других молодых. Ты уж прости меня...» Татьяна не держала, хоть восьмой раз на сносках была. Ему и так тяжело там думать-тревожиться о них будет. Только прижалась животом к нему напоследок: «Целы будем... ты-то поскорее вертайся!..»

В лето сорок четвертого пела Татьяна...

Весело пела: зима прошла, теперь жить легче станет, пережили зиму. Пела потому, что Белоруссию освободили. Далеко это от них, а все земля своя. Значит, скоро теперь уже войне конец. Пела потому еще, что вчера только получила от мужа письмо.

Когда опять постучал почтарь, она младшую Василису умывала от грязи. Весело мыла дочку, с детской песенкой весенней. Последней была Василиса, без мужа называла.

Похоронку принес почтальон.

Тогда и спела Татьяна свою последнюю песню, бабкину песню, запомнила она песни бабкины. Пусто и холодно стало в мире, и в сердце пусто да гулко стало, ничего не видела Татьяна — только Василий колыхался перед ней, будто сквозь туман прорывался. Не мертвый: он снова брал ее на руки, раскачивал ее, миловал и смеялся, и гладил живот... который уже никогда не станет круглым.

Она не помнила, как начала повторять бабкины слова, как рвали они ее и рвались из нее. Своего голоса она не слышала, а песня уходила... куда?., где он?..

...Дух мой, научи ты меня,  
ка-ак дом-то домить,  
Да и деток-то подымать!..

Она не помнила, когда соседи разобрали перепуганных детей, не видела, как бросались бабы, придавленные песней и собственным горем, на землю:

...со-овсем... совсе-ем ушел...  
у-ше-ол...

О-о-о-ой... да со-овсем...

Непонятно, как и откуда подошел сын к Татьяне. Подошел и ткнулся лицом в руку, добрым кутенком ткнулся. Тогда прорвались, наконец, слезы из сухих глаз, притупили, обессилили горе. А Коленька не отходил от нее, молчал и лежал рядом. И надо было дальше жить, детьми жить, без мужика на земле трудно это, да ведь руки на то и даны — работой их не напугаешь... Пенсии Татьяна не хлопотала, не за тем Василий уходил. О пенсии ее возвестил военком, сам все оформил. Не бог весть как велика солдатская пенсия, а все ж подспорье — умеючи-то.

Вырастали дочери. Уходили они — для того и рбстила, чтобы тоже детей рожали да дом вели. Все разошлись: красивые девки и к работе приучены. Одна Василиса — мала, да и легче ей уже досталось жить: в техникум уехала... потом уехала. И Коленька рос.

Пошел сын в отца. Добрым был — это само собой. А однажды протянул матери кусок картона, на картоне том — Василий... как живой, похож. Совсем молодой еще, однажды и снимались они: шрам у него в то время не затянулся, щепка ему бровь со щекой рассекла, на доме, что Агафоновым ставил... А здесь фотограф возьми да приедь.

Татьяну захлестнула старая боль. И благодарность сыну — за память да за боль эту, в которой еще раз прожитое пережить удалось. И радость — таланности сыновой. Хоть и не понимала она, в чем на этом рисунке отличие от давней фотографии, а все ж почувствовала, что чего-то своего добавил сын, живее, что ли, прости ты меня, Господи, стал здесь Василий, а сквозь него и Коля проглянул. У времени да и судьбы свои законы: эвон через сколько Василий-то повторился... тот же, а и другой.

А в то утро проснулся Коленька не в себе. Ломало его тело растущее, неловко да больно выросел сын: на шестнадцатый год потянуло, совсем стеснительный стал. «Не могу, мам, идти что-то, голову кружит...» — пожаловался. Он тем летом у геологов подрабатывал, дырили они землю рядом с селом, а ему съездить в Москву хотелось, посмотреть мир кому не хочется, это с возрастом понимаешь, что мир разный, но ты-то всегда един, везде, сколь не ездил. Отправила его — люди ведь работу ему дали, ждуть, ловко ль не прийти. Не болезнь ведь — усы пробивались, то зрелость его ломала. Отправила.

Сама за хлебом да на базар уехала, оказия шла с грузом, напросилась помогать. Там и яблоки увидела, мало их в северной стороне, кто их в глухомань повезет, Коленька давно пару яблок просил — срисовать хотел живые, вот почему-то наваждение такое, как во сне ему привиделось: большое такое яблоко да яркое, а рядом ветка еловая, густая, а за ними окошко с узорочьем морозным...

Это ему так виделось, а Васена бы съела те яблоки... Ох, и дерут же за яблоки на рынке, но выбрала. А затемно и воротилась, порадовать хотела — уж таких красных купила, и крепких — с хороший кулак мужичий. Дома сына не было. Опять, решила, заслушался там у костра, слушать он любил, а геологи все люди новые, бывалые да хожалые, как не понять ей интерес сына. Но всегда тревожно матери, когда сын не с ней...

Как в окно стукнули — оборвалось сердце, горячим пошло внутри, хоть и неоткуда худа ждать вроде. Чужой был стук, да беду не зовут — сама приходит.

... Не уберегла-а-а-... сына-а... сына-то не-е...

Василий то в ней крикнул. Сама — и кричать не могла. И слез не было. Все три ночи, что возле тела сыновнего лежала, не было слез; и горе не болело — пустая пустота вокруг и в ней только и заполонила все.

А он, Коленька-то мой, лежал без проклятия на лице, тонкое лицо-то стало и спо-окойное, словно пришел куда. И не признаешь, что разбился с вышки: ни кровиночки не вышло, стряхнул, говорили, что-то в себе. Ее, Татьяну, он стряхнул...

— ...А, хозяйка? Задумались о чем? Спасибо за хлеб-соль, за яблоки ваши. Я все ж заплачу за них, хорошо?

... ?

— Ну, ладно-хорошо, не обижайтесь! Ребятам отнесу — порадуются, здесь — яблоки! А тихо ж вы живете, как можно: ничего вокруг не происходит никогда, так и говорить разучиться можно. От скуки одуреешь! — топограф встал, сладко напряг мускулы, взял рюкзак. — Пойду.

— Земля здесь, когда ж скучать? Живем... — тихо сказала женщина. — Возьми еще яблок, ты ведь геолог, чай? И до тебя геологи работали здесь... такие же нарядные...

— Да, мы старыми профилями идем. Пора мне, топтать еще... спасибо...

... Уходил топограф деревней. За глухими заборами настороженно хрипели собаки. На повороте он оглянулся. Солнце уже клонилось к закату. Сад был виден отовсюду. К саду бежали какие-то ребятишки.

Только сейчас ощутил, почему остановился именно перед этим домом, не мог не остановиться, понял, чем

привлекал и выделялся дом, перед которым так неожиданно росли яблоки. У дома не было забора. «Ишь ты, наря-ядный!» — словно пропелось ему, и топограф ходко зашагал дальше.

«Берите, сколь надоть берите!»

«Берите».

«Берите...»

### *По первому снегу*

В столетие ли так бывает или в полвека раз, но только декабрь в том году распознать можно было только по календарю. До Полярного круга рукой подать — каких-то триста с небольшим километров — а снег еще не выпадал. Деревья давно почернели, обнажив мшистые, изуродованные наростами стволы. Ночью они, словно стыдясь своего уродства, одевались в лакированную шкуру льда.

Солнце беспомощно кружило где-то над самым горизонтом и никак не могло пробиться сквозь слякоть низких туч. Зайцы не могли найти места для лежки: уже одетые в белое комочки были доступны любому глазу. Медведь выбирался из подплывшей берлоги, слеп от жажды сновидений и неутоленной ярости. И грозил остаться шатуном.

А зима словно застряла в расползшихся дорогах.

... Пять человек продирались сквозь густой сушняк. Пять фигур в одинаково задубелых брезентовых плащах ступали след в след, изредка единообразным взмахом свободной руки поправляя съехавшие на глаза капюшоны. Один спальный мешок на двоих, четырехместная палатка — на всех. Время от времени идущий впереди застревал среди тощих стволов, цеплялась за ветки привязанная поперек рюкзака тренога. Лес был худосочный, но густой. Люди ослабели.

Неожиданно кочка под ногой ведущего вертанулась, мигнув красной брусничной гроздью, и открыла «форточку», неглубокую: человек провалился по пояс и, соскользнув, опрокинулся на спину во взбаламученную мутную воду.

Другой, резко сбросив с себя мешок и рюкзак, бросился на помощь. Черпая сапогами холодную жижу, отце-

пил на упавшем треногу, в двое других помогли тому подняться.

— Давай руку, Виктор, а то, как мышшь, намокнешь, — предложили второму, уже также втянутому в трясину до пояса. Разметавшиеся полы плаща и в самом деле были похожи на крылья большой летучей мыши.

— Сам вылезу, — он медленно, боком выполз из ловушки и поднялся на ноги. — Говорили же тебе, — слова были обращены к «первопроходцу», и голос Виктора сорвался: — Говорили ж... не лезь вперед! Мужики есть, Ефимыч вон... так нет: «мне легче, рюкзак пустой»... зато сапоги теперь полные! — и, уже оглядываясь и стесняясь своего выказанного волнения, присел и стал расстегивать рюкзак, — Перемотай хоть пока портянки.

— Тебя никто не просил о такой трогательной заботе! Провалилась и провалилась, как любой бы, — голос был глуховатый, низкий, но женский. Откинутый капюшон открыл привздернутый нос над капризно искривленными губами, чуть скуластое лицо. На глаза упали влажные пряди темных волос. — И вообще — хватит гонки, все равно не успеем, — тряхнув головой, она повернулась решительно и пошла назад и влево.

Там на небольшом пригорке росла ель — единственное живое пятно среди сухостоя.

Виктор, поймав сочувственные взгляды остальных отрядников, сунул портянки обратно, вскинул рюкзак, взял в одну руку штатив, в другую рюкзак девушки. Зашагал вослед, остальные, не торопясь, потянулись за ним.

Это была бригада геофизического отряда комплексной геологической экспедиции из Ленинграда. «Из Питера», — упрямо поправляла Галка, выросшая на Староневском.

Две недели «добивали» они самый паршивый участок, пользуясь неожиданной задержкой зимы. Две недели, все дальше удаляясь от лагеря, сушили телами волглые спальники. Две недели через каждые сто метров втыкали в чавкающую землю штанги заземления. Галка брала с прибора замер сопротивления, коротко передавала его Виктору, который подсчитывал на логарифмической линейке данные очередной точки. Наносил на мятую миллиметровку, вычерчивая график профиля. По-



том переходили дальше. Работали, пока видна была стрелка на приборе. Сейчас стало все же легче, чем летом и осенью: комары и гнус отошли.

Галка — начальник, оператор. Виктор — вычислитель. Они ленинградцы. «Питерцы!» — не преминет поправить Галка. И они самые молодые в бригаде. Впрочем, и во всем их геофизическом отряде. Остальные трое бригадников, нанятые на сезон здесь, в Коми республике, — «вольные старатели», Аркадий, Володя и Ефимыч. Эти могли бы и не пойти в последний маршрут, тогда бы его отставили вовсе до будущего года, разумеется, с выговором и без премиальных Галке с Виктором. Но за семь месяцев полевого сезона все сжились, притерпелись друг к другу, так что никто не стал «отрываться от опшывства» — как шепелявил многословный Ефимыч. Он-то лучше всех ориентировался в здешних местах без всяких карт и компасов, так что был нештатным проводником. Потому что он, Ефимыч, охотник. И живет в основном охотой да рыбалкой — с тех самых пор, как привезли его с родителями и еще шестерыми братьями-сестрами помладше откуда-то с Тамбовщины в тридцатые годы.

Да и — «где такую деньгу надурняка зашибешь», если не у геологов. То, что работа и не легкая, и подразумевает множество неудобств, а иногда и лишений — здесь, на Севере, в счет не идет. А «деньга» та ох как нужна: зима все равно придет, и Ефимычу нужны порох, дробь и спирт. Последним Ефимыч лечит радикулит — «изнутри».

Аркадий и Володя — братья. Так они сами себя определяют, хотя матери у них разные, да и отцы тоже. Но они в самом деле братья, даже, пожалуй, ближе: побратимы. Аркадий вытащил Володю из-под разошедшихся бревен плота в весеннем половодье. Потом вскоре так случилось, что Володя вернул «должок»: после ссоры в бараке пятеро забивали Аркадия ногами. И не вспомни Володя ушедший в прошлое ринг — он лишился бы друга и не имел бы брата. С тех пор они неразлучны.

Виктору приходится спать в одном мешке с Ефимычем. Но Ефимыч чистоплотен, и от него вовсе старостью не пахнет, как ожидалось, а лесом и свежеструганой стружкой. Тот мешок, что носит Виктор вдобавок к своему без-

размерному рюкзаку, — Галкин. В Галкин же мешок, когда большие переходы, заворачивается и прибор, который, собственно, их и кормит, и приемник «Турист», который быстро разряжается. Батарейки где-то все лето доставал Ефимыч: «по дружбе», — объясняет он, щелкая обугленным ногтем по кадыку.

— ... Не поспеем, — соответственно, подтверждает сам себя Ефимыч под елью, старательно обтирая ружье. Он задирает серый подбородок к небу: — За шесть, поди, а верст пятнадцать с гаком еще до лагеря-то...

— А «как»? — Виктор роется в рюкзаке, достает брюки и носки. — И лучше в километрах, а то твои версты уж больно немеряны!

— Ну, километров шесть накинь да болото добавь... Ты спирту сразу хлебни, остуда привяжется.

Аркадий с Виктором ушли рубить сушняк.

Галка присела на тугой рулон спальника.

— Не могу я больше, Витя. Устала. Даже переодеться не хочется...

— А ты не вставай, — Виктор поднимает ее вместе с мешком и, жвакая набухшими сапогами, несет под ель.

— Что я делала бы без тебя, — она обхватывает руками его шею, прижимается щекой к его уху. — Измучился со мной?

— ...

— Ты ему мигни, он и до лагеря потащит... пока не свалится. Испортил совсем бабенку: «Витя — принеси, Витя — повесь, Витя — то, Витя — се». Тьфу! Нет чтобы приветить парня, так и рычит... ти-игра! — Ефимыч, бормоча, разворачивает палатку. — Соответственно, что ель попалась, стлано будет — все не на земле лежать.

Зашипел костер. Огня не видно — один дым. Но становится вроде как уютнее. Галке не хочется отодвигаться, хоть дым заслезил глаза. Она угрелась, сидя в спальном мешке, по телу плывет истома. Только в сердце будто дыру кто проковырял — пустым-пусто в нем от усталости и тоски.

..А дома сегодня елка гореть будет. На Невском сейчас народу... все спешат... веселые...

Виктор молча ушел к болотцу за водой. Сбоку костра висят Галкины брюки и торчат на кольях сапоги.

— Ты вот осуждаешь меня, Ефимыч...

— Господь с тобой, дочка, мое дело стороннее. Скрутила ты парня, это верно. Молод вовсе, вот и мается, и молчит... и к портянкам-то твоим ластится, соответственно!

— Осуждаешь... А мне ведь хочется, чтобы он меня за плечи схватил да встряхнул бы... мне опереться хочется, а ему самому подпорка нужна.

— Встряхнуть-то ты надо бы... Ты сердцем-то, сердцем догляди. Его почему Аркадий с Володей любят, думала? По-твоему, когда те лагерные на круг тебя взять хотели, Аркашка к Викторовой спине за тебя ли с финарем встал? Он тоже мужик поди... Вот и рассуди, как баба, а не фифа.

...

Костер разгорелся.

Аркадий притащил еще две вязанки сучьев и толстый мшистый комель. Володя обрубил понизу у ели несколько ветвей, выложил из под расстеленный спальник. Они сели на него спина к спине, в ватниках, укрыв ноги плащами, — побратимы.

— Разулся бы, Витек, хватит хлюпать, — сказал Аркадий.

Виктор промолчал и стал прилаживать над костром котелок с водой.

— Вить, залазь тоже в мешок... иди сюда! Ефимыч за чаем посмотрит, — Галка протянула к нему руку.

...— Вот так, положи голову сюда, мне теплее будет. Не холодно? — Галка сняла с него шапку, притянула голову к себе на грудь и провела ладонью по волосам парня.

— Галка... Галя, я... ты знаешь...

— А зарос-то как! Прилетим и сразу в парикмахерскую, да? Вместе?

...

— Я сейчас бы тоже куда-нибудь в город. Большой, чтобы огней побольше... — сказал Аркадий негромко.

— Не надо, Аркаша, — сказал Володя.

— Да я ничего. А только двенадцатый год здесь... встречаю. И не ушло: горожанин я до пяток, и тебя вот держу здесь, — Аркадий неловко улыбается, трет заросший подбо-

родок и виновато оглядывается на остальных, Впрочем, его никто, кроме Володи не слышит.

— Брось, вместе уедем, год всего остается, — сказал Володя.

Виктор включил приемник. «Московское время двадцать один час. Передаем предновогоднюю программу...»

— Ну и бог с ним, с их Новым годом. А мы здесь вот его встретим, правда, мальчики? И не хуже...

— Везде человек живет. И празднует — для себя. Дед, у тебя там есть — «соответственно»?!

— Ему баба Лена баклажку сунула на дорогу, я видел.

— А на сугрев! И где я этим редуклитом разжился, не упомнишь. Дома-то старая загонит на печь и ну медвежьим салом тереть. Песок горячий прикладывает. Я ей доказательство объявляю, что изнутри болит — так не дает ведь достаточно: буйный я очень делаюсь, сердцем, грит, могу остановиться!

— Отметим, Ефимыч, миленький! У меня первый такой сезон, до января дотянули — всегда с ноября на камералке. Сидишь себе на Сенной, на обед в кафушку сбегаеть...

— У меня спирту чуть осталось, — Виктор тянется к рюкзаку, фляжка булькает.

У костра стало жарко, лицо обжигает. В котелке закипела вода. Ефимыч добавил к чаю побурелые листья брусничника — вкуснее и запашистей. Совсем стемнело. Из приемника чуть слышна скрипка, а по спинам дрожь — приморозило.

— Когда школу кончил, не знал, за что схватиться. То поступал, то не интересно... Разве не нашел? Все есть здесь: и лес, и мошка, и костер, и парни... все, — Виктор растер щеку, потом завозился с приемником.

Перекрывая треск, выплыл напев.

— Оставь здесь, оставь-эх, — Аркадий закашлялся.

— Полонез, — шепнула Галка.

— Вот, говорят, приедается, — сказал Аркадий. — А я бы все время слушал. С родиной человек прощался. С улицы своей, с голубями, с распивочной, что за углом была...

Галка сама отвинтила у фляги крышку.

— Что ж, с Богом...

— Поехали...

— У-ух-х!.. Ай да баба Лена, хор-рош!

Банка с тушенкой пошла по рукам. Ефимыч порылся в своем мешке, развернул тряпицу, стал резать сало. Молчали. Каждый о своем.

— Витя, иди поближе, — шепнула Галка, — я тебе все расскажу, хочешь? Молчи... Положи голову... вот так... вот здесь у меня была шнуровка — мама сшила костюм неаполитанки. На бал. Слышишь, как сердце... Пять лет назад... волосы у меня тогда были длинные, полумаска. Весело было, вина в первый раз попробовала... Ты ведь тогда же школу заканчивал, помнишь этот восторг щенячий...

...— Я в прошлое рождество шатуна такого здорового взял — на сёмый пуд валил! Да себе на грех, паря: старуха до весны мне с Динкой ту медвежатину скармливала...

... — Он пригласил меня. Вальс. Все кружилось: и елка, и шар под потолком, и лица. Только его лицо было недвижно, вот словно застыл в глазах, даже когда закроешь... Ему уже тридцать, и он только вернулся с Камчатки. Жена его, врач, дежурила. Весной он должен был уехать снова, теперь уже на Алтай. Господи, как влекла меня эта дорога, повидать... после выпускных я поступать не стала, уехала... с ним уехала...

...— А на выпивку я николи не грешил. Да бабы народ все такой вредный: с удачи как не разговеть! А она, бурава старая, на меня с ухватом! И Динка, на что животное, духу не стерпит медвяного, обиду выказывает и морду воротит!..

...— Год мы не виделись, Витя. И не хочу больше... жена ему родила, не я... Он был моим учителем... во всем... все сезоны полевые. Сейчас в управлении сидит, дома. А техникум я попутно закончила, почти экстерном... А жизнь эта... в городе мы бы с тобой и не встретились, правда? Новый год — он ведь придет, Витя? И ты не злишься на меня, да...

— Я, Гала... ты ведь знаешь...

— Скажи... нет — молчи...

— И хорошо, и ладненько! И спиртик разольем, соответственно, — Ефимыч уже «упредил» лишнюю и теперь старательно отмеривал в свою кружку, призывая остальных «присоединяться».

— А я вот что думаю, — Володя встал, разлил себе и Аркадию остатки. — Мы еще год здесь будем, так вы весной приедете — найдите нас, снова вместе пойдем...

— А и пойдем! — старик причмокнул, довольный, что все «ладненько», и хитро взглянул на Галку с Виктором. Они тоже подняли кружки.

— Чш-шш... Идет кой-то, чувствуете?

— Ты что, дед, уже «соответственно»? Кому здесь ходить — до отряда полтора десятка верст, а деревня и вовсе не близко.

— Говорю — идет, — Ефимыч понизил голос. — Человек. Со светляком, вон, видишь?

...

... — Э-эй, у костра! Из отряда Евгения Петровича будете? — голос густой, уверенный. И никому, кажется, незнакомый. Фонарик мелькнул ближе, из-под ног идущего был слышен тонкий шепот стекленеющей от мороза травы.

— Галина здесь?

Галка напряглась, Виктор ощутил, как она даже дыхание притушила, будто при игре в «жмурки», когда «ловец» проходит рядом...

Он вглядывался в приближающуюся фигуру. Аркадий бросил в низкий огонь что-то вроде веника. Пламя поднялось.

— А я вот прилетел два дня назад. Партию помочь свернуть. Не зимовать ли собрались?

Щеголеватый полушубок вошедшего в круг света мужчины был перехвачен широким ремнем с охотничьим ножом в кожаных ножнах. На длинных ногах — новые сапоги с ремешками в подъеме и под коленями. Непонятно, как он умудрился сохранить их чистыми за такую дорогу, да еще и потемну. Армейский карабин казался игрушечным за широкими плечами. Игрушечной же неожиданно казалась голова: несоразмерно маленькая под лохматой, сдвинутой на затылок шапкой. Только это была если и игрушка, то очень хищная игрушка — с тонким прямым носом, резкими костяными губами и уверенными розовыми щеками. Серые глаза оставались холодно-мертвенные, даже когда губы изображали улыбку.

— В отряде все упаковано. И машины ждут, — он обращался только к Галке. — Спецом у шефа напросился сюда. Ждал-ждал, да и пошел встречать. Я ведь старый ходок, где угодно найду! Евгению вашему накачал уже, чтобы знал, как засылать тебя в такую глухомань! До первого вашего профиля дошел, он здесь рядом...

— Леонид Севастьянович... Леонид... Мы...

— С Новым годом, Люша! И всех присутствующих тоже! На природе решили встретить? У меня здесь с собой... медицинский! — Леонид Севастьянович прислонил к палатке винтовку. — Мы сейчас с Галиной пойдем. А вы до утра еще порезвитесь.

Он уже заметил или ощутил ее колебание, но сказал еще тверже, нажимая на каждое слово:

— Пойдешь, Люша! Так вы ее вещи донесите: нас «газик» в лагере ждет. К утру на самолет успеть должны. Остальные поездом.

— Эх... накаркал, старый хрен, — Ефимыч в сердцах стукнул кружкой по колену, — «ладненько-ядненько», чтоб тебе разьябленько!

Галка встает, с трудом тянет за голенище влажный еще внутри сапог. Виктор, сидя рядом, тщетно пытается поймать ее взгляд. Аркадий, сдавливая плечо Володи, смотрит на нежданного гостя, словно что-то силясь припомнить или вспоминая.

— Леонид, понимаешь... мы с ребятами почти год вместе... они меня... — она говорит, словно собираясь с силами. — Не могу я без них уйти!

— Это все прекрасно. Но ты свое отработала, да и им — деньги получают, вот и все воспоминание. Заработали хорошо, я ведомости смотрел... Но нам пора, — Леонид Севастьянович встречается с напряженным взглядом Аркадия.

— А тебя, как я понимаю, уполномоченный ждет. Беспokoился, что давно на отметке не был, да мы объяснили.

Он давил всех своей уверенностью, ростом, щеголеватостью и выказываемыми возможностями. Давил начальствующим покровительством. Казалось, это распространялось даже на Галку.

— Мы ведь с тобой встречались, братец, вспоминаешь? Тебе больше, думаю, добавок в сроке не нужно, — он все

еще смотрит на Аркадия. И — давит. — Шухера-опять-не-будет-ребятки.

— С-сука... — выдыхает чуть слышно, отводя глаза и опускаясь на корточки, Аркадий.

Все поверили ему и напряженно молчат, а Леонид Севастьянович еще и улыбается почти дружески, почти понимающе. И эта скошенная улыбка унижала хуже слов.

Виктор молча зовет Галку, но ее взгляд ускользал. Зовет, с хрустом поднимаясь на ноги. «Я устала... устала, ничего не хочу», — бормочет она.

— Конечно. Так задержаться в поле. Одной — здесь, с этими...

— От вас устала она! Вы не поймете разве — от вас, — Виктор переступает с ноги на ногу.

Леонид Севастьянович перехватывает движение Виктора. Бьет точно. И равнодушно.

— Успокойся, мальчик, рано еще так страдать, — он кинул винтовку за плечо. — Тебе когда освободиться, домой собираешься, сосед? — вопрос для Аркадия звучит так же равнодушно, но и подленько.

Теперь уже Аркадий удерживал Володю.

Гость поворачивается ко всем спиной.

— Эге, — поднимает лицо к небу. — С новым снегом тебя, Люша! С первым, кажется, снегом? Так ты идешь? Поторопись, сейчас повалит — ничего видно не будет...

Кто-то сверху кинул вату.

Много ваты.

### *Седьмая вода*

*...Хороший парень — это не профессия,  
ты человеком будь!*

Из разговоров на палубе.

...НЕ ЗАДАЛСЯ у нас рейс с самого начала.

Уже потому не задался, что какой-то болван запланировал наш отход на пятницу. Конечно, это все предрассудки — какая там разница, в какой день выходить? Только лучше бы, раз уж все равно, на пятницу отход не планировали. Приметы не врут. Портнадзору что — лишь бы ско-



рее вытолкнуть по графику, сам-то он с берега нам помашет. А махать в пятницу ручкой — это тебе не в море на четыре месяца выйти!..

Ну, положим, и мы не дураки — в пятницу выходить. Вот тебе и предрассудок: в главном двигателе что-то забарахлило как раз в самый этот раз. Не пускается наш главный двигун, хоть механики бьются там, еще и цивильных костюмов сбросить не успев. Не пускается, хоть тресни, хоть мы сверху сочувствие выражаем и последние свои береговые капли отдаем — барахлит двигун и все тут! Заведется он ровно в двадцать четыре ноль-ноль, как только суббота начнется...

— Но важнее другое: не задался рейс в самом деле потому, что прежнего нашего капитана сменил в этом рейсе новый. И никто из команды о нем и слыхом не слыхивал... А с прежним, с Трофимычем, с Егоршиным мы несколько рейсов ходили на этом траулере, который у нас «Мерфой» называется. Добычливо ходили, себе позавидовать можно.

### Девушку из маленькой таверны Полюбил суровый капитан...

Это пел на палубе перед отходом бондарь Витька Сысоев, пел, перебирая струны гитары, играть на которой он не умел, но очень любил. Витька попал дневальным на отходе, и к вечеру его не сменили, потому что он холостой, а механики все равно должны были провожаться до полуночи. Так что никто из провожающих не уходил, а Витька сидел на задраенном и обтянутом брезентом трюме и пел про эту самую девушку с «глазами дикой серны», которую так полюбил...

— Вить, а нового кэпа как зовут?

Сысоев обычно все знал раньше других в силу певучести своего характера. Но тут даже он сплеховал: «А черт его знает, этого нового кэпа... И вообще, ребята говорили — он всю жизнь старпомом где-то ходил. Может, торгаш? Наш-то Трофимыч умел рыбачить! Чует мое сердце, не будет с этим старпомом удачи... черт его фамилию знает...»

— Скребцов моя фамилия. Валентин Степанович Скребцов, — раздался голос рядом с нами, и новый капитан

выступил из тени рубки, откуда-то прямо из лебедки, что ли, он выступил. Черт из табакерки...

Так себе был кэп, хорошо пожилой и ничего приметного, кроме разве формы: все галуны положенные сверкают. А ведь только вчера, небось, назначение получил! Посмотрим, конечно, только не будет из него хорошего рыбака, чего бы иначе он в старпомах так долго сидел?..

### Девушку с глазами дикой серны

#### И улыбкой сквозь морской туман...

— Вы почему, матрос, поете? На вахте — с гитарой?! Работы на отходе мало? Вот тряпка какая-то на палубе, а вы... поете!

Ну точно, старпом он закоренелый, заавралит он нас, если рыбы не будет. А откуда ей взяться у такого... Трофимыч-то подобных вояк и близко к судну не подпускал, хоть и драл с нас три шкуры в работе...

— Я не матрос. Я — бондарь! Может, мне сойти прикажете? На берегу попеть? — Витька Сысоев за словом в карман не лазил, и цену себе знал — таких бондарей поискать было на флоте. Молоток у него смычком летал, не то что струны его гитары однотонной. Его на любое судно с руками оторвут.

Новый капитан, Скребцов этот В. С., молча повернулся и ушел в корму. Его что, никто не провожал? Нет, на задался у нас рейс с самого начала, что говорить...

Была середина мая. Погода в это время неустойчивая: капризная, как девка на выданье, — весна. А волна на Балтике неприятная — крутая, резкая, все в тебе выворачивает; зато сразу переболеешь, все береговые напасти заодно из тебя выкрутит. А до промысла еще несколько суток, у всех есть время от берега отдохнуть, в ритм войти.

Это ерунда, когда кто-то хлещется: я, мол, такой просоленный, для меня, мол, никакой болезни не существует! Заливает этот «волк». Потому что нет такого моряка, которого море не бьет, не пробует «на зубок» — по-разному, конечно. Словно сразу предупреждает: все игрушки-бирюльки на берегу остались, здесь шуточки лучше не шутить, мол!

Одного несколько часов поколотит, потошнит его малость или настроение сядет от вялости, на кисло-сладкое потянет, как женщину в положении интересном на первых месяцах. Да благо кадка с капустой квашеной в начале рейса всегда на виду стоит, всем хватит. Другого на несколько дней и в койку уложит, на палубу потянет — рыб покормить. Тоже ничего страшного, себя перевозмочь в какой-то момент надо и сиднем-бездельем не сидеть, пройдет. Третьего так измочалит, что шабаш — наплавался. Не принимает его море, хоть с детства камушки по воде плескал на загляденье. И пересаживают горемыку на первый, попутный тралец: прощай -моря к- при вет- пешеход...

А море бьет всех, и того, кто десять лет ходит, и кто вчера на палубу ступил, и кто только три недели после рейса на берегу отдохнул — всех предупреждает море, чтобы не задавался шибко. И помнил — здесь законы жесткие, и перед стихией все равны. Да у нас команда уже подобранная и без выпендрежа дело свое знаем, как и место.

Середина мая шла, весна. В проливах Зунд, Каттегат, Скагеррак заблудились туманы. И наша «Мерефа» на ощупь, под гудки и бой колокола-рынды, медленно пробиралась к Северному морю. Рында — это, конечно, больше для традиции и красоты, но иногда траулер только бок о бок расходился с каким-нибудь неизвестным судном, так что лишь колокол и напоминал о жизни в этом тумане.

А на выходе в Северное море нас встретило солнце, штиль, хороший прогноз на дальнейшую погоду. И плохой — на рыбу. Но мы-то как раз за рыбой сюда и шли, впереди три с лишком месяца — их работать надо, загорать мы и дома можем, как и рыбалить с удочкой на бережку. Флагман сообщил, что весь флот недалеко, на границе Северного моря с Норвежским, большинство в пролове, но лучшего нигде нет. Здесь, мол, и будем, дальше не ходить — дальше разведчики бегают.

Все, что флагман кэпу передавал, мы узнавали от маркони-радиста, он нам все новости доводил. Даром что он капитанский радист — вместе они пришли, а парень отличный оказался. «Оказался», потому что за разочарованием в новом капитане мы не сразу и заметили еще одного новенького. У всех радистов в море одно имя, это он на

берегу Петр, Спиридон, или там Эдик, в море же все — маркони.

«Капитанским» наш новый маркони даже дважды оказался, он сам и рассказал: и ходил с ним, Скребцовым, раньше, когда тот в старпомах был, и родственники они какие-то. Родичей, известно, не выбирают, только ему можно было поверить, что от этого еще больше придирок получается. А отказываться, мол, с ним снова идти — неудобно, вроде посочувствовал: «хоть один знакомый на новом месте нужен», как его кэп уговаривал. Да и молва о добрых заработках на «Мерефе» соблазнила. Так, дура, заработки-то те от Трофимыча...

Может, и перебрал маркони насчет лишней к себе требовательности, чтобы мы его сразу не отвели, но парнем он отличным оказался, компанейским, веселым. Ленивый — быстро проявилось, но маркони почти все такие, им это прощается, потому что они «одним ухом на земле стоят», а каждому охота радиogramму лишнюю отбить-получить. К тому же, при любой рыбе, при любом аврале не трогают их в работу: одна забота связь постоянная и безаварийная, руки у него, как у пианиста, всегда здоровые должны быть. Без связи в море никуда, пропадешь.

Зато, когда все на палубе вкалывают, когда уж и спины затекают и руки виснут под собственной тяжестью, как включит маркони радио на палубу, да такое что-нибудь забористое — сами руки задвигаются, хоть ты уже трижды по четыре на палубе отпахал. Такая их нужная работа — людей веселить, радовать и между собой соединять...

Так вот, не везло нам с самого начала, хоть маркони компанейский попался, хоть погода баловала, да и работать все хотели. Не везло. Новый капитан букой ходит, в кают-компании, где все обедаем и по вечерам киношку крутим, почти не показывается, попросил даже пока еду ему в каюту приносить. А голос его только вахтенные и слышали, когда курс давал, да еще бригадир с рыбмастером, когда тот их советоваться вызывал. Ишь — «на совет»!

Наш Трофимыч так иногда «посоветовать» мог кому-нибудь — аж уши трещали. Сам все знал наперед. А работать заставлял — жилы лопались, он же только поддавал с

крыла по первое число и смеялся: «После кассы отдохнете, бубны-козыри!». И в салоне язык почесать не последним был: свойский мужик, только ему не перечь лучше, даже если десятижды будь прав — спишет к чертовой бабушке, ищи после такого добычливого. Вообще-то, если честно, мы при нем немножко пиратами слыли, обижались на нас моряки-соседи: обмечем чужие порядки, нахрапом возьмем рыбу из-под носа, хоть тот и раньше сети вымечет. Наш-то: перекроет косяк, в наших сетях «шубу» рыбную валит, сосед же пустыря хлебает. Умел. И сходило.

Не задался рейс. Все одно к одному. Капитан молчком себе думает, с промысловиками все советуется, флот в пролове. А тут еще эхолот полетел, не пишет ничего, когда рыбу искать надо.

Вот и принялись бегать за мелкой рыбешкой по пеленгам разведки да товарищей по отряду. Сети, считай, вслепую сыпали. Их ведь утром, все одно — что полные, что пустые — тащить на борт приходится... И вроде все чин по чину начинали, когда первые сети выметывали: кок наш Николай испек огромный крендель из лучшей муки да с изюмом, сам бы ел, а он своими руками к началу вожака привязал — мол, чтобы сразу к Нептуну уважением нашим попал. И деньги все, какие у кого от берега остались, за борт под первую сеть побросали. Даже капитан новый, Скребцов В. С., усмехнувшись чему-то не очень весело, все карманы вывернул в море. Ан, нет — пустырь пришел...

Бухтеть мы потихоньку начали по кубрикам.

Маркони притих, его капитан, видно, насчет эхолота накрутил: у себя в рубке заперся, нас без новостей оставил. С эхолотом колдовал, а, может, спал — музыка там в рубке жужжала потихоньку, не унывал он. Но через несколько дней ведь запустил-таки эхолот!

И мы бегать принялись резвее, море винтом взбивать. Сутками бегали: то кругами, слышно только, как реверсы меняются — то малый, то средний, то стоп и назад. А то — как зарядим без остановки на самом полном, полсуток летим, только рулевые меняются, да анекдоты знакомые обсасываются... Кэп, правда, из рубки даже поесть не выходит. Носимся, забыли, когда и сети сыпали. Нас, конечно, кэп через боцмана красить что-то там заставлял, судно

мыть, а чего его мыть — и чешуйки рыбьей не сыщешь, да и не в порт же идем. Ну точно, старпом он закоренелый, этот Скребцов, куда ему с такой фамилией больше. Заавралит он нас водными да пожарными тревогами, хоть засохнет там у эхолота. Заавралит, а без рыбы — кому надо...

Потом вдруг, полночь — ни одного огонька вблизи, ни единого судна рядом не слышно — ударил звонок на выметку. Двигатель замолчал — в дрейф легли. Так, дрейфуя, и выметали сети. Да не сто-сто-двадцать — все равно наутро сто пятьдесят велел поставить. Хоть смех тот на нашем горбу скажется, но посмеемся над ним — днем. Теперь же хоть ночного подъема по шлюпочной тревоге не будет — он нам еще шлюпочной не устраивал!..

Не рассвело еще, а звонок задержался по кубрикам — ах, чтоб тебе... Чего он там еще придумал?! Одевались медленно, глаз не раскрывая: трещотка нас подняла, а разбудить не сумела. Шторма не ощущалось, как и вчера шла по морю длинная долгая волна — это было дыхание очень далекого шторма, но не сам шторм. Траулер медленно, сонно поднимало на пологий гребень протяжной волны, так же спокойно, будто осторожно, опускало. Неторопливо одеваясь, колебались — надевать ли робы резиновые, зюйдвестки. Или в ватниках достаточно выскочить да в сапоги налегке всунуться: отделаться и назад — в койки.

Только здесь бригадир влетает, очумелым голосом орет — буи, мол, притонули, шевелитесь, тра-та-тах! А буи притонули — выбирать сети надо срочно, если не хочешь весь порядок потерять: рыба в сетях и не малая, от малой рыбы не притонут.

Надо ж, повезло кэпу. Видно, случайно ночью косяк нагнало. Тут уж мы глаза продрали, заторопились: и портянки намотали, и робы натянули, и ножи шкерочные похватили — сколько ее ни будь, а резать придется, не зима. В первый раз за рейс, неужели пофартило? А рыба — это твой заработок, за романтикой на яхте ходить надо...

А рыба шла.

Сетка туго переваливалась через рол, свободные от вахты моряки уже начали резать рыбу. И погода — как на заказ. И чайки весело горланили над сетями, пророча еще большую рыбу. Чаек мы все любили, они сопровож-

дали нас, куда-то улетающая лишь к вечеру и рано утро появляясь снова, видимо, в надежде на легкую добычу. Кажется, мы даже узнавали среди них знакомых, во всяком случае сегодня их суматошные крики сулили удачу, и мы радовались этому гвалту, и бросали за борт перерезанных сетью селедок, и с удовольствием смотрели, как птицы гурьбой, подобной пчелиному рою, падали в воду — сегодня всем хватит! «Это как игроку, который впервые поставил — фарт открылся», — определил кто-то удачу кэпа.

В таком настроении нам не хватало лишь музыки, но маркони уже догадался и шарил в эфире. Эфирная разногласица, которую он — случайно ли, нарочно — дал на транслятор, так точно вплелась в возбужденные крики чаек, в шорох шпиля, наматывающего вожак, в потрескивание рола и стук ножей на разделочном столе — так точно вплелась в наш ритм эфирная разногласица, что хотелось обнять весь этот мир зеленой колышущейся воды и голубого неба, обнять даже нового капитана, Скребцова того Валентина Степановича, пусть он и случайно попал на эту рыбу.

А рыба шла. И лилась музыка. И некогда уже было прикурить. И все, даже «дед», пришли на палубу шкерить рыбу, хохотать старой шутке, отпущенной Витькой Сысоевым и давать темп резки. Хотя кто же угонится за тем же Витькой, бондарем нашим флагманским, или за нашим «Рыбкиным» Петровичем — они-то могли по сто пятьдесят голов в минуту резать, а потом бежать к своим бочкам, солить, забивать, откатывать... Никто за ними не успеет, а — стремятся, просто так стараются — из лихости и хорошего настроения. «Отец родной» Николай, кок наш то бишь, всех чаем обносит, почти в рот куски сует и не хочет на камбуз возвращаться, где ему в одиночестве обед готовить нужно. Даже у кэпа — везло б ему тысячу лет! — там, на крыле рубки, вроде лицо потеплело, или от солнца так кажется? А рыба все шла...

И всю наступившую ночь мы выбирали рыбу, останавливались и резали, и снова выбирали. И не обижались на подвалившую работу, хоть и тяжеленько то веселье доставалось: обедать и ужинать по очереди бегали. Но выбрали-таки все сети.

Забили трюма — семьдесят пять тонн за двое суток, еще и на палубе в брезенте тонны три недошкеренной рыбы оставалось, когда кэп через бригадира всех спать погнал. И то — большинство так, не раздеваясь, и упали... А тралец уже курс на базу взял. И кого там капитан покрепче нашел, чтобы у штурвала стоять?

Когда проснулись, к нам в кубрик маркони завернул. Новость удивительную принес, даже старик Петрович, рыбмастер, пришел послушать: капитан-то пеленг нашей рыбалки на весь флот передал, туда сейчас все суда бегут. Наш прежний кэп Трофимыч уж такое не отмочил бы — втихую сдал бы рыбу, да назад. Там второй груз, пока все расчухаются, наверняка взять бы можно... Н-да-а... С какого-такого богатства капитан уловом нашим разбрасывается?

— А что, — пожевал папиросу Петрович. — Может, его сермяжная правда здесь есть. Весь флот в прогаре... не куркуль...

Витька же Сысоев выгнал нас на палубу: терзать свою гитару принялся многозначительно — «повезло, мол...»

Такой рыбы в этом рейсе у нас больше не было. Но и пустыря тоже не таскали, три-пять тонн почти постоянно брали. И не надрывались, и без работы не сидели. Теперь уж на подвахту только желающие приходили, но кто же откажется рыбу пошкерить в компании, когда на палубе солнце, когда чайки горланят, когда через музыку байка проскальзывает, когда — настроение, кто же откажется?

И вот этот день.

День, в общем, как другие. Только усталости чуть больше, чуть желаннее отдых — груз снова добирали, к походу на базу дело шло.

Резали не торопясь, музыка плыла медленная, чайки примелькались, к солнцу приленились — по пояс голые трудимся, июнь начался... Правда, маркони передал, что шторма ждут в нашем районе, но сейчас не страшны и несколько днейков шторма: отдохнем чуть от рыбы, да пока к базе сходим, утихнет. Летние штормы — они недолгие. И вот этот день. Резали потихоньку, музыку маркони поймал медленную, чайки за рыбой у борта падали на воду неторопливо.



— Гля-ань-ка! — пропел Витька Сысоев.

Глянули: маркони с улыбкой на палубу вышел, что-то в руках держит. Ладный парень, свой. Тоже подышать захотел.

— Эксперимент! — говорит.

И подбрасывает в воздух чайку, как он ее поймал только? Или, бедолагу, на удочку? Но чайка та уже не белая и синевой снежной под солнцем и небом не отдает. Пестрая какая-то чайка, вся в красных, черных, зеленых до ядовитости пятнах и полосах, где он только краски добыл?..

— Во-он зачем ему краски понадобились... «По-немножку-у...» — протянул боцман.

А чайка, что маркони выпустил, — ее уж не потеряешь из виду — испуганно-недоверчиво пролетела в сторону, словно не веря обретенной свободе, почти скрылась. Но тут же и назад вернулась. Туда, где ее сородичи над рыбой переругивались. Тоже — за рыбой, или просто к своим, кого-то порадовать своим освобождением, кто ее узнает.

Только теперь не была она «своя»: сперва одна-другая, следом многие, а там уже и вся стая набросилась на пеструю чайку. Гомон недобрый, невеселый хрип они подняли, громкий и противный визг над траулером завихрился вместе с клубками птиц. И каждая стремится ударить разрисованную нашим маркони чайку. Лишь потому, что белых чаек оказалось много и они мешали друг другу, «эксперимент» не кончился сразу.

А она — пестрая птица-чайка — явно не понимала причины общей вспыхнувшей ненависти. Она металась от одной товарки к другой, может быть, среди них была и вовсе ей близкая, металась чайка, словно крича: «Да это же я!.. я! Почему вы не узнаете меня... За что?..» Или что там она еще кричала... кто узнает. Но «эксперимент» кончился, и пестрокрылая чайка пропала.

Маркони улыбался от уха до уха. Повеселил он нас славно.

Плыла медленная музыка, сверкало солнце на рыбьей чешуе, сверкали зубы маркони, блестело повсюду.

— Мда-а... — протянул Петрович, рыбмастер.

— Во-он зачем краска, — шевелил губами боцман.

— Да-а, экс-пе-ри-мент, — тихо и по складам выговорил Витька Сысоев, который ближе всех стоял к маркони и потому первым ударил весельчака.

Слабо ударил, тот не упал, только отлетел к лебедке и, схватившись за скулу, непонимающе уставился на нас.

Мы отвернулись — надо было работать дальше. Да и не стая же мы чаек, в самом деле.

Маркони ушел к себе. И щелчком прервалась музыка.

— Пойди к капитану, — сказал мне рыбмастер, распрямляя спину над бочкой, которую он только что откатил. — Пойди к капитану, будь они хоть десять раз родственники. Пусть эта гнида идет на палубу и занимается делом. И пусть капитан отправляет его первой оказией. А то, не приведи Бог, конечно, его с крыла первой волной смыть может... Так мы думаем, — Петрович обвел всех взглядом, он был самый старший на палубе, и он дольше всех ходил в море.

Я и сказал все это Скребцову В. С. Кроме волны, конечно, все сказал. «Работайте...» — сказал он. Еще сказал, чтобы Петрович к нему зашел: «Сысоев пока поработает за него».

Говорить с маркони мне было трудно: он не понимал. Но в волну, судя по лицу, поверил. И на палубу вышел, и шкерочный нож взял, который ему бондарь бросил.

Нигде маркони не трогают в работу на палубе, его работа — связь постоянная, у них на судне своя работа важная — людей радовать и меж собой соединять.

Этот к такой работе не подошел, профнепригодным оказался. Взял он нож шкерочный, резать рыбу принялся под тишину нашу. Кажется, даже чайки поумолкли. Но недолго резал — швырнул нож почти к ногам моим, убежал, зубами заскрипел.

А Петрович как раз от кэпа вернулся.

— Нормальный он человек, — сказал рыбмастер. — Поработаем еще. При мне дал радиограмму на базу о замене нашего... экспериментщика. Стучит сейчас свою отходную. Не повезло капитану, конечно... подолгу на берегу не бываем, что ж подделаешь. Сына вот и упустил... мм-да-а... рейс. А туда же — «седьмая вода»...

Лежит сейчас этот шкерочный нож у меня в столе. Не очень завидный нож, весь потемнелый, источенный частой правкой. Кажется, если его лизнуть — наверное, и сейчас почувствуешь горечь соли. И услышишь крик чаек, надо только закрыть глаза.

## Блажный и Сольвейг

Он был чудак — этот старик.

Впрочем, Верке в то время и отец-то казался почти стариком, а Семёна только к тридцати пяти приблизило. Годы же старика и взрослому непросто было определить: и сорок дай, и четыреста — все не ошибешься. Маленький, иссохший, выветренный какой-то. Будто насквозь до предела выветренный настолько, что и делать никому ветру больше нечего, хоть век еще дуй; уж его самого с земли сдунуть легче, нежели хоть крупицу какую с костей убрать. Но и цепкий, будто и немощь тоже навсегда выдуло.

Видно, так и занес его ветер лет десять назад в эту деревушку. Занес, да и оставил такого — неизменяемого, на взгляд вроде и хрупкого, но твердого, — среди обычных людей, живущих тут испокон.

По этой своей неизменности, да еще и малообщительное™ был старик здесь всем чужой. Нет, очень даже и небесполезный, а все — чужой. И все десять лет так и прожил, словно только объявился. Кажется, даже шапка на нем все та же оставалась: с заложенными за отворот ушами, никогда не опускаемыми, не завязывающимися, торчащими тупыми своими половинками над висками. Шапка эта, лохматая и нездешняя, из какого-то серо-коричневого меха — уж не собаки ли? — скрывала лоб старика, под тенью ее надежно прятались глаза. Светлые, внимательные и очень даже несерьезные глаза, у здешних детей, если приглядеться, глаза были много серьезнее.

И сколько ни встречали его за десять лет, хоть и работы немало по округе сделал, а думалось и нынче как в первый день: вошел странник вчера в Починки, да и уйдет поутру, отбиваясь от пыльных ленивых собак, лаять которым здесь больше и не на кого...

Но псы не облаивали старика и десять лет назад.

Верке ж в ту пору пошел восьмой год. И она тоже не испугалась старика, когда он попросил воды. Быстренько вынесла ковшик, да еще и объяснила, почему отец не на работе и так громко ругается в доме.

...В доме у Семена Починкова, называемого Лохматым, произошел в печи обвал. А печник из соседней деревни, за семь верст от Починок, уж с месяц как помер от заворота кишок. Печь худо стала тянуть еще прошедшей зимой, и Семен все собирался позвать мастера, да вот поди ж ты — дождался...

Было еще сухо на дворе, но деревья уже успокаивались под редкой желтой листвой, готовясь к зиме. А по утрам жестко коробилась под ногами земля, подернутая инеем первых пробных изморозков.

Вот в этот-то день, когда Лохматый костерил кишки помершего не к делу печника, сговориться за лето с которым все было недосуг, а самого Семена радостно костерила жена, — здесь и случился непонятно откуда приبلудившийся к деревне старик. Даже Полкан Семенов не взляял. ни разу, хоть и зол был и обижен — пнул-таки его Семен всердцах с утра, а ни разу не взляял, не зарычал даже на чужого пришлого человека в истоптанных порыжелых яловых сапогах с тяжелыми тупыми носами.

Пришлый старик попил принесенной Веркой воды; веселыми глазами заставил босоногую девчонку улыбнуться и встряхнуть густыми пепельными волосами, сразу закрывшими чуть скуластенькое лицо с проступающими на щеках сквозь загар и заветрие конопушками; почесал у обнюхивающего сапога Полкана за ухом; сноровисто переложил печь. И купил у Лохматого старую баню, осевшую в конце огорода на бугре, что опадал в пологий овражек — там на дне маслянисто чернела медленная речушка.

Потом Семен все пытался припомнить разговор с прохожим. И не мог. Работу его — ту запомнил, за такую работу кого хочешь зауважашь, красивая и сноровистая работа, нечего сказать. Чистая и спорная работа всегда глазу приятна и удивительна. Разговора ж — будто и не было...

А ведь, должно, сговаривались же, не просто так — пристроился прохожий, хоть баню ту давно Семен на дрова перевести собирался; а все чужого человека без слов кто поселит, пусть и за деньги... Деньги-то, прямо сказать, пустяковые — хоть и тех ста рублей, про которые брякнул Лохматый на авось, старая рублснка тоже не стоила: по их выморочным деревенькам и добрый сруб больше пятисот

теперь не тянул. Но человек улыбнулся и выложил десять красных новых бумажек, таких свежих денег Семен и не держал никогда, он помнит, как стало ему неловко и он показал покупателю еще дровяник, предложив пользоваться сваленными там остатками дранья, сколом кирпича — всем, что попадет под руку и сможет пригодиться.

Баня была старая, черная, но большая, и бревна прочно слежались в срубе, только крыша кое-где осела под толстым слоем глинистой земли — видно, горбыль под ней прогнил все-таки. Натопить ее стоило хороших дров; поэтому Семен и поставил недалеко от дома баньку поаккуратнее, где в предбаннике на скамье могли уместиться только два человека, присесть да раздеться или охолонуть после жара — им больше и не требовалось, зато нагревалась каменка чуть не от лучины. Старая ж баня дожила бы свое да завалилась бы, а там и на дрова ушла б, Семен уж и приглядывался — не раскатать ли к зиме.

Да все подладилось одно к одному; в печи обвал, жены Семеновы ругань и подоспевшие ко времени ловкие руки прохожего да чудаческая блажь его. Просто жить было бы так-то: понравился бугор с речкой — здесь и поселюсь, хоть в бане... Да не всем так легко живется, чтобы хотенье левой ноги улаживать. И умирать — разве все одно где? Нет, не дело это... Впрочем, мысли эти сложились у Лохматого не сразу, не в один день, а может даже слишком поздно, когда и поправить ничего уже нельзя. Живем уж...

Верка же увязалась за Стариком, когда тот ходил по деревушке, спускался в овраг, пил из речки, смешно зачерпывая воду сложенными в ковшик ладонями, ходил в осинник и бездельно разгребал палкой палую листву, подолгу сидел на пеньке — курил и подмаргивал Верке на выколачивающего что-то из-под коры дятла.

Несколько дней Старик пробродил вот так по деревне и по округе, приглядываясь, видно, из-под шапки своей лохматой к Починкам. И никуда не подался дальше, остался в бане Семеновы надолго. После он, правда, ушел на станцию железной дороги, что километров пятнадцать от Починок. Девчоночка даже притихла в себе: вдруг навовсе пропадет, уже скучнее жить без прохожего оказалось, по привыкла было... Однако приехал он, и на грузовике —

вещи привез, инструмент всякий рабочий и материалы для своей бани, за которую принялся сразу, насвистывая и все так же по-свойски подмигивая Верке несерьезным глазом.

Ей это очень понравилось, девчонка радовалась, что Старик здесь укреплялся, и почти не отходила от него — Семен на дочь не очень-то обращал внимание, разве что провинность какая откроется. Но такое редко бывало, по незнанию разве: Верка была задумчивым ребенком. Мать же у них болела давно, к ее раздраженности привыкли, как к осенней погоде — не обращали внимания и особых изменений не ждали.

— Дед, ты откуда-те взялся? — решила девчонка спросить, когда жилец уже заканчивал окно в старой бане.

— А из города-столицы. Своим ходом пришел...

— А-а, я ж думала — тебя ветром занесло...

— Вот сквозняком разве! — подыграл он. — Много сквозняков у нас, не попадайся лучше — унесет...

Дедом она Старика еще долго звала — лет до шестнадцати своих звала, пока в один день не отрубилось это звание вдруг, словно и не было. А сообщению насчет «города-столицы» поверила сразу и успокоилась — не из соседнего же Кокорина он, хоть это и большое село, и районное, но там такого не могло быть Старика.

— А шел долго сюда? — полюбопытствовала.

— О как долго! Семь лет да еще пять месяцев, и еще восемь дней к ним прибавь... Дороги у нас, сама понимаешь, — и засмеялся не так чтобы весело, Верке его отчего-то жалко стало: так долго ходить, всю ее жизнь. — По горам, по лесам, где ползком, где кувырком — вот как! — еще разъяснил ей Старик.

— А ты все левой рукой делаешь? — еще спросила Верка.

— Левша я, есть такой грех на мне. Ты уж строго не суди, — хмыкнул Старик.

— Не буду, — успокоила она. — Даже ложку-те левой рукой держишь? А я вот не умею...

— Ну... научись, чего там, — пообещал он девочке.

Утром она бежала сюда и остановилась, замерла, как вкопанная. Солнце только взошло и сверкало в новеньких чистых стеклах.

«...Дед, Дед!., а почему твоя дымушка улыбается? — чуть не крикнула Верка и застеснялась, закончила шепотом.

— Чего бы ей и не улыбнуться, когда жизнь началась, считай, заново, не злиться ж ей на нас с тобой, — рука, что легла на Веркины волосы, оказалась вдруг тяжелой, но и ласковой. Старик отошел подальше от домика: взглянуть. — Верно говоришь, глазастая, у каждой вещи свой нрав есть...

Верка этого не говорила, но такая игра ей понравилась: даже башмаки ее, оказывается, могли быть сердитыми, а могли и засмеяться, хмурились и замолкали вдруг, или жаловались на что-то...

Окно в старой бане и вправду получилось чудное: Старик расширил дымволок чуть не во всю стену, а по высоте разогнаться здесь было негде. Щель в домике получилась стеклянная, длинная да узкая, с усмешечкой — вроде улыбки что-то свое знающего человека. Новый карниз и посветлевшая от шифера крыша смягчили эту улыбку, хотя какая-то затаенность и осталась, особенно к вечеру, когда стекло вбирало и гасило в себе предсумеречный свет.

Да еще учудил Старик: над бывшим предбанником. Который сам-собою оказался вместительней парильни и получился квадратной комнаткой; умудрился умелец сделать у крыши скос на южную сторону и застеклил его — светло стало весь день здесь и казалось просторнее.

— А вот снег пойдет, — предупредила Верка недалекую будущность.

— Придумаем что-нибудь... Зато с весны до снега весело-светло удержим! — махнул рукой новый жилец.

И внутри нравилось Верке у Старика в дымушке его: таких комнаток ни у кого в Починках не бывало; а кроме девчонки никто сюда не заходил, даже Семен не решался без приглашения — чужим все было и непонятым, потому пусть непонятность та в стороне остается, себе спокойнее...

...Все в Починках носили одну фамилию.

Так и писались — «Починковы». Различались по именам, но чаще по прозвищам. Потому что разницей в именах тоже не очень-то различались, сколько помнилось, даже прежде. Раньше деревня еще самостоятельной была,

это потом Починки бригадой стали, до колхозного правления дальше, нежели до станции, и школы теперь нет — Верка на год потому и задержалась, что далеко ходить, семилетка и та в полутора часах ходу. Теперь и возить перестали... вот и поубавилось Починковых, особенно молодых, в разные края фамилию понесли. И всегда здесь много было Семенов да Васильев, или вот еще Митрии да Ляксандры рождались, это мужики. Все остальные — от конопатых с растоптанными черными пятками девчонок до неподвижных старух, укутанных в темные шали даже среди пыльной летней сухоты, — прозывались Нинками или Верками.

Так привыкли, так и шло: в одной семье толклись Семен-Медный, потому что рыжий, и Семка-Кусаный, тоже рыжий, но тому лет с тридцать назад свинья чуть ногу не отжевала, так и прохромал до старости возле лошадей конюхом, и в армию не брали даже по трудному времени. Вот и хозяина Старика, Веркиного отца, Семеном-Лохматым кликали: по его собаке, тезке нынешнего Полкана, что ходила за семилетком Семеном по пятам да делила с пацаном порой и чашку с кашей и тычки отцовские. Громадной, угрюмой, но доброй и лохматой собаке, впрочем уже лет с двадцать, как околевшей.

Обосновавшегося в Семеновой бане прохожего поначалу не звали в Починках никак.

Однако приглашать «на помочь» его стали быстро и на месте в Починках, и в соседние недалекие деревушки: что он с топором да по печам мастак — это скоро вокруг узнали. Как и то, что денег почти не берет за работу — тоже узнали, хоть это как раз насторожило поначалу. Потом приехал к Лохматому участковый, проверил, как положено, и сторожка та исчезла.

К приезду участкового Старик уже пней да бревен к порогу натаскал, по стенам в избе у него толстые доски выстроились, темные тяжелые доски, Старик Верке их и двигать не разрешал. Уже и пахло в доме не застарелой гарью или стылым горклым паром, а легкой стружкой, корьем, клеем да книгами — их по стенам на полках много у Старика было, толстых, с картинками и просто писаных. И еще Верке нравился огонь у старика в доме: вроде от-



крытый и сидеть возле огня можно, а дым весь в трубу уходит, да еще и стенку в бывшей парилке кирпичную нагревает — тепло, там жилец себе кровать поставил и стол с лампой. Когда Старик читал книжку или писал что-то за столом, Верка затаивалась или вовсе уходила ждать, пока он на двор не выйдет.

Участковый тоже Верку выставил и напуганного ее отца в дом к себе отправил. Долго сидел, а когда вышел — щеки были красные и влажные. «Дачник-художник, все в порядке, — ответил он на взгляд Семена. — Прописка в городе, стаж двадцать пять лет... может пенсии ждать и своих чертей рубить. На коньяк здесь не очень-то наработает...» И утрещал на своем мотоцикле.

— Чудак он у вас! — обронил еще участковый, уезжая. — Человеку, говорит, неспособно или некогда себя разглядеть, да и вещи его, говорит, случайные-равнодушные окружают... Ха-ха — как зеркала кривые; мудрено говорит — чудак...

«Чудик» — говорили о нем вот уже десяток лет в Починках и дальше хозяева, когда Старик не брал денег за переложенную заново печь. Не отказывался он обукрасить окна наличниками, выжигаемыми ювелирно или кружевно резаными, попутно и стекло мог вставить экономно и чисто. Но безотказнее всего и охотнее брался он за конек на охлупне, тесанный причудливо конек-фигуру, который венчал собою кружевные деревянные причелины. Другого Старик ничего не делал, но заканчивался каждый дом теперь его работой. И уже здесь хозяева не спорили: делал на совесть, каждый раз на особицу — как сам посмотрит.

Поначалу и не много казалось работы — кому часто строиться, когда бесхозных изб все больше становится по таким вот деревушкам? Но время-непогодь и жилые постройки точит, там тес заменить пора, там крыша подтекла. А здесь, видно, и мода-поветрие не обошли Починки: озабоченному житейством человеку оглянуться вокруг некогда и удивиться жизненной красе некогда, а вот поспеть за соседом да и переплюнуть — это дело другое, здесь показать себя должно, чтоб другой бы позавидовал... Короче, каждому в Починках и вблизи них вдруг охота пришла как-то избу обукрасить-подновить, если уж не строился внове. Так что на заказы «дачник-художник» не мог пожаловать-

ся — всегда подходили, стоило один закончить — два новых от порога зовут... Хотя Верка позже поняла, что это у него вроде прихоти было, работы за глаза и дома хватало, бывало, и ночами захватывался в работе или за книжкой, без которой ни есть не садился, ни спать не ложился.

— Чудик! — говорили довольные дармовым трудом хозяева, хлопая себя по лбам пятерней или постукивая кургузым пальцем.

— Чу-у-да-ак!..

Однако, дом заканчивать звали теперь только его, терпели странности Старика, хоть и безвредные, но раздражающие своей непонятностью, мирились с фантазиями, даже с молчаливостью глухой и компанействе после работы. Фантазии, конечно, быстро забывались, разлетаясь пуштяшным пересудом, а отсутствие корысти в работе тоже не вызывало уважения, так часто у нас оборачивается — может, потому, что укором внутри, как заноза, остается, только издавна бессеребренничество на Руси подозрительно или вовсе придурью читится. Хоть и сидит та придурь почти в каждом и выходит иногда таким боком, что только руками развести...

Верке сызмала запомнилось, как странен становился Старик, если приглашали его «сработать» что угодно, особенно же конек-охлупень выставить. Соглашался он сразу. Есть в некоторых людях такое даже и неумение отказать в чем угодно, какая-то безотказная деликатность, словно боязнь обидеть. Другой бы на его месте покуражился, починился, цену набил — и самым важным человеком стал бы при таком мастерстве. Да и деньги лопатой бы греб, Семен не раз поначалу соседу пенял и жить советовал, пока не засмеялся Старик однажды во весь голос так, что Лохматый плюнул, обидевшись. Верке даже жалко становилось: собранный, подтянутый, со всегдашними веселыми глазами мастер вдруг оборачивался суетливо-растерянным, будто ему одолжение делали, смотреть место шел смущенным, сгорбливаясь и ниже на глаза надвигая свою шапку.

А все же Верка любила, когда брал он ее с собой.

На месте Старик коротко выслушивал пожелания хозяина, смотрел приготовленный материал, перебирал что-то,

перекладывал, подолгу удерживал в руках, будто приучая каждый брусок к себе. И умолкал вовсе до конца работы, кивнув согласно, ни с кем уж больше не разговаривал. Вот здесь Верке казался он непокорным и сильным, да и не только ей, тихоне. Бывало поначалу, что кто-нибудь из мужиков, случившихся здесь и всегда падких на совет без собственного труда, вмешивался в дело, поправлял-поучал, горячился, если Старик не слушал. Тогда Старик просто оставлял работу, хоть виси балясина одним гвоздем. И поворачивался спиной, уходил прочь, не выказывая обиды, хотя Верка знала, каким чужим холодом сквозило от него в этот момент — мог и ее забыть здесь на чужом дворе. Вернуть мастера можно было только одним: «А-а, хрен с тобой, делай, что хошь...»

Не сразу начиналась и работа. Сколько ни торопился хозяин, садился Старик во дворе, где мастерить предстояло, и курил, почти не выпуская изо рта прямой, без затей трубки. Верка держала эту трубку иногда в руках: ей нравился запах табака, пачки которого лежали в доме на полках, подоконниках, на столе; нравился и ласковый темно-красный цвет нездешнего дерева на трубке, она казалась всегда теплой, хотя дома Старик мог весь день не брать ее в руки, особенно если резал-тюкал на своих досках — постепенно выступали там лица воителей в старинных шеломах, нездешние туманные лица зовущих кого-то женщин, скорбные лики старых людей.

В чужом же дворе Старик просиживал с трубкой иногда три-четыре дня, с первым солнцем приходя сюда в своем треухе, с уже дымящейся трубкой, с запрятанными от людей шапкой и дымом глазами. Сперва и девчонке, когда она напрашивалась с ним быть, непонятым казалось это бездельное сиденье, но и скучно ей тоже не было: всегда подворачивался интерес какой-нибудь — то воробей от собаки ловчился крошки ухватить; то соседка к хозяйке забегала и лица женщин так интересно менялись в болтовне, словно в кино; то паук, неведомо откуда, опускался на блестящей нити к ветке ближнего куста и принимался плести сетку; то... много чего происходило и жило вокруг неприметного торопливому глазу и открытого удивлению детскому. Верка радовалась молчанию Старика, может быть,

он даже понимал ее интерес, с которого девчонку всегда сбивали отец с матерью, а то и соседка. «У, ленивая... опять вперилась незнамо куда!» — ругали Веркину удивленную сосредоточенность, а неверная слава легко лепится к человеку и может тянуться за ним сызмальства. Удивление перед жизнью всем дано, да только дети торопятся употребить его; взрослому же почему-то кажется, что удивление унижает его, он ленится, стыдится, а потом и разучивается удивляться, и никакие загадки его не волнуют, кроме разве что — удовольствия, в котором легче всего увидеть себя пупом всего мироздания. Старик понимал это, и ему приглянулась сосредоточенность веркиного детства, поэтому он не отказывался брать ее иногда с собой, хотя и забывал порой, что она рядом.

Сидел человек в чужом дворе, как считалось — ничего не делая, — раздражал баб своим молчанием, своей подростково-чужой фигуркой с прямыми плечами, своими тонкими пальцами, оглаживающими траву, своими вприщур сведенными невидными глазами, из которых нет-нет и остановится на ком-то внимательный осязаемый взгляд, своей явной независимостью, тихой и потому никакой обиде недоступной.

«Задарма ест только», — злились на него в такие дни бабы, когда он молча вставал из-за стола, в благодарности наклоняя голову к хозяйке. Еда была неуговоренным, понимающимся условием, и дело, конечно, не в еде: за столом особо ощущалась какая-то отрешенность мастера, словно он по-прежнему сидел в сторонке на дворе — без шапки настораживал его лоб, тяжеловато нависающий над детски-светлыми глазами, пышные с еле заметной проседью волосы, почти достающие до плечей, резкий подбородок и привздернутая глубокой поперечной морщиной левая бровь, тонкие пальцы, с таким тщанием стриженные ногти, какого и у женщины не увидишь. Последней каплей отверженности становилась ложка, подаваемая к горячим губам левою рукой. «Ах, шуйца\* губастая...» — непременно связывалась эта яркость губ с подвернувшимся ко времени пороком. И хотя

---

\* Ш у й ц а , ш у я , л ю к ш а — левша (обл. прост.)

Старик в сосредоточенности своей не замечал ничего, Веркино сердце трепетало детской возмущенной жалостью и сочувствием к нему. Дома она как-то попыталась начать тоже есть левой рукой, но ничего не получилось и отец так треснул ее своей ложкой, что чуть не захлебнулась. Поэтому, как только подходило время обеда, девочка исчезала или уходила домой вовсе, а то поджидала «деда» на лесной тропинке, сплетая цветы и мурлыча бессловесную песню.

«Задарма исть только, курец лобастый!» — шептали бабы в уходящую узкую спину. «Работает задарма... будет», — цыкал на баб хозяин, желавший сохранить мужскую справедливость, и загонял поглубже собственное поднимающееся раздражение на странность мастерского безделья. «Пьян был бы... Думать ему надо, а че здесь думать — рубимахай да ставь скорее, когда ремесло в руке. Одно слово — левшак...»

А Старик вновь сидел на дворе, сосал свою негаснущую трубку, вслушивался в медленную жизнь, что протекала с ним рядом, никаким боком, кажется, его не трогая. К нему привыкали, смирялись и переставали замечать, как привыкли к скамье или к нераспиленному бревну, на которых он устраивался.

... — Нинка-а Нинка! Зараза мазаная, где тебя черти носят!

Из старой избенки, крытой почернелой соломой, с окнами, от времени врастающими в землю, из той избенки, что уже сочилась тихой желтой трухой и доживала последний срок рядом с новым домом, стены которого медвяны и жарки и сочны истекающей смолой, — из дряхлого того домишки выскакивает женщина.

Ей нет, видимо, и тридцати пяти, но лицо уже застарено морщинами — они белеют и светятся на запеченном в солнце лице. Оно сейчас не выражает ничего, кроме застарелой усталости и покорного терпения, выплеском из которого может быть только истошный крик. Зато тело у женщины крепкое, это чувствуется по пружинящимся складкам застиранного платья, подол которого теперь подобран. И странен вид до коленей коричневых босых

ног, белых и гладких там, где их открывает подоткнутый подол.

Легко выносит она жестяное побурелое корыто с пенящейся еще темной водой и выплескивает здесь же, распутившая серых от пыли кур.

— Нинка! — снова кличет она дочь.

Шестилетняя Нинка с опаской выходит из-за угла, торопясь засунуть в почернелый рот горстку ягод паслена, заросли которого виднеются по сторонам картофельных рядов.

— Все не нажрешься, — замечает ей мать равнодушно. И указывает девочке на стоящие у крыльца ведра. — Чтоб живо натаскала в корыто, сейчас отец придет.

Из дома уже слышится плач ребенка, проснувшегося или замокревшего, и мать хлопает дверью. «Рожай тут вас, объедков...» — успевает она пробормотать вслед путающейся в ведрах и длинном подоле девочке, — это, не дай бог, не упрек — скорее, жалость и привычный выход собственной усталости.

Девочка потихоньку семенит меж корытом и колодезным журавлем у самой жердяной городьбы. Грубую веревку высоко вздернутого журавля Нинка перебирает мелко и уже привычно, опуская в темный колодец черпало, а вытащив, цепляет доньшком о сруб и плещет в свои ведра и на себя, так что скоро даже выгоревшие волосы мокреют; потом доносит неполные плескучие ведерки до корыта и как-то самозабвенно-зло швыряет туда воду — в этот момент она становится очень похожа на мать, голос которой доносится из избы.

Когда Нинка в последний раз притаскивает свои ведра, приходит отец.

— Есть идем, — бросает он девочке, не останавливаясь, и она вслед за отцом скрывается в домишке.

После обеда женщина полощет в корыте белье. Нинка снова бочком-бочком скрывается в зарослях паслена, ягоды которого матово чернеют на солнце. Женщина развешивает по всему двору слепяще-белые холстины простыней, бесформенные и выцветшие, но удивительно чистые разнокалиберные платья, кофты, рубашки, сорочки, мужское исподнее и желтоватые от частой

просушки пеленки. Из дома слышится равнодушно-ругливое брюзжанье мужика, которому не хочется тащиться на работу в такую жару после обеда. Но он выходит, когда доносится тархтенье трактора, колеса которого поднимают по улице ленивую пыль, трактор притормаживает возле двора ровно настолько, чтобы Нинкин отец успел прыгнуть на подножку, а дверца хлопает уже подалее...

С его уходом на двор падает тишина, которую колеблет только шелест белья на веревках, потом опять рвет зов, отрывающий девчонку от ее паслена: «Сиди дома и смотри за Санькой, а то!..» Мать выходит с тямкой в руках и тоже собирается уходить.

Следом — тоже почему-то из сеней — выходит на крыльцо петух.

Остановился, потоптался на месте, высоко поднимая желтые лапы, высоко задрал голову, осматривая двор как свои владения. И вдруг шумно взлетает на веревку, раскачивается на белой стираной холстине, оставляя четкие следы. И голосит петух, утверждая себя над двором. Широко расставлены его крылья, переливаются они на солнце черню и золотом, алеет гребень, и вызывающе темнеет свежая грязь на холстине.

Женщина застывает от неожиданности. А потом неловко и молча бросается с тямкой на петуха. Ее поднятые руки тяжелыми коричневыми кистями крепко сжимают отполированную древесину, а съехавший к плечу рукав платья открывает белое, нетронутое солнцем предплечье, кажущееся сейчас юным и чужим — хрупким, нежным и тоскливым, словно случайная слеза, покорная и не облегчающая...

Петух, яркий и нисколько не испуганный, взлетает на стреху новой, еще желтой после рубанка крыши. И вновь — голосит радостно, оглушающе, закатывая в истоме глаза свои, разбуживая сонный полдень.

...Вот когда Верке, если она была со Стариком, становилось жутко и весело, и что-то еще больно дергалось внутри — начинал Старик стремительную свою работу. Чиркал что-то толстым черным грифелем на листках бумаги, рвал ее и стучал себя по колену в злости, срывался

к дому, не обращая на Верку внимания, и захлопывал дверь, и свет в прежней бане горел до утра и оставался бледно-невыключенным еще утром, когда Верка, не дыша, заглядывала в уже открытую дверь, а Старик смеялся ей навстречу, что-то резал-пил, почти не вымеривая и не прилаживая до последней поры.

И теперь уж вовсе немного времени уходило, когда все на место вставало: и наличники на окнах пенялись, словно спицами вязанные, и стекла в подзор аккуратно перебраны и подобраны — только штапиком иль замазкой прихвати.

И причелины — не причелины вовсе, а две руки женские, натруженные, грубоватые, измытые, тяжелые в кистях и расплющенные, но нежные, все равно хрупкие, светлые у плеча, округлые, ласковые и будто стонущие руки поднимают к небу самому петуха горластого яркого, шпорами в эти руки вцепившегося и пьяного своей силою, будто из рук этих стонущих полученною...

Каждый конек лепился на крыше у Старика на особицу, словно повторяться он не умел.

— Мне, слушай, эт-то — как у Митьки-Дубленого... у завхоза, помнишь? Тако ж крышу-т сообрази, — говорил однажды хозяин.

— ...Председателю лепоту у меня сделай. В точку этакую... чуть поплосе пуссь... — наказывал другой.

Но мастер не слушал — не умел и не хотел делать похоже. Так и выростало по округе: здесь — словно гребень волны вздыбился, ветром истерзанный; там — поднимают причелины чудо-змея крылатого; а то, того чище, — лицо женское с волосами вокруг рассыпанными или дедок сверху улыбається, глаза в морщинах теряются, и что-то в том взгляде от деда-покойника глядится... Это уж кто хозяин закажет; вот как Старик угадывал, кому-чем угодить — бог его узнает, а только всегда хозяйева довольными в конце оставались. И удивлялись, когда работник, поделие сдавая, благодарил: «А вам за место спасибо!..»

— Чудак, — помахивали за спиной мужики, выпив с мастером положенную при всяком деле водку и проводив взглядом неменяемую годами сухо-прямою фигуру.



— ...Вам тоже спасибо, — отвечал дня три Старик, возвращаясь к законченному дому, если хозяева заставляли его стоящим невдалеке и вприщур выглядывающим из-за дыма трубки на взлетевшую волну новой крыши.

— Чу-уда-ак!!!

\*\*\*

НЕСКОЛЬКО раз подкатывался к своему жильцу Семен Лохматый, Веркин отец.

Нет-нет, спьяну и накатит на Семена любопытство хуже чесотки — уж столько лет, считай, вместе живы, а откуда-почему так и не прояснилось. Люди, опять же, спрашивают порой и никаким верьем не верят, что ничего Семен не вызнал за такое-то время. Еще и Семена в скрытности попрекнут порой, а он, как на духу, только и ведаёт, что видит — нынешняя жизнь соседа вся тут, секрета никакого, да только все его игрушки-бирюльки бессловесны, а сам молчальник даже за выпивкой, на которую изредка Семен напрашивался и со своей водкой, только улыбался, слушал да потом выпроваживал ни с чем, словно и не сидели вместе. Очень это раздражало Семена, хоть был он человеком незлобивым и зла долго не помнящим, а здесь — свербила обида какая-то. Его задевало даже то, что с Веркой, соплюшкой такой, чужак ведь может говорить и рассказывать ей, да и ходит девчонка к художнику-плотнику тому — ровно в свой дом.

Злиться бы Лохматому и не на что, он это и сам понимал: вон жилец ему какое крыльцо выгородил, что за крыльцом с сенями избы видны не стало. И в деньгах не отказывал, когда перехватить надо было. Да и девчонке, что грех на душу брать, рядом с ним много пользы, вон в школе не нахвалятся — лучше других успевает, не могли бы Лохматый с женой ей в том помочь, это верно, по занятости не могли бы да по слабой своей грамотешке. А у соседа книг — и ночью не оторвешь девчонку, все разные книги — чуть время свободное, глядишь, уже нос уткнула. И глаза у нее умненькие стали, серьезные, вот только вопроса в них много — спокойствия нет, нехорошо... А лестно.

Жильца девчонка все «дедом» зовет, не дядей ведь. А тот чудик не поправил никак: какой он «дед», всего-то лет на

пять и старше Семена, а гляделся, может, и ровесником — старился Лохматый побыстрее соседа, тот будто одной формой отлитой, волосы только сивее становятся. Редко, но все ж уходил на станцию сосед — в город ездил, так в одежде для тех поездок и вовсе моложе смотрелся, в штанах своих да в свитере или куртке на меху. «Маленькая собачка и в старости — щенок», — определял Лохматый, почему-то раздражась и от этого.

С топором Семен был не мастак — на траве вырос. Косил он вот широко, много, воз мог сложить такой плотный и высокий да так увязать, что не всякая лошаденка с места стронет. Копать мог без роздыху; на пахоте, на севе, на уборке — не было прицепщика безустальной. Да он везде работал, где требовалось: и на скотном дворе, и гурт гонял, и грузчиком при молоковозе, и в дорожной бригаде, когда грунтовку гравелем засыпали — работы рукам всегда найдется. Не любил только Семен далеко от дома отходить, а то давно бы в бригадирах числился.

На соседа своего непонятого глядя, казалось Семену, что жизнь несправедливо наделяет благами: пусть бездельником не назовешь пришлого мастерового, но уж больно легко давалась работа, чуть ли не радостно гляделся даже пот на рубахе и весело стряхивался пот со лба, а ведь видел же Семен, тоже от труда, от напряги мышц тот пот, но — другой; всегда свободой, вольностью какой-то, независимостью отдавало — безответственностью та воля казалась Семену, не понимал он — как возможно даже делать что-либо вот так, неучтенно, неуказанно. Что же, дунул ветер спросонок — так соберись и иди? Легко...

По дому у Лохматого тоже дел хватало: корову с телком всегда держал, поросенок до рождества хрюкал и сало набирал, куры-петухи... Огорода, чтобы на себя да на скотину прикорм завести, не хватало. И бывало, ругался, Лохматый под себя, когда свозил сено на центральную усадьбу даже с неудобей повыкошенное: все дворы по весне от недостатка кормов страдали, однако иной судьбы не видели, соломой свою скотину докармливали. Слова о государственном интересе вызывали в Семене, как и во всех починковцах, нерассуждающее уважение, сходное с благоговением, которое помогало перебиться в хозяйстве сред-

ствами подручными и по клочку утаенными. Однажды и вовсе — все подворье ликвидировали, жена по корове, как по матери-покойнице, голосила, но казалось, в самом деле, так сподручнее, а у государства частник будто костью в горле застрял. Обходились: день за днем, месяц за месяцем — набегало потихоньку на одежду-обувку. Да огород выручал с картошкой. Да козу дойную по болезненности жены придержать позволили, не хуже других жили, а с места не сошли. Благо, детей у Лохматого и была-то одна Верка, после рождения которой жена простыла однажды на извозе лесном, заболела как-то по женской части, да и запустовала навечно. Сына не успела родить.

Нет добра без худа: они втроем-то куда справнее соседей жили, у которых дети в основной доход записывались. И на выпивку после бани Семену на стороне стрелять никогда не приходилось.

Дом у Семена без особой затеи был, когда тот чудик в бане поселился. Крепкий дом был: четыре стены, еще отцом после войны поднятые, образовывали комнату, печью разделенную на две части. Верка на печи жила, как только залазить научилась. Сбоку печи висела занавеска, чтобы отделять кровать, на которой Семен с женой еще задолго до прихода соседа соединяли свою жизнь, на которой зачинали и рожали Верку, а потом отлеживалась жена по нездоровью да женской своей хворости.

Ход в Семенов дом был с торца, а над хромым крыльцом слепо чердачное оконце, всего-то — еле воробью голову высунуть. И Семен Лохматый озадаченно глянул на то оконце, когда вечером остановил его мастер и всерьез попросил разрешения поправить крыльцо.

— Да вот еще на чердаке светелку девочке попробую соорудить...

— Дык... баловство это, где мне матерьялу взять? У тебя своих дел мало?... — попробовал отвести новую заботу Лохматый.

— Пойдем ко мне — лес посмотрим, — увлек его мастер.

Бутылка, выставленная на стол, убедила Семена больше, чем какие-то рисунки, которые чертил перед ним сосед. Верка была здесь и, видно, знала, о чем разговор:

щеки ее покраснели от боязни отцовского отказа, а глазенки зыркали на «деда» с затаенной надеждой. Отец ото-слал ее — нечего вертеться при взрослом разговоре, а потом согласился: «Была б твоя охота...»

— Вере заниматься всерьез надо. Да и повзрослеет она — не заметишь... — сказал на прощанье сосед. — Ты мне только бруса достань.

— Да я что — пусть, для нее живем... не сомневайся. А вот... ты... Давай-ка мы тебя женим здесь! — придумал Семен.

— И отлично! Всего доброго!.. — как-то легко выпроводил его мастер.

Семен не очень и присматривался к работе, пока тот не кончил. Своих дел было немало — весна год кормит. Жена поворчала на возню, да смирилась — одна дочка, и вправду...

— Как его звать-то? — спохватилась только однажды, когда мастер возился на чердаке. — Столь живем рядом...

— Виталий Алексеевич, — прошептала Верка.

— Ишь — Виталий... Зови своего Алексеича, вечерить будем, пора.

С неделю повозился на чердаке, оконце которого прищурилось как раз над крыльцом. На чердак избы можно было попасть с другой стороны — через повесть, она примыкала к дому через летнюю кухню. Сверху повесть был сенник, забраться на него можно было по приставной лестнице, внизу — стайка, где обреталась коза, свиной загончик и курятник. Через повесть мастер и попадал на чердак, и поэтому было непонятно, что он там делает.

Выгородил он пол-чердака под комнатку, да так удачно, что дымоход печи широким своим боком составлял часть стены «светелки». Название это Верке очень понравилось, сказочным оно отдавало, дальним. Как та музыка с пластинки, которую ставил иногда вечером художник, как имя, которое сказал он Верке однажды, увидав затуманенные девчонкины глаза — от музыки той: «Это песня Сольвейг, я тебе книгу дам, прочитаешь». Сольвейг... Светелка... Внутри Верки эти два слова шептались почему-то вместе, и она затаивалась в нетерпеливом ожидании конца работы на чердаке.

А Старик заставил Семена привезти опилок и сам перетаскал их на чердак, чтобы утеплить дощатые стены. Потом он всю работу перенес к себе. Верка укрывалась где-нибудь в неприметном углу и посверкивала оттуда чуткими глазами на короткие струганные доски и плашки, на округлые балясины, на бруски, которые под руками Старика словно мягчели, сглаживали свои грани, выкатывали на своих боках шары и окружья; а Старик все резал и долбил, и подтюкивал, и застругивал, и заскабливал сколком стекла, и зашоркивал шкурочной бумажкой. Верка сжималась и затихала вечером на своей печи, когда отец возвращался с работы и бурчал, спотыкаясь о какую-нибудь лесину, хоть бы и лежала она в стороне, и оглядывался на дыру в потолке, почти над печью, вырубленную мастером, и вдруг словно впустившую в избу молчаливую чердачную черноту, от которой и самой Верке становилось жутковато, но она заставляла себя закрывать глаза и засыпать, слухом все же улавливая придуманную жизнь той чердачной темени. Утром чердачный лаз раньше всего светлел и голубоватый тот свет прогонял в Верке ночные страхи, пробуждая в ней терпеливый интерес и загадочное ожидание.

В один день Старик собрал у печи и установил невиданную лестницу: вокруг резного столба в несколько винтовых колец штопором подходили желтые ступеньки к небольшой площадке уже на самом чердаке — перед дверцей, скругленной поверху и обитой косыми досточками, ровно чешуей. Тяжелая дверца, но открывалась мягко, без скрипа.

Чудно было Семену, однако лестно и важно: ни у кого в Починках такой хитрости не было. Если кто и спал летом на чердаке, так по стремянке туда к сению взбирался со двора. А чтоб и зимой жилистая часть под крышей обреталась — такого здесь не знали.

Мастер же и тем не успокоился. На месте кривобокого истоптанного крыльца вдруг выросли сени. Над ними ж взлетела площадка, поднятая надежными витыми столбцами. Взлетела та площадка к врубленным на месте прежнего чердачного оконца остекленным створчатым дверям, и огорожена была перилами со стойками, тоже резьбою изукрашенными.

— Фу-ты-ну-ты! — только и сказали в Починках, когда усмотрели все сооружение и Верку на нем, шмыгающую взволнованным носом.

И все венчал такой конек на крыше, которого уж не делал больше Старик...

Вера Семеновна остановилась с ребятами своего класса у этого крыльца. Третий год преподавала она литературу в школе на станции. Всего-то в пятнадцати километрах, но выбралась сюда со своими восьмиклассниками впервые.

Молодая учительница стояла перед тем домом, в котором выросла. Она молчала. И школьники, с которыми она затеяла этот поход, тоже смотрели на удивительный конек на крыше, хотя ждали продолжения рассказа о Пер Гюнте и Сольвейг, о норвежском драматурге Ибсене и о Григе, музыку которого они слышали на пластинке, принесенной Верой Семеновной в класс, с этого и начался, собственно, их поход в Починки.

— ...Как, — воскликнул Пер Гюнт, когда Доврский дед подправил всю его жизнь лишь одним словечком. Это одно только слово, — подчеркнула учительница задумчиво, не отрываясь взглядом от конька. — Только одно!., это слово вскрывало смысл поступков Пер Гюнта и теперь неминуемо обрекало его на переплавку в той ложке Пуговичника. «Я не «самим собою» был, а только «самим собой доволен»? Вы слышите разницу, ребята? И понимаете, почему такая «поправка» испугала Пер Гюнта?.. Но у него оставалась еще Сольвейг. Даже, вернее, в ней... в ее сердце, в ее любви Пер Гюнт всегда оставался «самим собой»... вот!

На крыльцо вышел Семен Лохматый, ее отец. Он жил теперь один, но перебираться к дочери не хотел — «и здесь ладно, привык сам».

— В дом-то зашли бы, — сказал он, а когда Вера Семеновна кивнула — «потом, мол», повернулся, бурча про себя: «Ишь, блажного того вспоминает...» Семен заметно состарился и был почему-то недоволен сейчас этой дочерней памятью, хотя ему всегда было лестно, когда чужие приезжие останавливались взглянуть на его жилье.

Молодая учительница говорила, а ей снова, будто и не прошло стольких лет, вспоминалось, как останавливались здесь же соседи, привлеченные новой работой мастера. «Футы-ну-ты!» — повторяли, увидев Веркину светелку и поднятый витыми столбцами балкончик.

Ах, как заворожил голенастую угловатую девчонку тот конек на крыше, как зачаровал он ее! Но и огорчил же Верку плавными своими линиями, чистотой своей, глядя на которую сладко и больно делалось Верке, и бежала она к небольшому зеркальцу у рамоуойника, и всхлипывала в безнадежности, видя скулы свои да ключицы острые, и руки-прутики к затылку поднимая... одни волосы и подходили...

Не делал уж Старик другой такой красоты ни на чьей крыше. Девушка на том коньке подняла тонкое лицо, а волосы ее чуть тронул ветер — длинные, пушистые волосы на взгляд даже, и чуть закинула за голову хрупкие, почти прозрачные руки, но и округлые теплые руки свела она позади летящих волос своих, а глаза ее видели что-то далекое, далеко за краем деревни... и еще куда-то дальше смотрели ее глаза.

Там Верке казалось, и ей очень хотелось узнать — что же видит так далеко та девушка у нее, Верки, над головой...

...Да-а, за десяток лет вроде и притерпелись Починки к Старику. После нескольких особо злых попыток подкатиться к нему с узнаванием, на которые мужиков больше бабы подзуживали, махнули на него рукой. «Не мешает же никому, а вона — всех, почитай, изукрасил».

Все же настоящий покой пришел, когда стали держать мастера за блаженного. Неизвестно, кто такую удобную мысль придумал, а только ухватились за нее с готовностью. Поначалу Верка даже плакала: обидно ей показалось, да сам Старик ее и успокоил — пусть, мол, и так думают, ты же знаешь другое, свое, и это тоже правда.

Зато и вопросы сразу отпали, разговоров о Старике не стало, если только новую работу обсудить. И беспокойство от неведения, всегда отчего-то тревожащего людей, тоже отпало. Махнули рукой.

— Блажной это у нас! — почти с гордостью сообщалось приезжим, которых не так много и было. Чаще — отъезжающие.

И ведь помнили. о нем — чаще в крутые морозные дни, когда в избах топились переложенные Стариком печи. Очень уж спокойно гудел в них огонь, подолгу удерживался жар и ровно пропекался хлеб — как же не вспомнить таланного чудака, как же не пожалеть его, как не послать блажному кусок только что вытащенного из той печи пирога или горячих шанежек...

А потом Верка и школу заканчивала. Редко стала видеть Старика и теперь уж «дедом» назвать его язык не поворачивался. И прежде чем зайти к нему, заглядывала Верка в зеркало, а щеки ее загорались порой вовсе даже беспричинно. Теперь уж звала Виталием Алексеевичем, а художник внимательно поглядывал на девушку и подсовывал книги, говоря — ей, мол, учиться обязательно надо. Да она и сама хотела, только уезжать не тянуло. «Вернешься, — говорил Старик. — Ты здесь нужна будешь...»

На десятом году жизни Старика в Починках весна удалась бурная да ранняя. Вдруг размычались в стойлах быки, пробуя рогами дощатые стенки выгородок. В одночасье затрещал на речке лед, засинели на лужайках подснежники, а снег исчезал незаметно, словно съедаемый солнцем. Воздух распирала запахи весенней земли, пьянили голову так, что человек нет-нет остановится; и топнет вдруг ногой по утренней лужице, но потом и оглянется воровато — не видел ли кто? Да кто ж осудит — весной-то!..

Несколько раз приходили к Лохматому пожилые отцы да матери, оставляя у изукрашенного крыльца своего парня уминать влажную, соками пузырящуюся землю. Верку сватать приходили, по-хозяйственному ощупывая ее взглядами.

— Добра девка, — бормотали, довольные сыновним выбором. — Добра-а!..

И уходили, разгоряченные ее отказом, ее настырством и смущением тихим, и зрелостью ее весенней. «И чо надо-то девке — ишь, учи-иться-а! Лопнет так-то под соками да засохнет, мотри, — говорили Семену. — Или там, в городе, зна-ашь... учеба!..»



— Это все блажной ее с пути сбивает, — плевался Семен Лохматый, но про себя больше. Потому что он даже и побаивался немного теперь своей Верки — чем старше, тем чужее становилась, даже, и говорить как-то слишком грамотно стала, глаже иных из города приезжающих.

Да только в эти же дни и не на кого стало Семену коситься: исчез вдруг Старик однажды. Так же, как появился в Починках, так и пропал — будто не было.

Ну, правда, осталось после него... нет, вещи после забрали двое, приехали с машиной и забрали. Записку только для Верки и оставили. И все — будто для того он здесь и пробыл десяток лет, чтобы Верка в институт легко поступила.

Хоть малой грамотешки был Семен, а понимал, отчего плакала втихую его дочь, на глазах повзрослевшая: «Да-а, кого там — женихи тут... Ишь, видеть ей захотелось, не так же будто и везде живут. Легко так-то — подхватился и нет тебя...» Потому он сразу разобрал ту старую баню, где проходной себе жильё наладил. «Чтобы духу того бродяжного не было... ху-удо-жник... кому только мастерство бог в руки дает, блажь одна!..» Пожег баню, а все не удержал тем девку, хорошо хоть вернулась после учебы. И тоже — все в девках, ладно ли?

...А молодая учительница все говорила, глядя на крышу отчего дома, где знакомо вглядывалась в горизонт деревянная девушка с закинутыми за голову руками, словно ждущими кого-то. Ах, Сольвейг, Сольвейг...

— Вера Семеновна, — осторожно сказал кто-то из ребят, ее слушавших. — А правда... она — эта скульптура... Вы его знали — кто делал?

— Да, знала. Пойдемте-ка в дом — чай пить.

— Вот-вот, хоть зайди в дом-от свой... — уловила она бормотанье Семена Лохматого, старящегося здесь своего отца.

Знала она, о чем он там думает. «Вот и он один остался...» — мелькнула мысль, только сейчас отчего-то осознанная.

Семен все-таки отозвал дочь в сторону.

— Так и прокукуешь век? Мужика, чо ли, найти по себе нельзя? Смотри, а то ведь — я женюсь, — заговорил он

негромко, оглядываясь на школьников и не глядя дочери в глаза.

— Ладно, отец... Переезжай все же ко мне, там посмотрим, — она это говорила так уж, не в первый раз, наперед зная об отказе.

— Может, мне и избу пожечь? — Лохматый сразу же и продолжил, он знал ее первую мысль при таких словах. — Вот то-то и оно...

Но Вера Семеновна знала: нет-нет, а предложит кто-нибудь наезжий деньги за тот конек на крыше. И не плохие ведь деньги, да не соблазнить отца. Верка улыбнулась и положила руку на отцовское плечо. «Пойдем... напои нас чаем-то!»

— ...Пусть стоит, — говорит обычно Семен Лохматый, хоть убеждают его порой настойчиво. — Пусть. Не я делал, не мне и наживаться... Вот какие дела, мил друг.

## *День последний — день Первый*

*(Рассказ для романа)*

(...) Стук в дверь был настойчив, но и деликатен. До этого стучали иначе. И голос, да-а, голос знакомый, он не пугал, и в нем звучала тревога, кажется, и в самом деле к нему обращенная... и просьба — без этой устрашающей требовательности, устрашающей, но и поднимающей в душе волну неперемного противодействия, злости... а в этом голосе не было уверенности в своем праве на эту требовательность (...). И еще... еще услышал он то, что заставило его поверить в искренность, в отсутствие враждебности, к которой он давно привык. В том голосе за дверью сейчас звучала привычная нотка театральности, что всегда была ему понятна самому, и близка... да-а, близка.

Он ушел в свои мысли и забыл о стуке и голосе (...).

Да, я театральный человек, поймал он свою мысль, и легко перенес свое тело в Рим, увидев себя в каменной купальне... (Здесь...).

Новый стук и мольба: «Сергей Иванович, я прошу, откликнитесь, вы живы ли?» — вернули его к состоянию

нынешнему, почти уже спокойного, почти до гармоничности равнодушного ощущения себя частицей необозримой вселенной... вот если бы еще не боль, он так хорошо знает, как будет по-живому больно, попробуй он встать из ванной, где теплая вода принимает в себя эту боль, растворяет ее, не дает сместиться этой боли в ноги со спины... и с болью приливает к голове бессильное бешенство памяти, беспощадной уличной, подворотной памяти, возвращающей, сохраняющей жгучесть унижения, унижения безответного, тянущего из памяти за собою и другие оскорбления чуть ли не с самого детства. Я всегда был уродом — эта строчка из собственного дневника выплыла, он написал ее старательно и немного кокетничая тогда перед собою своей собственной точностью определения... да, да-а, а урод — это в сущности просто непохожий, а непохожих бьют даже птицы — если не поклоняются, конечно, и не подражают — это он проговорил вслух, путая собственный испорченный долгим молчанием голос с голосами, слышимыми за дверью, с привычными звуками скрипа множества голосов недовольных им — конечно же, им: сумасшедшим соседом, недовольных дверей на площадке и людей, за теми дверьми живущих, а сейчас, верно, тоже вышедших на стук в его... обитель? крепость?.. нору?! убежище?! — в его Вселенную, вот! Сейчас же тот театральный голос привычно перекрыл площадочную разноглаголицу, и он вспомнил лицо маленькой певицы.

— Валя? Это — вы, — ему легко представить ее, маленькую, ладненькую, простоватенькую и добрую, у нее неожиданно сочное колоратурное сопрано, да — и в барачке она жила рядом, а теперь в соседнем доме. (Я так не хотел переезжать оттуда, с какой стати — мне вовсе не нужны были их газ и электричество, у меня и так глаза болят, а при свечах цвет глубже, и ездить далеко...). Но не могу же... нет, не могу я открыть, потому что в ванной сижу, да, нет сил и желания, желания нет, хоть надо бы встать ведь когда-то, у него столько дел, столько начатой работы... а вот... мальчишки побили камнями, и ноги отнимаются, а спина болит, и ослаб, ослаб. (Зачем мне кого-то видеть сейчас, когда я вижу иные миры... и Леонардо... — ОБДУМАТЬ - (В. К.).

За дверьми притаилась явственно (?) слышимая тишина. Тишина эта ловила (улавливала?) его мысли, и он постарался внятно выговаривать слова, коль скоро они все равно произносились. (Он поправил челюсть языком, ему вспомнилась боль и как боялся он рвать последние зубы...). У этой тишины выросли такие уши, что в ванной зарябила желтоватая вода — ей передалось нетерпение, просто зуд в руках от желания вот сейчас, в этом полусвете, чуть проливающимся из окошечка на кухню, набросать на бумаге эту ушастую тишину.

\*\*\*

— И вода остыла... нет, нет, нет — вы только не слушайте, это ерунда, это вам в театре сказали?.. Уже и похоронили? (но мне некогда, я не могу умирать сейчас: мне еще надо сделать миллион этюдов...) Две недели, да-да — две недели не выхожу, но учите: я должен прожить сто девяносто пять лет... это совсем немного для меня, мне надо больше, чтобы столько сделать, сколько я задумал, вы ведь знаете — я так и не седею, а это верный признак, — он дернул головой, потому что давно не подкрашивал волосы, а природе должно помогать — у него хватает глубокого дыхания и сарказма и на себя, да-а, хватает, это пусть все другие думают, что он никогда не улыбается и всегда угрюм, он же смеется — всегда-езде-над-всем, внутри себя смеется, он очень легкомыслен и уж никак жаловаться не будет, не станет... (Это хорошо, что мне не везет в жизни...)

...Снаружи заговорило сразу несколько голосов, потом она, эта Валя из театра, высоко сказала, чтобы его не тревожили, а она после спектакля заедет и молоко привезет, да, голос певицы притушил все остальные: «Сразу со спектакля, Сергей Иванович, я к вам, дорогой, только молоко привезу и надоедать не стану, я так рада вас слышать!» (...)

СВЕЧУ он зажигать не станет, зачем? Сил оказалось мало, а в сердце мокрой коричневой лягушкой вползало беспокойство. Не-ет, не то, повседневное, обычное — но пустое, отбирающее у него власть над временем. Это бывало, бывало... и все хорошо будет, «сейчас» — так легко проходит, я сумел уничтожить это «сейчас» в своей работе,

гениальный художник должен отвергнуть «сейчас» — потому что в космосе есть «всегда». (...)

В Космосе и его окрестностях, по привычке добавил он. Да, именно мальчишкам легко обидеть художника Калмыкова. Всем некогда услышать. (...) А мальчишки, как вся природа: она — замкнута на себя, она очень отзывчива на влияние, и потому зависима, и потому жестока в круговой поруке своей, как и податлива, впрочем, на толчки и разрушение. И никто не хочет слушать меня, а ведь каждый художник должен овладеть временем, как он им сумел овладеть. И жить, сколько необходимо... вот он уже пережил Леонардо да Винчи и Рафаэля, потому что ему надо было вместить в себя и их, найти свое. Начатое далеко до него и продлевающееся намного после него. Главное — не топтаться на месте, и — не терять легкомысленности, да-а, не терять: чтобы с ним не произошло то же, что с Кузьмой Сергеевичем, его учителем... Впрочем, Мстислав Валерианович оставил в нем больше, хоть рябчиков-то ел у Петрова-Водкина, да одно расстройство получил, желудка расстройство и... потерю времени на пресловутую «форму»... и не натурщиц бы срисовывать, а Россию из окна вагона... Но равновесие углов и линий я сумел нарушить в своих пропорциях и удлинил их до бесконечности, поймал-таки за хвост четвертое измерение! (Генрих Миньковский, конечно же, гениален в своих... и мы с ним часто беседуем в той моей тетрадке...).

(...)

Ему и зеркала сейчас не надо: он знает себя по тем автопортретам, что получились полтора месяца назад. Он намеренно подсветил тушь сине-розовой акварелью, это его графика, только его рисунок, и кто спутает его руку... а цвет также способен ввести время — движущееся, непрерывное время. Не зря в детстве, вместо лазания по крышам или там игры в бабки любил он закапывать в землю стеклышки, разноцветные стеклышки... часами смотреть на них: цвета менялись, двигались вместе с землей, вместе со временем, (весь мир двигался куда-то в осязаемом колдовании, он тогда еще не задумывался над тем, куда же он движется и куда несет его этот колдоворот, но кожей ощущал себя частичкой этого разноцветного движения...) и

само время останавливалось, (или теряло смысл)... будто застывало в этих стеклышках, исчезало и вновь неведомо откуда возвращалось ко мне... И видел я анфилады зал... (Здесь — неведомые острова, трансформирующиеся в «Остров Бенвенуто Челлини» и пр., с Леонардо, Великим Костюмером, человеко-пантерами...).

Тогда-то он, наверное, и пред-почувствовал эту способность времени — уходить и возвращаться, вперед-назад, до бесконечности унося его в прошлое и будущее; тогда-то и пред-узнал он, что не только он сам появился на свет потому, что был Пушкин и был Леонардо, но и они — были потому, что предстояло появиться ему, Сергею Калмыкову, это его личное пред-появление необходимо подтолкнуло выброс других гениев... вперед-назад, да-да — вверх, где нет времени, и где все — время! Нет, не льстил он себе в этих автопортретах, (не для своего самоуспокоения в слепом тщеславии перед дворовым шепотом...), не для самоутверждения писал он их и даже не для самопознания (...), как не льстил себе Леонардо в «Джоконде»... нет! (...)

**ОН С ТРУДОМ** вышел из ванны. Сколько же он просидел в ней безвыходно? Три дня, пять? Неделью? Он утратил, кажется, ощущение дня и ночи, но глянув в запыленное окно понял, что пережил еще одну зиму, а вот пенсии не получал давно. Но голода тоже не ощущал, одна отупляющая слабость... он, пожалуй, даже строчки записать не сможет, а ведь давно ничего не писал — так, несколько набросков в кругах, которые надобно отправить лунным жителям! Но и усмехнуться этим мыслям, всегда успокаивающим его прежде, художник не нашел сил. Ну ничего, Валя принесет после спектакля молоко, молоко даст ему новые силы, и он заработает, как никогда! И мы еще посмотрим! Они еще узнают художника Сергея Калмыкова!..

А ведь скверно что-то, на этот раз и «самоирония» не отлаживает, не возвращает бодрости духа... она могла бы и теперь принести молоко, а потом уж пойти в театр, а так — что ж, долго ждать, это Валя на репетицию торопилась. Нет, у этой певицы такой покладистый характер, она вечно кого-нибудь жалеет... потому и сойдет со сцены незаметно, а

ведь он помнит еще Карсавину, вот уж той слово было... все вокруг крутилось! (...) И, кстати, ему вовсе не нужна чья-то жалость, он всегда сам выбирал свою дорогу и мог бы в золоте купаться, согласись... (Здесь, наверное, «я мог бы быть хорошим семьянином, если бы...» и т. д). Но Калмыков не так прост, они хотели бы его запрячь в эти декорации на все времена, а он р-раз — и на пенсию... на пенсию сбежал! Ему и своих дел за двадцать тысяч лет не переделать! А меньше он жить вообще не согласен, желудок вполне может еще переварить гвозди и камни, а сердце еще и не чувствуется вовсе! И голод ему всегда был ничем! (...)

Он оглядел комнату, заваленную его фолиантами и картинками, газет он давно не покупал, а эти прошлые — посерели и слежались. Давно не тронутый треугольный мольберт покрылся пылью, но она очень интересно высеребрила зеленые, оранжевые, алые пятна... этот оттенок надо использовать, впрочем, это коровинская гамма... или сомовская? «В мастерской художника» — Константин Коровин. Не-ет, в его-то мастерских, в калмыковских (!), есть раскаленность космоса, это никому не удавалось...

Шум на площадке. И опять перед его дверью. Может, Валя все же принесла молоко? Но женщины так не стучат.

(...) Нет, нет нет не зря он отказывался переезжать в эту квартиру. Там в бараке (он, барак этот, считался общежитием оперного театра, а прежде был, кажется, конюшней, но в нем жили и семьями, в основном «второстепенные» (?) работники, из obsługi, или музыканты из оркестра, а иногда — временно — и певцы, но не «примы» разумеется, тем сразу находилось жилье в другом доме, он так и назывался «Домом работников искусств», что на Массанчи недалеко от Никольского храма и базара...) было хорошо и все знали его (даже к его чудачествам привыкли и, он прекрасно сознавал это, относились снисходительно...), а здесь так далеко от театра — во всех смыслах далеко, в географическом и душевном, все незнакомые и чужие, зачем ему и знакомиться с ними, и почему им так хочется заглянуть в дверь. Они и помогать-то хотели бы из одного любопытства, а вот послушать, когда он пытается говорить важные вещи или рассказать о своих теориях, которые касаются всех... да, всех!

Помогать ему не надо, он всю жизнь обходился своими силами и ни в ком не нуждался в этом смысле, это он мог дать всем многое, открыть им глаза на Космос и Красоту в нем, и Гармонию... Вот и кто-то из театра тоже приходил — из любопытства или... чтобы картинку получить, как будто он такой богач, что может дарить десятки тысяч! Сейчас его картины не меньше стоят, а через время... Я утру всем нос! «Вы даже ключа казенного не сменили в дверях, Сергей Иванович?» — спрашивают. Ишь, «не сменили» — такого «липотонца» (...) он хорошо уел тогда, так ему в глаза и сообщил: мол, никто «с улицы» не полезет к нищему художнику, для таких с улицы здесь никакого интереса и нет, хотя когда-нибудь, да-а — когда-нибудь, вы уж вспомните тогда мои слова! — через миллион лет все люди станут людьми, всем надо стать художниками, или, скорее, пробудить в себе художника, чтобы понять смысл и гармонию, только тогда люди станут людьми, это Оскар Уайльд сказал как раз накануне рождения Сергея Калмыкова!.. (...). И скоро, когда гений Калмыкова станет известен, я уже не смогу быть хвастуном! — а как мне не хвалить себя, когда все ругают или хихикают, или молчат и глаза отводят, будто стыдятся, я же все вижу, а сами косятся на мои работы, хоть на выставки и не пускают, готовы их растащить, как только я умру! Даже знаю, кто первый потащит — а ведь говорят об идиотизме, о сумасшествии... впрочем, что такое «скоро» с точки зрения Вечности — несколько тысяч лет и неужели настанет когда-нибудь такое время, когда его — меня! — не будет?!.. — а я вот буду, всем им назло буду и их переживу. (...) Сил у него хватит!

(...) Но вот сил-то уже и не было. Не было сил как-то здраво повести себя даже и в том юродстве, которое набросил на себя так давно и столь удачно, что это давало ему желанную свободу оставаться собой. (Когда же это произошло? Еще в Оренбурге? Ох, как разозлило меня сказанное... Никитиным? — «Ты знаешь, появилось выражение — «калмыковщина»!» Я принялся ругаться: сволочи, дураки... И подумал здесь же — удачная мысль, Сергей Калмыков хитрее их всех, потому что они мелочны, а мне надо защитить свой гений... пусть думают и говорят, что



хотят, я им подкину «дровишек в огонь», а потом еще посмотрим, кто над кем посмеется!). И вот теперь его выбило, что называется, из колеи... и теперь, когда дверь неожиданно распахнулась, он растерялся и провалился в эту старческую истерику, в тот страх перед чужими (?..) людьми и всяким «делопроизводством». («Да, я трус и могу только показывать дулю в кармане, но я могу это преодолевать, когда касается моей работы!»), он уже не понимал от страха, что происходит и куда его забирают эти люди: он ведь никому не позволяет входить в мастерскую, а ведь здесь мастерская великого художника, Великого Костюмера (...), его ценили Леонардо, «желанный» Челлини, Добужинский, он даже подарил свой альбом наркому Луначарскому!.. И почему...

(Вариант: «Изысканный Гений» — от «особого, отмеченного, отысканного и что важно, отмеченного и обреченного на сложный путь, но и способного состояться, если будет делаться свое — вопреки... «Это хорошо, что мне не везет в жизни. Если бы везло — я давно бы помер!..» — к размышлению о НАЗВАНИИ...

Тетки были злые, почему-то здесь было много именно «теток»... они всегда отказывались его выслушать и тыкали в него пальцем (им, наверное, и в детстве не говорили, что показывать на что-либо пальцем — дурно, «моветонно»), и упрекали его даже в том, что он отказался от газа и не готовил себе горячую пищу, а ведь они даже ничего не понимали в настоящей еде и в том, что именно молоко — самая универсальная пища жизни... это их дети дразнились и кидали в него камнями, и эти тетки уже никогда не поймут, что проходит время сладострастия пола и наступает эра (время) сладострастия зрения, именно зрительные наслаждения и переживания заменят нам наш пол как средство удовлетворения нашей страсти к передвижениям из прошлого в будущее, именно в живописи... и гроссмейстер линейных искусств Сергей Калмыков трудится для этого, для них... которые выглядывают из-за плечей этого милиционера и доктора, это ведь доктор — в белом халате?., а спина пройдет, пройдет, в больнице он был давно, после войны — его спас тогда своей операцией профессор Баккал... (Смешно: милиционер спрашивает про кого-то — пьян

ли, так зачем же меня-то беспокоить, Сергей Калмыков никогда не брал в рот спиртного, ему не нужны чужие эмоции, его свои переполняют, и средств для этого нет, лучше конфеток бы купить... иногда он позволял себе покупать ириски, да-а...). Почему ему не дадут надеть брюки, ведь нынче Валя, она добрый человек и у нее неплохой голос, и он обязательно расплатится с нею по-царски, они еще не знают, как он богат, хоть ему и дали такую мизерную пенсию, а Валя принесет ему молоко и он сможет продолжить свои композиции...

(...)

— **СОВЕРШЕННО** не критичен к своему состоянию, — кривит молодая докторша губы в сторону дежурного врача, уже посматривающего на часы. — А истощен... дистрофия полная. Да, гений, конечно же, гений!.. Наполеон? Или домоуправ? (...)

— Шизофрения. И старческий маразм. Словом, дай ему бог, чтобы еще и склероз присутствовал... и нам бы его не помешало: дабы о маразме не помнить! Ну, да ладно: словоохотлив и неостановим, сама узнаешь, еще и сердится, если перебить попытаешься. Сам заявил, что может говорить «миллион лет подряд»... и все в подобных масштабах, не меньше! Якобы гениальный художник... Манерен и очень при этом обстоятелен, все как надо. Пойду...

— Шиз... если не паранойя!

— Все мы немного шизики... (...анекд?). Он тебе еще всего «Евгения Онегина» прочитает и с космосом его сплетет. Только дай! Или Вийона... ты знаешь кто такой Вийон? И от Эйнштейна камня на камне не оставит, так-то. Все люди, мол, в основном глупцы, потому что лезут не в свое дело — хотят мир практически переделать, а сделать это могут только художники — в этом роде что-то... а он, конечно, бесмертен... Вот кормим его малыми дозами...

— Хорошо. Укол еще, пусть поспит. Все они здесь гении, он себе как раз найдет слушателей!..

Он и в самом деле попытался разговаривать с другими больными, заключенными в эту «юдоль скорби». Но те уходили, никак на него не реагируя, словно и не видя, они тоже были заняты только собой. Один было остановился и

хихикал невпопад, в движении губ, в их извивах, округлениях, подергиваниях находил его слушатель свой интерес, нет, нет — не как глухонемой, что пытается разобрать смысл слов по губам, но весь интерес находя в этом самодовлеющем действе губ, как наблюдал бы за муравейником. И Калмыков отошел, раздраженный. Ему не хватало бумаги и карандаша, но их отчего-то не хотели ему дать. Все тоскливее и бесполезнее становилось ему...

(...Это позже явилась легенда, что там, в психушке, он написал много картин, из которых гл. психиатр сотворит целый музей... и исчезнет музей вместе с психиатром и картинами. Впрочем, он и сам, художник Калмыков, творил легенду своей жизни... Пусть потом говорят обо мне на всех углах и перекрестках...)

ОДНАЖДЫ он зашел в комнату и увидел, как его собратья по скорби здесь работают. «Исполняют полезный и посильный труд», — пояснила медсестра, больше похожая на гренадера, их он видел еще на параде на Марсовом поле... (как давно это было, будто в другой жизни, лучше всего о том времени в Петербурге и о самом Петербурге написано Белым в его романе...), эта могучая женщина приглядывала за пациентами и листала журнал. Ему предложила тоже попробовать — должно, мол, получиться, если художник... (В чем он только себя не пробовал!., как художник, разумеется, он может назвать себя счастливым человеком, всю жизнь он занимался исключительно искусством!..) Шла третья неделя его пребывания здесь, вот чего он не умел вовсе — ничего не делать, не записывать мысли, не набрасывать этюды, не говорить и выговариваться, ведь это тоже труд, а те размышления, что распирают голову, всегда требовали исхода... эти мысли, картины, идеи, воспоминания теснятся сейчас в его черепной коробке, они распирают, разрывают его мозг, они ищут выхода... Так я и умереть могу, — придумал он вдруг теперь, — смерть... это мне рано, мне столько... я не верю ей сейчас, и здесь так вкусно кормят, никогда не думал, что это так возможно — и все бесплатно... мой этюдник (?), моя пантера (и бегущая... ускользящая? — Муза)... но почему их нельзя привезти...

Он принялся за работу, собрал-таки три конверта, четыре, принялся клеить — было это бессмысленно, даже

рука заболела. Он остановился, припоминая свои фолианты рукописные, не-ет — рукотворные, там ведь и рисуночки возникали, да-а, фолианты, которые он так любовно переплетал в жесткие разноцветные обложки, какими гравюрами и акварелью украшал тексты собственных фантастических бытовых записей, да-да, эта фантастика происходит на каждом шагу, она живет с нами и остается в воздухе после нас, этот мысленный след больше меняет природу, чем все ваши практические дела, товарищи халтурщики, начиная от Белинского, который подбросил нам уродство соцреализма, и кончая этим Дейнекой с его прямыми линиями... в ад... а куда еще может привести самоуверенная академическая глупость и догматика!

Он засмеялся, (ему показалось — очень легко и весело, так что все должны понять, какая это чушь...) хоть и походил этот смех на скрип или всхлип, дежурная сестра подняла голову от журнала: не отвлекайтесь, больной, работайте, или не получается? Тогда отдохните и успокойтесь... От чего успокоиться... упокоиться?.., а ему вот неожиданно припомнился тот комический случай с одной его книжницей, которую решил он посвятить поэту Всеволоду Рождественскому, давно, до войны еще, кажется, и тоже из Питера, кажется у него даже книжка стихов была. Посвятить и подарить свою книжку с замечательными рисуночками своими... как подарил он тогда в Оренбурге молодому человеку, ученику Мейерхольда Вале Плучеку... (он удивительно танцевал чарльстон на летней эстраде, а потом почти всю ночь мы говорили и он слушал меня, не перебивая). Акварелью и тушью рисуночки! И оставалось дорисовать всего-то пару сюжетиков! Но здесь увидел его, поэтову рецензию в газете, где тот недостаточно восторженно отозвался о моих декорациях к операм. Разумеется, я пришел в бешенство! И на клочки разнес тетрадочку, пока не успокоился! Но вскоре Рождественский вторично появился в Алма-Ате и теперь недвусмысленно громко похвалил мои декорации к «Князю Игорю». Они и в самом деле хороши, я вернул им время, а по цветовому решению они перекликались с Головиным. Переменил тогда гнев на милость и единым махом в один день написал другую, да вот прежних рисуночков уже не было... другие да не те!.. Нет,

ничего не выходило с этими конвертами! Он сам не ожидал такой слабости: отчего-то неудача и скука так огорчили, что он упал лицом в эту грудку пустой жесткой бумаги, которая зачем-то должна была стать «конвертами»... кому их посылать?! (...Здесь, м. б. — «Лунные письма»...)

«ТАЙНА сия велика есть». Смерть. Кто познает ее? Он-то еще тогда — месяца два как? — да, первого февраля пристально посмотрел ей в глаза, сам посмотрел, не отводя глаз (не то что тогда у профессора Баккала или еще прежде, в голод, там — обстоятельства, а здесь он сам хотел и вгляделся, здесь он был художником). Пристально и с присущим ему сарказмом смотрит Ей в глаза и сам рисует их. Уж чего он добился, кроме нескольких изящных пустяков, так это — рисунка. Даже Врубель не отверг бы в нем рисовальщика, а ведь Михаил Александрович Врубель самому Репину мог указать на неумение рисовать! Заглянул, заглянул сквозь все свои пространственные решетки: посмотрел Ей глаза в глаза, эти два автопортрета в два дня — серьезная работа, и за бутылками из-под молока да розовым цветом не укроется это знание... Вон куда мне пора. И поймут, поймут, если сохранят. Впрочем, мне это теперь не столь и важно, он взглянул уже на этот мир с далекой точки — Будущего. И Прошлого ведь тоже, они едины — как едина точка, (будь она хоть) величиной с космос.

А я покоритель этого Космоса! И я проведу концентрические круги внутрь его — со знаком минус, в прошлое. И круги наружу этого Космоса-Точки — со знаком плюс: в будущее. Там мы тоже встретимся с Леонардо, он обрадуется своему ученику!.. (...)

— Успокойтесь, больной. Необходимо отдохнуть... а-яй, вот и обмочились опять: это от волнения, устали, знаю, устали... сейчас мы укольчик... и вашу гениальность через пару недель как рукой снимет... нет, сейчас нельзя одежду и карандаш вам ни к чему — доктор лучше знает, чем вам полезнее заниматься! И не надо сердиться, надо остаться в палате и отдыхать.

(...) «НЕ СПАЛ в течение всей смены ночью. Все время простоял на коленях в постели. Молчал. Мочился под себя неоднократно... на вопросы отвечает замедленно, обдумывает. Мышление правильное. Настроение несколько

упадшее. Поужинал.» (М. б. — больше из «истории болезни»...)

Он лежал на кровати поверх одеяла и водил рукой по шершавой стене. Лунный свет бликовал по шершавостям, стена уплывала под взглядом в сторону и вдаль, он нее оставался лишь отвердевший под рукой холод, и этот холод делал отчего-то само его дыхание разряженным. Вошел медбрат, он этого мужчины зачем-то прежде пугался, но сейчас на вопрос лишь слабо отмахнулся рукой. Хотел зачем-то рассказать о Родене, но только вновь погладил стену, пробормотав успокоительную невнятицу, чтобы не пугать дежурного. И тех, рядом в палате. «Не спите? Спать, спать!» Он скоро уснет, теперь уже он это знает, недаром ему вспомнилось — не в прошлом ли году прочитал в «L'Humanite» или раньше: Роден умер в 77 лет от пневмонии, да-а, от пневмонии, а у него легкие тоже всегда были слабые и сейчас колет, трудно дышать, хотя температуры не чувствуется. И все же... не от шизофрении же умер Роден, хоть его тоже частенько считали сумасшедшим, а какого гения не считали, какого художника оставляли в покое даже после смерти? Потому что его труд их тревожит, а хватаются за биографию — чтобы хоть как-то оправдать собственную нелепицу судьбы (..?). На могиле Родена поставили копию его «Мыслителя»... или оригинал? Все, просто здесь уже свое отработал. Как сам написал когда-то, в шутку конечно, но и предваряя самую внутреннюю суть (или — итог?) своего бытия здесь, на земле. Нет, к чему лукавить — написал, когда сам хотел покончить с собой (...): «Толпы молодых людей пойдут, проводят, весь город, все учреждения будут в трауре и печали». Ирония действительности!.. Да, нынче одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год от Рождества Христа, Роден умер ровно пятьдесят лет тому, значит, — в девятьсот семнадцатом.

Потом круговорот лиц ворвался в его... не сон, нет, он сознавал свои мысли и ощущал шероховатость стены, и уж конечно, не бред, а лица были узнаваемы и отвлекли его от знаменитого француза-скульптора. Все были знакомые лица и не всегда добрые, но и с ними он попрощался.

А хотел бы он увидеть не их, нет. Ему хотелось увидеть вновь свои рисунки, картины, своих «Красных коней» и «Апофеоз...» с Ольгой Алексеевной, который он закончил-таки, хоть многое и мешало (...).

БЫЛ КАНУН Первомая, «праздника всех трудящихся», и шел дождь, когда Валю вызвонили из театра. Сообщили о Сергее Ивановиче: «Мы поможем, поможем... вы, как член месткома, да и уважал он вас...» Она еще машинально отметила, что ни разу не произнесли «покойный», но все равно говорили о нем в прошедшем времени, чего она никак ощутить не могла. Потом звонили из лечебницы, из больницы, видно в театре дали телефон, торопили, напоминали о празднике — до него надо, мол, «забрать тело». Это все было настолько абсурдно (нелепо) и никак не сопрягалось с Калмыковым, которого уж никак не представлялось возможным даже вообразить каким-то безликим «телом», что Вале долго еще все происходящее казалось дурной шуткой или бредом.

Сумбурно, с глазами, отуманенными жалостью, дождем, поздним сожалением, что так и не собрался никто дойти до лечебницы — «разве это успокоение: мол, скорее всего не захотел бы никого видеть, или — чтобы его таким (!) видели» — она договорилась о катафалке. Да, прямо к больнице, в театре как-то не получилось... Сколько же лет он отдал этому театру?.. почти тридцать?.. (...). Она купила простенький костюм, хоть и мелькнула-таки мысль: надо бы — как он ходил, в плаще, может, и с мольбертом или с его знаменитой сумой, чтобы сопровождали его Муза и ее — Его! — пантера... Но поговорить было не с кем (это потом объявятся «близкие друзья» и прочие «воспоминатели»...), а в больнице насупленные служительницы холодного полутемного помещения с пустыми металлическими столами, морга, да, торопили, грозили закрыть и выставить его, художника Сергея Калмыкова, «выставить тело на улицу». Она упростила таксиста, простой оказался мужик, и лестно ему, что везет певицу в оперный театр, пусть и зареванную! Туда и поехала — в театр, нехорошо же, что никого нет, какой-никакой автобусик бы, чтобы люди проводили... Но

там никого из начальства не нашла — праздник, а таксист ходил за ней следом, ему интересно, кажется, до сих пор ни разу он в оперном и не был. В зале репетировал оркестр, ей вспомнилась калмыковская картина «Оркестровая яма», кто-то из них останется в этих сине-серых мазках... навсегда. Она сказала им о Калмыкове, с кем-то из них он даже общался дружески... или нет?

— Ре-пети-ция-а? — переспросил тот мужчина, таксист. Он даже, видно было, и не понял до конца, тугодум попался, постоял, посмотрел, ровно загипнотизировать хотел, или что-то для себя запомнить. — Артисты! Да ведь вы же люди? Или как?

(...) Они ехали назад под дождем, мотался «дворник» по стеклу, сгоняя струи воды, мотал головою таксист и все молчал. Она что-то говорила, рассказывала о Сергее Ивановиче, он его, конечно же, видел на улицах и наверняка удивлялся, а то и вертел пальцем у виска, но теперь молчал. И когда ехал следом за катафалком, тоже все молчал. У самого кладбища оказалась еще одна сотрудница, она ждала с маленьким букетиком луговых фиалок, мокрым уже и будто съезжившимся, но голубая фиолетовость соцветий казалась удивительно теплой. Мы купили еще веночек здесь же. Тот таксист с другим водителем-шофером и помогли нам проводить его. «Хороший был (хоть) художник?» — спросил кто-то из них. «Очень. Он говорил, сам говорил, что гениальный...». «Что ж, все может быть» (...).



## Оглавление

Вместо предисловия.....	3
Проклятие (Мороки...). <i>Повесть</i> .....	5
Истинно мужская страсть. <i>Повесть</i> .....	105
Вечер встречи. <i>Повесть</i> .....	198
Из дому я сбежал... <i>Повесть</i> .....	300
Вожаки. <i>Тяньшаньская поэма</i> .....	370
Пустыня. <i>Повествование в рассказах</i> .....	409
Глухое ущелье.....	411
Найденыш.....	414
Последняя тропа.....	422
И мой сурок.....	432
Ночлег.....	438
Легенда Табанкарагая.....	450
Нежный человек Хол.....	455
Камча.....	461
По лицензии.....	472
Поземка на дороге.....	490
Призрак.....	499
Там, за морозным окном.....	509
<i>Рассказы:</i>	
Рыба была большая.....	524
Рядом с тобой («Яблоки»).....	535
По первому снегу.....	546
Седьмая вода.....	555
Блажной и Сольвейг.....	566
День последний — день Первый.....	589
<i>(Рассказ для романа)</i>	

Вячеслав Михайлович КАРПЕНКО

## **Истинно мужская страсть**

*О людях и других животных*

(Повести и рассказы)

Редактор *Е. В. Чиркова*

Художественный редактор *С. И. Соболев*

Технический редактор *Т. Д. Костина*

Корректоры: *Е. В. Таргонская, В. И. Козулова, С. Н. Фадеева*

ЛР № 010276 от 02.02.98. Подписано в печать 5.02.2001 г. Гарнитура тайме. Формат 84x108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная. Печать офсетная. Уел. печ. л. 31,9. Уч.-изд. л. 32,4. Тираж 3000 экз. Заказ 6133.

Отпечатано в типографии Федерального государственного унитарного издательско-полиграфического предприятия «Янтарный сказ», 236000 Калининград, ул. К. Маркса, 18.

## «РУССКИЙ ПУТЬ» — ДОРОГА К СЕРДЦУ

Много чего выдумало человечество для утоления жажды. Но что выберет человек, действительно погибающий в безводье? Какие уж там изыски — ему бы воды. Новая серия «Русский путь», открытая издательством «Янтарный сказ» — это и есть возвращение к чистому истоку русской прозы. Читателю обещана встреча с хранителями тех самых традиций золотого века отечественной литературы, которые не дали пропасть «русскому духу» в безводье самых погибельных времен. «Янтарный сказ» начал свой «Путь» с Валентина Распутина. Выбор не случаен — этот автор, страдающий бессонницей совести, остается, по словам Валерия Ганичева, первым писателем России: «Первым не по тиражам, не по газетно-телевизионному шуму, не по скандалам вокруг его имени и произведений, а потому, что перед ним, как ни перед кем другим, открылась душа русского человека». В два тома избранных произведений читателям волей автора предложено лучшее из его творчества (и, — как считают создатели серии, — из всей современной русской литературы). Книга Вячеслава Карпенко «Истинно мужская страсть» — второй выпуск серии «Русский путь», книга, которая продолжает «русскую линию» в современной литературе.

«Есть великая литература — великий язык — великая культура, — пишет профессор Л. Калинин в послесловии к первому выпуску серии «Русский путь». — Язык народа — это особая проекция мировоззрения. Русский язык в числе первых из десяти самых представительных языков мира, которых куда более двух с половиной тысяч. Гигантский пласт культуры открывается вместе с таким языком. Утратить его нам — значит утратить свой путь, заблудиться в дебрях истории, сгинуть. А когда знавшие его, входившие в сферу влияния русского языка народы сознательно изгоняют его, теряется один из важных ключей к культуре мира и, может быть, безвозвратно. Литературная серия «Русский путь» призвана дать возможность подумать о нас в нашем прошлом и нашем настоящем и, не указывая конкретных рецептов, каковые всегда — плод политической технологии, а не поэзии, не художества,—все-таки учить жизни. А законы жизни при всем прочем всегда понятнее тем, кто больше читает! Это неперемное условие — оставить свой след на «русском пути».

В русском языке, который столь бережно и торжественно возвращает себя нашему отечеству в воплощении его хранителей, — слово «путь» — одно из самых многозначных. «Янтарный сказ» уверен, что «Русский путь» найдет свой путь к сердцу российского читателя.

х и т а р н ы й  
с к а з